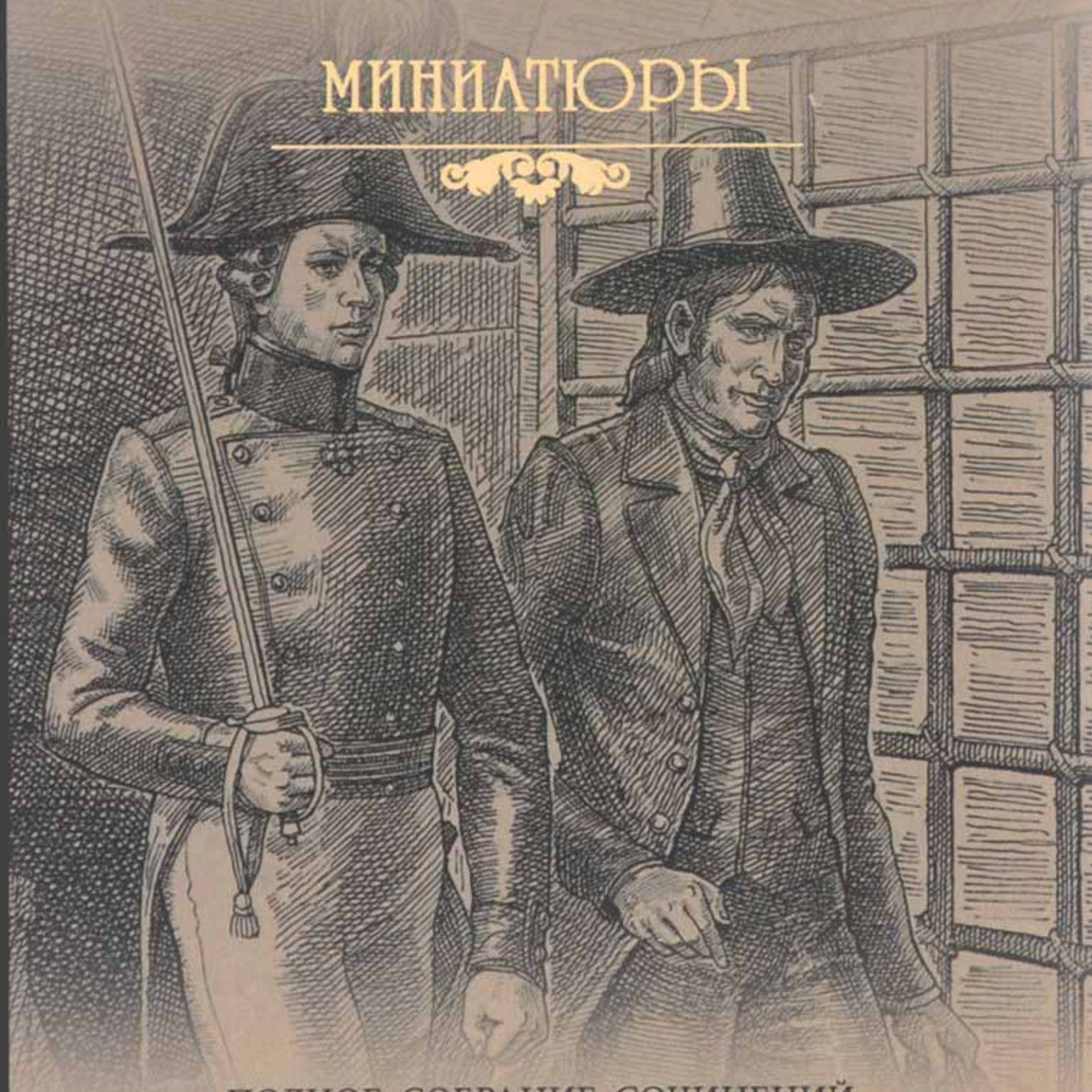


Валентин ПИКУЛЬ



ПОЛЕТ
И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ

МИНИАТЮРЫ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ
Полное собрание сочинений



ПОЛЕТ
И КАПРИЗЫ
ГЕНИЯ

(МИНИАТЮРЫ)



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ФАВОРИТ, книга 1

ФАВОРИТ, книга 2

НЕЧИСТАЯ СИЛА

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ. МИНИАТЮРЫ

СЛОВО И ДЕЛО, книга 1

СЛОВО И ДЕЛО, книга 2

КАТОРГА. МИНИАТЮРЫ

БОГАТСТВО. МИНИАТЮРЫ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

МООНЗУНД

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 1

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 2

ПЕРОМ И ШПАГОЙ

БАРБАРОССА

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 1

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 2

ПСЫ ГОСПОДНИ. ЖИРНАЯ, ГРЯЗНАЯ И ПРОДАЖНАЯ. ЯНЫЧАРЫ

ИЗ ТУПИКА, книга 1

ИЗ ТУПИКА, книга 2

ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ PQ-17. МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ

СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ. ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА. ЗВЕЗДЫ НАД БОЛОТОМ

КАЖДОМУ СВОЕ. МИНИАТЮРЫ

КРЕЙСЕРА. МИНИАТЮРЫ

БАЯЗЕТ

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ. МИНИАТЮРЫ

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ. МИНИАТЮРЫ

РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ. МИНИАТЮРЫ

Валентин ПИКУЛЬ



ПОЛЕТ
И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ

(МИНИАТЮРЫ)



Москва • «Вече»

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6
ПЗ2

Составление
А.И. Пикуль

Рисунок на обложке
Н.А. Васильева

Пикуль, В.С.

ПЗ2 Полет и капризы гения : миниатюры / Валентин Пикуль ; [сост. А.И. Пикуль]. — М.: Вече, 2015. — 416 с. — (Полное собрание сочинений).

ISBN 978-5-4444-2985-3

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

Знак информационной продукции **12+**

Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества». Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов писателей, художников, музыкантов и других творческих личностей, живших в XVI – начале XX века.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4444-2985-3
ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

© Пикуль В.С., наследники, 2015
© Пикуль А.И., составление, 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015

Клиника доктора Захарьина

Русская медицина имела двух корифеев-клиницистов: С.П. Боткина — в Петербурге и Г.А. Захарьина — в Москве; они не пытались соперничать друг с другом, но зато, как это часто и бывает, враждовали их ученики, настаивавшие на том, что в России существуют две клинические школы... Боткин и Захарьин — врачи необыкновенные, их диагнозы чеканны, как латинские афоризмы. С ними нельзя спорить — можно лишь восхищаться ими даже в тех случаях, когда они ошибались. Кто же в жизни не ошибается? Только те, кто ничего не делает.

Оба они были оригинальны и в мыслях своих.

— Совет больному разумного человека гораздо лучше рецепта худого врача, — с усмешкой говорил Боткин.

— Область медицины, — размышлял Захарьин, — обширна, как сама жизнь, неправильности которой и вызывают болезни...

Москва немало смеялась над чудачествами Захарьина, но она и верила ему безоговорочно. Впрочем, не только Москва — в клинику Захарьина стекались больные со всей России; человек же он был неуравновешенный, даже капризный, словно собранный из одних анекдотов, и потому лучше всего начинать о нем рассказ тоже с анекдота (хотя современники уверяли, что это подлинный случай)...

Сын коменданта Керченской крепости, молодой лейб-гвардейский гусар Навроцкий приехал в Первопрестольную, дабы поразвлечься вдали от столичных строгостей.

На вечере в Дворянском собрании он встретил девушку, которая внешне чем-то напоминала испанку — иссиня-черные волосы, жгучие глаза, ослепительная улыбка ровных зубов, а звали ее Наташей Захарьиной. Бравый гусар не вдавался в подробности — из каких она Захарьиных, благо фамилия эта была достаточно известна. Молодые люди сразу полюбили друг друга... А приятели Навроцкого, узнав, что отцом Наташи является сам Захарьин, отговаривали гусара от сватовства:

— Невеста хороша, но... каков тесть? Вот уж фабриканты Хлудовы! На что богаты и бесстрашны, один даже с тигром два года в постели спал, а приехал к ним Захарьин, взял гонорар с тыщонку, все стекла в доме Хлудовых переколотил, запасы квашеной капусты «времен Очакова иль покоренья Крыма» велел на помойку вывалить — вонища стояла такая, что весь переулок разбежался...

Дома Захарьин никого не принимал, а в дверях клиники гусара задержали два могучих швейцара с медалями «За сидение на Шипке» и любимец профессора — фельдшер Иловайский.

— Нельзя, нельзя! — хором закричали они. — Что вы, как можно беспокоить... Вы всех нас погубите. Вы уж лучше на прием к нему как больной запишитесь: он вас и выслушает!

Навроцкий записался на прием к Захарьину, смиренно (совсем не по-гусарски) дождался очереди и был препровожден в кабинет к «светилу». За столом сидел мрачный профессор: ярко блестела его лысина, сверкали очки, пиявками двигались черные брови, а из бороды, словно клюв хищной птицы, торчал острый нос.

— На что жалуетесь? — строго спросил Захарьин.

— Влюблен... в вашу дочь. Благословите нас.

Ничто не изменилось в выражении лица профессора.

— Раздевайтесь, — велел он.

— Как раздеваться? — обомлел жених.

— До пояса...

Начался тщательный, всесторонний осмотр лейб-гусарского организма с приказаниями дышать глубже или совсем не дышать, причем иногда следовали деловые вопросы:

— Дед по линии матери не пил?.. А в каком возрасте был ваш папенька, когда вы родились?.. А вот здесь никогда не болело?

— Нет. Не болело.

— Ваше счастье. Можете одеваться.

После чего, присев к столу, профессор в карточке пациента начертал сверху: *«Отклонений нет. К женитьбе годен»*.

— А что мне делать с этой карточкой? — спросил гусар.

— Что хотите, хоть выкиньте ее! Сегодня, — глянул Захарьин в календарь, — нечетное число, а следовательно, вы должны уплатить мне сто рублей. Пришли бы завтра, в четное число, и уплатили бы всего пятьдесят. Так у меня заведено...

Навроцкий хотел сказать будущему тестю какие-то любезные слова, но Захарьин уже смотрел мимо него — в двери!

— Следующего! — крикнул он ординатору...

Писать о Захарьине трудно. Трудно потому, что хотя он и был светочем науки, но свет, исходивший от него, иногда бывал неприятно-раздражающим. Впрочем, ругать Захарьина надобно осторожно... Антон Павлович Чехов (сам врач) говорил, что из всех врачей признает только одного Захарьина! Лев Толстой, давний пациент Захарьина, писал, что каждое свидание с этим человеком оставляет в душе его «очень сильное и хорошее впечатление».

Во времена Средневековья таких врачей, как Захарьин, Европа ставила на костры! Если бы он жил на два-три столетия раньше, его наверняка сочли бы за колдуна, водившегося с нечистой силой! А в XIX веке его называли гениальным клиницистом, виртуозным мастером диагностики. Захарьин без рентгена проникал внутрь человека, выявляя изъяны в его организме. Как никто другой, он умел вызывать больного на откровенную беседу. Захарьина интересовало

все — какая у больного семья, куда выходят окна его комнаты, что он ест утром и что вечером, на каком боку спит, что пережил в прошлом и как мыслит свое будущее... Он презирал врачей, не способных лечить человека без предварительных лабораторных анализов. Захарьин в основу диагноза ставил личный контакт с пациентом, а уж потом анализ должен лишь подтвердить (или опровергнуть) те выводы, к которым он пришел при беседе с больным...

— Следите за тем, как пациент жалуется, — внушал он своим ученикам. — Иногда ведь в организме еще нет никаких материальных изменений, а больной уже испытывает страдания. Здесь никакие анализы не помогут — нужны лишь опыт и внимание!

Захарьин обожал заострять свои точные формулировки.

— Без терапии, — утверждал он, — моя клиника сведется лишь к созерцанию смерти. Выписать рецепт — на это и дурак способен! С рецептом мы гоним больного в аптеку за лекарством, но от этого еще никто не становился здоровым... Лечить надобно-с!

А как лечить? Всегда помня, что человек — единое целое, Захарьин не признавал лечения только сердца, только легких, только желудка, только печени — отдельно от всего организма; лечить (по мнению Захарьина) значило лечить всего человека, а не какие-то существующие в нем органы... Врач-реформатор, он не отвергал и старинных методов, если уверился в их пользе. Одно время, поддавшись авторитету Бруссе, врачи повально страдали «вампиризмом» — страстью выпустить из больного как можно больше крови («Наполеон, — шутили тогда, — только опустошил Европу, зато Бруссе ее обескровил!»). Больного покрывали легионами сосущих пиявок, ссылаясь при этом на то, что «история медицины — это и есть история кровопускания». Русские врачи сначала пошли на поводу европейских коллег, потом забили отбой, и пиявки на много лет вообще исчезли из наших госпиталей. Захарьин умел идти наперекор общему мнению: «Пиявки тоже полезны, ежели применять их разумно. Сосать кровь из больного вредно, но отсосать излишек

ее — полезно». Зато некоторые новшества медицины Захарьин в свою клинику категорически не допускал. Мало того, он стал гонителем желудочного зонда, применением которого неоправданно увлекались.

— Я еще не видел больного, — говорил Захарьин, — который бы радовался этой врачебной забаве! Все решаются на заглатывания зонда с крайним отвращением. Зачем же нам, господа, усугублять людские страдания? Больные и без того имеют волю ослабленную. Долг врача-гуманиста так воздействовать на психику пациента, чтобы он перестал бояться своей болезни. А мы вместо этого берем какую-то пожарную кишку и загоняем ее в пищевод до самого желудка, подвергая больного египетской казни... *Зачем?*

Гигиена как наука еще только зарождалась. Григорий Антонович призывал своих коллег понимать все «могущество гигиены и относительную слабость лекарственной терапии». Иногда выражения Захарьина можно произносить как лозунги:

ПОБЕДОНОСНО СПОРИТЬ С НЕДУГАМИ МАСС МОЖЕТ ЛИШЬ ГИГИЕНА!

— Человечество, — диктовал он студентам на лекциях, — лишь тогда будет здоровым, когда дети не будут знать, что такое город. Города наши — это гадость! Нужен труд многих поколений, чтобы превратить их в зеленые цветущие сады, избавить их от заводов и фабрик, очистить реки от нечистот и отходов...

А купеческая Москва, которую он лечил, задыхалась в домах без форточек, она жирела в клопьяных перинах, в спальнях без единого окошка, где перед циатами мерцали угарные дедовские лампы. Захарьин врывался в первогильдейские берлоги словно буря! Да, он бил тростью стекла, требуя света и воздуха. Он громил подвальные кухни, где смердели миазмами плошки и ложки времен царя «тишайшего», где догнивали объедки позавчерашнего ужина, которые

«жаль выбросить, коли деньги-то плачены»; Захарьин выпускал пух из перин, в которых кишмя кишели паразиты...

Его боялись, но без него уже не могли обойтись!

Захарьин открыл, что воды Боржома ничуть не хуже вод Виши, и убеждал общество полнее использовать блага родимой земли, а не транжирить русские капиталы за границей.

— Дался вам этот Баден-Баден, — кричал он на старого аристократа. — Да поезжайте вы в деревню, подышите чудным благотворным навозом, напейтесь вечером парного молока, поваляйтесь на душистом сене и... ей-ей, поправитесь! А я — не навоз, не молоко, не сено, — я только врач, и вылечить вас не берусь...

Он считал, что суровый климат России хорошо служит народу, закаляя его физически, а русская природа, с ее раздольем полей и ароматными лесами, с ее морозами и выюгами, способствует развитию здорового и активного человека, воина и труженика, только дары климата следует целесообразно использовать. Против употребления слова «курорт» Захарьин всегда восставал — лучше говорить по-русски: «лечебное место». Он очень ценил значение курортов для россиян, но зато жестоко высмеивал возникшие на курортах порядки:

— Какой же это курорт, если я привык спать до десяти, а меня будят в восемь: режим. Я не хочу есть, а меня по звонку гонят за стол: режим. Я хочу есть, а мне не дают: режим. Я желаю гулять, а меня укладывают в постель: режим... Вот и получается, что ехал на курорт, а попал в прусскую казарму, где чувствую себя перед врачом, как солдат перед фельдфебелем... Нет уж! — говорил Захарьин. — Избави нас, Боже, от таких курортов.

Большой патриот России, Григорий Антонович смело осваивал все лучшее из европейской медицины, а сам щедро одаривал зарубежных врачей достижениями своей клиники. Слава о нем как о кудеснике диагноза была столь велика, что к нему ехали учиться врачи из других стран. Париж тогда был центром научно-медицинской

мысли, но врачи Парижа, побывав в Москве, были потрясены «магическим» проникновением Захарьина в тайны человеческого организма. Правительство Французской республики преподнесло в дар захарьинской клинике драгоценную севрскую вазу, украшенную золотом по синьке (ныне она хранится в новом здании Московского университета).

Все это очень хорошо... Но за взлетом оригинальной мысли врача-бойца начиналось моральное падение человека-стяжателя!

Мне сейчас нелегко определить — сколько я должен сказать о Захарьине хорошего и сколько плохого. Отчасти меня успокаивает то, что все, писавшие о Захарьине плохо, не забывали отметить в нем и хорошее, а все, писавшие хорошо, отмечали в нем и дурное. Никто еще не сказал, что Григорий Антонович был идеальным человеком. Но никто и не признал в нем обратное идеалу человека...

Я уже предупреждал, что человек он сложный и неровный!

Оставим Захарьина таким, каким он был, тем более что улучшать его и поправлять — только портить: фальсификация всегда — труд неблагодарный... Лучше обратимся к запискам прошлого.

Петр Федорович Филатов, отец известного советского окулиста В.П. Филатова, напечатал свои мемуары под названием «Юные годы»: он пишет, что, будучи гимназистом в Пензе, брал уроки французского языка у одной старушки, мыкавшейся в «нахлебницах» по чужим домам. «К ней часто приходил ее сын Петр Антонович Захарьин... человек непутевый, без образования, служивший писарем, он был известен в Пензе как специалист по дрессировке легавых собак». Закончив гимназию, Филатов стал собираться в Московский университет, а г-жа Захарьина сказала ему, что в Москве он встретит и ее сына, профессора и директора клиники. «Вот, думаю себе, как врет старушка! — писал Филатов. — Какой такой знаменитый профессор, когда его мать куску хлеба рада...» Став студентом, он посетил и клинику на Рождественке; по широкой лестнице сбежал

ординатор с криком: «Идет, идет!..» Все сразу подтянулись, «как при входе значительного лица, и я вижу, что по лестнице спускается, слегка прихрамывая и опираясь на трость, человек в черном сюртуке со строгим взглядом... Боже мой, да ведь это вылитый портрет моей старушки, только с черною бороною! Ну, правду сказала мне старушка: этот знаменитый профессор — ее сын и родной брат дрессировщика легашей... А у него уже тогда были сотни тысяч в акциях Рязанской железной дороги!

Давно известно, что врач оказывает на своих пациентов моральное воздействие, но при этом сам невольно подвержен влиянию той среды, которую лечит. Захарьин чрезвычайно сильно влиял на своих больных, но толстосумая Москва не сразу, однако все-таки опутала его властью наживы, она подчинила его себе акциями и банками, рысаками и визитами, обедами и лакеями. Морозовы, Гучковы, Абрикосовы, Хлудовы, Гиришманы, Рябушинские, Поляковы, Носовы, Прохоровы... Мы знаем этих людей уже во фраках, с астрами в петлицах, знаем как меценатов искусств, как издателей декадентских журналов и устроителей вернисажей, но во времена Захарьина еще доживали их допотопные деды, основатели мануфактур и фирм, позже знаменитых, влачившие свою жизнь между лавкой и церковью, — и они, видать, дали молодому доктору хлебнуть с шила патоки! А потому, достигнув славы и завоевав положение в медицине, Захарьин мстил купцам с явным злорадством...

Вот зовут его к Прохоровым (заболел владелец Трехгорной мануфактуры, закутавший плечи матери-России в дешевые линючие ситцы).

- А чтостряслось с господином Прохоровым?
- Да на пари с Хлудовым двести блинов уничтожил.
- Блины-то... с чем? — интересуется Захарьин.
- Разные. С икрой. С грибами. С маслом... разные!
- Так. А на каком этаже у него спальня?
- На третьем, с вашего соизволения.

— Не поеду! Пускай его вместе с кроватью перекинут в первый этаж. Лестницу застлать коврами и поставить в прихожей кресло, а подле него — столик с персиками и хересом от Елисеева...

Москва называла такие выверты «чужацеством». Казалось бы, когда Захарьина звали в Зимний дворец для лечения царей, он должен оставить эти выкрутасы. Не тут-то было! И при дворе он «заявлял разные требования и претензии, которые коробили придворные сферы». То велит остановить во дворце все тикающие часы, то просит водрузить в вестибюле диван, на котором и лежал, покуривая сигару, пока царь его дожидался. Но если Захарьин начинал лечить труженика-интеллигента или просто умного человека, ни о каких чужацествах не было и помину. К больному приходил просто врач — внимательный и тонкий собеседник, знаток музыки и живописи. Так что Захарьин знал, с кем и как надобно ему обращаться!

Защитники Захарьина, оправдывая его раздражительность, говорят, что он сильно страдал невралгией седалищного нерва. Чтобы избавиться от болей, он даже решился на сложную операцию по вытяжению нерва и лег под нож в частную клинику доктора Кни: выписавшись оттуда, он начал свою лекцию перед студентами университета убивающими наповал словами:

— Теперь я на себе испытал, как далеко шагнула хирургия: улучшения болезни нет, но зато нет и ухудшения...

Однако больше всего ему попадало не за острый язык, а за те бешеные гонорары, которые он брал за визиты на дом. Захарьин в разговоре с Мечниковым однажды признался:

— Вот говорят, будто я много беру. Если неугоден, пускай идут в бесплатные лечебницы, а мне ведь всей Москвы все равно не вылечить... В конце концов Плевако и Спасович за трехминутную речь в суде дерут десятки тысяч рублей, и никто не ставит им это в вину. А меня клянут на всех перекрестках! Хотя жрецы нашей адвокатуры спасают от каторги заведомых подлецов и мошенников, а я спасаю людей от смерти... Не пойму: где же тут логика?

Но в самой «логике» Захарьина уже крылась червоточина!

Имя Захарьина уже стало на Руси притчею во языцех, и ему доставалось от публики даже тогда, когда он потрясал своей мощной ради пользы общества. Однажды он внес 30 000 рублей в фонд помощи нуждающимся студентам, но студенты сразу устроили митинг:

— Почему только тридцать тысяч? Почему так мало?

Захарьин вложил *полмиллиона* на устройство приходских школ в провинции, но газеты тут же разругали его: почему он передал деньги сельским школам, а не городским?..

Наступало последнее десятилетие века; Захарьин призадумался:

— А ведь меня когда-то любили; бывало, куда ни придешь, всюду кричат: «Захарьин! Захарьин!» А теперь, как послушаешь, что обо мне говорят, так и кажется, что вся Россия меня ненавидит. Хотелось бы знать мне — за что?

Мы приближаемся к плачевному финалу... Большевик старой ленинской гвардии, врач С.И. Мицкевич, был учеником Захарьина и хорошо его знал. Из мемуаров Мицкевича видно, как назревала трагедия одиночества этого крупного человека. Увлеченный погоней за гонорами, Захарьин целиком ушел в частную практику, а дела своей клиники запустил. «Захарьинские молодцы» (так называли тогда его ординаторов), следуя по стопам учителя, тоже ринулись во все тяжкие, на лету хватая жирные куски, падавшие с богатого клинического стола. Честные же врачи, раньше стремившиеся попасть в клинику Захарьина, теперь покидали ее и переходили в лагерь других ученых медиков...

Наконец студенты подали Захарьину докладную записку, в которой потребовали, чтобы он как профессор уделял больше внимания лекциям, а не визитам по домам буржуазии. Захарьин рыдал от злости, в истерике валялся на диване и так бил по нему ногами, что содрал с канапе всю шелковую обивку. В аудитории он обозвал студентов «молокососами», осмелившимися поучать его, тайного советника и лейб-медика, боготворимого всей мыслящей Россией.

— Дело я свое буду делать, как и раньше, а либеральничать не намерен. Кому не нравлюсь — пусть убирается...

Раздался свист и крики молодежи: «Долой!»

Теперь ему ставили в вину даже то, что по чину лейб-медика он пытался спасти жизнь императора Александра III, умиравшего от последствий алкоголизма. Кстати, в этом его обвиняли напрасно. Захарьин нисколько не дорожил придворным званием. В малоизвестных мемуарах сенатора Ф.Г. Тернера я встретил ценное замечание, что Захарьин «желал только одного — возможности удалиться, и потому совершенно не старался быть *persona grata*, а наоборот. Действительно, после консультации он вскоре уехал и больше не возвращался к больному; он достиг того, чего желал». Александр III умер, и гнев придворной камарильи вдруг обратился против Захарьина — какие-то темные личности разгромили в Москве его квартиру.

Но к этому времени и сам Захарьин уже скатился в болото самой махровой реакции, дыша бессильной злобой против студентов и всего передового в русской жизни. Вокруг него образовалась опасная пустота... В 1896 году Григорий Антонович покинул университет, а через год умер в одиночестве, словно отверженный. Диагноз своей болезни он определил сам, и, конечно, этот диагноз был правилен!

Мичман флота в отставке

Интересная информация: Центральная геофизическая обсерватория в городе Обнинске образовала свой уникальный музей, и экспонатом № 1 здесь числится посмертная маска «отца русской сейсмологии» — человека уникальной судьбы. Сейчас, когда так много разговоров о землетрясениях, стоит вспомнить о Борисе Борисовиче Голицыне.

Род князей Голицыных дал немало интересных людей. Политик сразу назовет дипломатов Голицыных. Социолог вспомнит

Голицыных — вольнодумцев-вольтерьянцев. Искусству они дали немало писателей и музыкантов. Военные историки знают множество полководцев. Голицыны, наконец, были просто губернаторами, придворными, видными общественными деятелями. Но я хочу напомнить читателю о том Голицыне, которого у нас высоко оценивают специалисты, хотя в обыденной жизни имя его встречается редко. А ведь в СССР об этом удивительном человеке и его научных заслугах уже давно сложилась большая литература.

Это князь Борис Борисович Голицын — ф и з и к.

На ощупь пробираясь в потемках физики, я рискую говорить о Голицыне в той доступной для меня области человеческих измерений, которая часто ускользает от внимания историков науки, поглощенных более развитием мышления своего героя. Сначала заглянем в родословие...

Когда я работал над романом «Битва железных канцлеров», мне впервые встретилась мать Бориса Борисовича в записках Горация Румбольда, английского дипломата, жившего в Петербурге.

Русская генеалогия по сей день имеет множество белых пятен. В частности, неизвестно происхождение многих подкидышей. Так, в 1841 году были одновременно подброшены в одинаковых корзинах две девочки к домам богачей — барона Штиглица и графини Кушелевой-Безбородко на ее даче в Лигове. Было ясно, что это сестры-двойняшки.

Со временем они превратились в удивительных красавиц, ставших очень богатыми невестами. Маня Кушелева вышла замуж за кавалергарда Б.Н. Голицына, прямого потомка знаменитого при Петре I фельдмаршала, победителя шведов. К сожалению, этот Голицын-кавалергард, хотя и окончил Московский университет, оказался в жизни пустейшим малым, который сначала транжирил приданое жены, затем стал подбираться к богатствам ее названной матери. Гораций Румбольд пишет, что из особняка графини

Кушелевой-Безбородко время от времени исчезали то драгоценная севрская ваза, то картина Греза или Пуссена... Маня Голицына имела уже сына Бориса, когда, не в силах более сносить мотовство мужа, она разошлась с ним и вскоре по любви вышла за итальянского маркиза Инконтри, с которым и проживала постоянно в Италии.

Маленький Боря остался на попечении бабушки. Я не знаю, как это объяснить, но мальчик с детства грезил морем. Став гардемаринном, юный Голицын уже тогда поражал товарищей пытливостью ума, удивительной доброжелательностью к людям и (это подчеркивают все) благородством характера. Практическое плавание в Средиземном море на фрегате «Герцог Эдинбургский» научило его многому. Фрегат, помимо машин, имел еще паруса, и потому быстрота маневров, когда прямо с теплой койки приходилось взлетать на мачты, боясь быть сорванным шквалом в море, приучила Голицына к мысли, что самое скорое решение, пусть даже не совсем удачное, все-таки лучше растерянного выжидания. Впоследствии, когда требовалось энергичное вмешательство в научную рутину, Голицын в мгновение ока схватывал суть дела, моментально отменяя прочь все лишнее, и стремительно двигался к главной цели, на ходу исправляя допущенные ошибки.

Во время плаваний гардемарин все свободное время посвящал чтению, изучал точные науки и мечтал об университетском образовании. Морской корпус он окончил первым, его имя было занесено золотыми буквами на мраморную доску. Казалось бы, теперь перед ним открыты все двери. Но морское начальство не одобрило его планов, и вместо университета пришлось поступать в Морскую академию на гидрографическое отделение.

— Для академии надо подготовиться, — сказали ему.

Зима 1882 года выдалась промозглой, холодной. Бабушка уже умерла, отец проживал в Калуге, а мать с молодым мужем во Флоренции.

Борис Борисович был очень беден. Он снимал комнатенку в сырой, нетопленной квартире, питался всухомятку по дешевым харчевням, а усиленная работа в таких условиях подорвала его здоровье. Врачи сказали юному мичману:

— Ваше сиятельство, у вас... туберкулез!

Весною он выехал во Флоренцию, где и прожил два года в благодатном климате, окруженный материнской заботой. Но, верный своим принципам, мичман с любовью занимался историей искусств, слушал лекции по физике и химии, записался в школу социальных наук, где прошел полный курс политической экономии. Князь не жалел об этих годах, проведенных в Италии, и, вернувшись в Петербург, сразу поступил в Морскую академию, которую опять-таки окончил первым, его имя было вторично вписано золотыми буквами на мраморную доску.

Здесь он испытал первое оскорбление: князь оставался в чине мичмана, а эполеты лейтенанта ему не давали.

— Ваше сиятельство, — было заявлено Голицыну, — вам не хватает ценза в один месяц плавания.

— Хорошо, — отвечал Борис Борисович, — я согласен на любом корабле поплавать этот месяц для полного ценза.

Но Адмиралтейство в такой ерунде ему отказало:

— Извините, князь. Свободных вакансий на флоте нет.

— Тогда я подаю в отставку!

— Это ваше право...

И он стал мичманом в отставке — невелик чин! Князь устремился в Петербургский университет, в канцелярии которого испытал второе ущемление своему самолюбию.

Ему был задан наивный вопрос:

— А вы имеете аттестат классической гимназии?

— Нет. Я окончил лишь Морской корпус и Морскую академию с занесением на мраморные доски.

— Для нас ваши мраморные доски ничего не значат. Нам нужны знания, начиная с Закона Божия и арифметики.

— Но я изучал не арифметику, а высшую математику!

— А разве знаете древние классические языки?..

Борис Борисович решил не тратить времени на изучение Закона Божия, латыни и греческого — он уехал в Эльзас-Лотарингию, где был принят в Страсбургский университет. Древность города и близость Рейна, мягкий климат и готика храмов, памятники старины и благодушие здешних жителей — все это настраивало душу на мажорный лад. Мичман поступил в институт знаменитого немецкого физика Августа Кундта, окруженного плеядой учеников со всех стран мира.

Голицын вскоре сразу отыскал земляка — Петра Лебедева, который тоже не мог похвастать на родине знанием латыни. А для знакомых с историей русской науки имя П.Н. Лебедева теперь стоит в одном ряду с именем М.В. Ломоносова...

Два приятеля жили в каторжном режиме: когда бы ни легли спать, они поднимались в пять часов утра и весь день посвящали учебе, лишь изредка позволяя себе прогулки на велосипедах по живописным окрестностям. Если же беседовали, то отметали прочь все житейское, несущественное, продолжая обсуждать лишь научные темы. Весною 1890 года Голицын защитил диссертацию, получив за нее *Summa cum laude* (высшую степень) диплома. Он вернулся на родину, имея уже серьезные научные публикации. На этот раз столичный университет без возражений допустил его к испытаниям на звание магистра. Между тем нужда снова хватала князя за горло, хотя положение аристократа в обществе предоставляло немало выгодных занятий по государственной службе.

— Однако наука для меня важнее чиновничества, — отвечал Голицын на все посулы быстрой и доходной карьеры.

Он согласился занять скромное место приват-доцента при Московском университете по кафедре физики. Здесь, в Москве, по обо-

юдной любви князь женился на Машеньке Хитрово, а в 1893 году перенес еще один удар судьбы. Но прежде сделаем краткий перерыв, ибо несправедливость, допущенная по отношению к Борису Борисовичу, касалась, как это ни странно, именно его княжеского титула. Голицын и сам говорил:

— Лупят! Если не по лошадям, так по оглоблям.

Сейчас этот вопрос тщательно проанализирован советскими историками, и поэтому писать мне легко. Если сложен был путь в науку выходцев из народа, то князь Голицын испытал гонение в науке именно за то, что был носителем громкого титула.

Аристократия Англии и Франции давно занимала физические кафедры в Европе, но русскую аристократию физика не прельщала. Легион русских ученых-физиков формировался из среды купечества, духовенства и разночинцев. «Нарушение Голицыным этой традиции, естественно, могло привести к необычной ситуации... Она сразу же и возникла, когда князь появился в Москве, и профессор Соколов не знал, как от «его сиятельства поскорее избавиться»:

— Я обещаю вам сразу же докторскую степень, если вы исполните еще одну хорошую работу, но... за границей!

— Я желал бы служить не Европе, а прежде всего своей отчизне, — отказался князь Голицын и был конечно же прав.

Своему другу Лебедеву он писал об этом случае: «Мне казалось вернее и, по крайней мере, независимее идти торной дорогой, и я решил избрать ее...» Два года Голицын готовил диссертацию. Не будучи знатоком физики, я, автор, вправе сослаться на мнение о его работе советских специалистов. Вот как они пишут: «Идеи Голицына относились к новому научному направлению, приведшему в дальнейшем к развитию *квантовой физики*». Против нового всегда выступает старое, и труд Голицына был подвергнут уничтожающей критике почтенных физиков — Соколова и Столетова. Эти корифеи внесли в свои рецензии столько неоправдан-

ной страстности, что их отзывы скорее напоминали злостные политические памфлеты не столько против магистра Голицына, сколько против князя Голицына. К солидным оппонентам из карьеристских соображений примкнул и киевский профессор Шиллер. Конфликт раздули до невероятных размеров. Об этом лучше всего рассказано в комментариях к первому тому трудов Голицына, выпущенному Академией наук СССР в 1960 году. Нам ясно одно: оппозиция физиков-разночинцев не пожелала иметь в товарищах физика-аристократа. Кажется, они боялись, что Голицын благодаря связям в высшем обществе займет главенствующее положение в науке и станет подавлять их, разночинцев, своим титулом. Между тем в частном письме Шиллер писал Столетову честно: «А куда настолько диссертация Голицына лучше иной докторской...»

Вот как! Били и сами знали, что бьют не по правилам.

Из чисто научной дискуссии получился конфликт социально-сословного порядка. Голицыну он был крайне неприятен.

— Разве в науке могут существовать титулы?..

Но именно аристократическое происхождение вскоре и помогло ему. Президентом Академии наук в ту пору был великий князь Константин Константинович (ныне забытый поэт «К. Р.»). Обнаружив свободную вакансию по кафедре физики, он отклонил кандидатуру Столетова, назвав имя князя Голицына.

— А вы его знаете? — спросили президента ученые.

— Я хорошо знаю князя Бориса по службе на фрегате «Герцог Эдинбургский», мы не раз простаивали с ним ночные вахты, проводя время в увлекательных беседах на разные темы...

В 1896 году Голицын отправился на Новую Землю, где наблюдал затмение Солнца, вел магнитные наблюдения. Ему удалось собрать ценные материалы.

Вернувшись из Арктики, князь был озабочен описанием Шпицбергена и Гольфстрима. Авторитет его возрастал. Борис Борисович

читал лекции в Морской академии, на Женских (Бестужевских) курсах и в Женском медицинском институте. А судьба складывалась так, что Голицыну всюду приходилось заново создавать физические кабинеты, не уступавшие лучшим европейским, и в этом капризном деле он стал превосходным мастером. Иногда князь мастерил столь тонкие приборы, сделать которые отказывались самые опытные ювелиры столицы...

Немало ученых начинали путь в большую науку рядом с князем Голицыным, и все остались глубоко благодарны ему за многое, особенно за простоту в общении, за уникальные методы совместной работы в коллективе. Голицын ведь и сам частенько повторял:

— Из своего титула боярских кафтанов себе не шью...

Это правда! Свой аристократизм он выявлял лишь в резкой прямоте мнений, в доступности к себе, будь то его коллега или рабочий. «Строго он относился лишь к людям нечестным, ко всем, страдающим недостатком гражданского мужества, ко всякому проявлению косности и сухого мертвящего формализма». Князь Голицын никого к работе не понуждал, но, глядя на него, неустанно занятого трудом, и другие загорались работой, а сам Голицын «оставался необыкновенно скромнен и чуждался всякой рекламы». Так писал о нем Андрей Петрович Семенов-Тянь-Шаньский, сын известного путешественника.

Голицын иногда говорил:

— Страшусь смерти: что я буду делать на том свете? Всем нам отпущена загробная вечность, в которой отсутствуют не разрешенные для человека и человечества проблемы.

Мария Константиновна, жена его, судя по портретам, не была красавицей. Зато любопытно разглядывать фотографии с интерьеров голицынской квартиры, в которой еще уцелели раритеты из наследства предков. Некоторые портреты, украшавшие комнаты жены Голицына, знакомы мне по старинным воспроизведениям,

а иные, очевидно, навсегда пропали для нас. В убранстве покоев Марии Константиновны можно было видеть ценнейшее изображение историка В.Н. Татищева, сделанное за два часа до его смерти, и портрет пастелью самого Бориса Борисовича еще ребенком, исполненный итальянским мастером Беллоли... Где все это теперь?

В канун XX века Борис Борисович стал управляющим Экспедицией заготовления государственных бумаг и на этом посту проявил себя передовым человеком. Он сразу же ввел на производстве 8-часовой рабочий день, увеличил жалованье мастерам, устроил детские ясли, открыл дешевые столовые и чайные, выстроил театр и клуб с библиотекой, откупил у города землю для строительства удобных квартир семейным рабочим, открыл техническое училище для рабочих, и, наконец, по горло занятый делами, Борис Борисович находил время для чтения лекций тем же рабочим...

Ну а как складывались дела в науке?

Наш прославленный академик Н.А. Крылов в своих блистательных мемуарах писал, что избрание князя в Академию наук «не было встречено сочувственно в широких кругах русского ученого мира, и первые его работы подвергались жестокой критике». Однако никакая грызня не могла подавить мыслительной и деловой энергии Бориса Борисовича. Признание в России приходило как бы с «черного двора» — со стороны западных ученых, и авторитет Голицына в Европе заставил и Россию признать ценность его научных выводов. А его работы (даже в области теории) всегда были насущны для русского народа в их практическом употреблении. На самом стыке XIX и XX веков он вступил в область геофизики, еще не всегда доступную для ученых, вступил в сейсмологию — науку о земных катаклизмах.

— Наша планета Земля, — говорил Голицын, — уже сама по себе является гигантской физической лабораторией, и надо смелее поднять ту загадочную вуаль, под которой скрываются тайны

физических свойств земных недр. Каждое землетрясение подобно волшебному фонарю, который вспыхивает, чтобы осветить для нас внутренность Земли...

На Международном конгрессе физиков в Париже (1900 год) Голицын отчетливо понял, что геофизика дает много возможностей для творчества, ибо Россия была особенно заинтересована в развитии сейсмологии. Два мощных землетрясения в городе Верном (ныне Алма-Ата) принесли колоссальный ущерб. Голицын занял пост главы Сейсмической комиссии при Академии наук и сразу же обрел бюджет, в пять раз превышающий средства, отпущенные казною для чистой физики. Из сейсмологии, бывшей наукою лишь описательной, строившейся на догадках и гипотезах, Голицын начал выпестовывать науку физико-математическую — науку точную, чтобы впредь можно было постоянно ощущать трагическое биение пульса нашей планеты.

С чего он начал? Прежде всего обратил внимание на примитивность той техники, с какой ученые пытались ощутить колебания земной коры. Нужен был новый сейсмограф — точнейший регистратор всех землетрясений. А как прибор может указать смещение почвы, если он сам станет перемещаться заодно с почвой? Как отделить смещение прибора от смещения почвы? Я примитивно выразил эту мысль, но более точное ее выражение надо искать в трудах физиков... Весь свой богатый опыт практика-экспериментатора Голицын вложил в создание прибора, способного фиксировать самые отдаленные колебания земной коры. Однако ничтожно малые колебания механическим путем было не заметить, а значит, всю механику следовало «электрофицировать». Шли годы, и успех определился!

В 1906 году Голицын в подвале Пулковской обсерватории установил свои сейсмографы, и за 40 первых дней наблюдений его приборы отметили сразу 14 сотрясений планеты. При этом возникла полная картина — от зарождения катаклизма до его затухания. Ученый

распознавал не только расстояние до очага землетрясения, но даже направление, в котором очаг был расположен. Сидя в подвале обсерватории, Борис Борисович как бы заглянул в глубины планеты, он узнал тайны тех дьявольских преисподен Земли, достичь которых не удавалось еще никому...

По лицу мужа Мария Константиновна догадалась, что произошло нечто очень важное. Она спросила:

— Ты победил?

— Да. Но меня, Машенька, сильно... знобит! В подвалах так сыро, так зябко, а легкие у меня слабые...

Ученые сразу приняли на вооружение новые сейсмографы системы Голицына. Созданные в его лаборатории, они нарасхват раскупались обсерваториями всего мира. Голицын оказал громадную услугу не только своему народу, но и всему человечеству. В 1911 году Борис Борисович единогласным решением был избран президентом Международной Сейсмической ассоциации!

Мировая война застала его директором Главной физической обсерватории России. Голицын сразу же создал военно-метеорологическое управление, дававшее прогнозы погоды армии и флоту, — это было крайне необходимо, ибо кайзер уже начал газовую войну. А ранней весной 1916 года Голицын снова простудился. Мария Константиновна уговорила его пожить на даче в Петергофе, подальше от дел. Но простуда перешла в гнойное воспаление легких. Он задыхался. В бреду кричал, что нельзя болеть, когда впереди еще так много дел...

— Пустите меня... работать! Я так мало сделал!

Это были его последние слова. Но очень трудно найти последние слова для описания триумфа этого человека.

Не могу представить, как выглядела его визитная карточка. К чину действительного статского советника, наверное, было добавлено и придворное звание — гофмейстер. Однако никакая ви-

зитка не могла бы отразить полного перечня занятий князя Бориса Борисовича Голицына.

Этот человек всегда был болезненно отзывчив к насущным вопросам своего времени. После Цусимы он возглавлял комитет для усиления военного флота через сбор добровольных пожертвований. Был председателем «Российского Морского союза». В 1907 году стоял во главе Ученого комитета по земледелию, ратуя за научные приемы обработки земли. Он боролся за сохранность животного мира, планировал реформы в школьном образовании, заботился о красочном оформлении учебников — может, уже хватит для одного человека? Где взять время для научных открытий?

Но жизнь толкала его вперед, и от освоения Арктики до вопросов космографии — до всего он был пристально любопытен и жаден, как подлинный ученый. Наконец, однажды в конференц-зале Академии наук, выступая перед грозным синклитом сановников империи, князь Голицын с высоты кафедры обрушил на их головы жестокие обвинения за отставание России в деле воздухоплавания, назвав их косными бюрократами, губящими на корню важнейшее дело обороны страны. И когда это не помогло, он сам поехал на вагоностроительный завод, где и налаживал выпуск аэропланов. Наконец, мало кто знает теперь, что Голицын помогал Игорю Сикорскому в создании многомоторного великана небес — «Ильи Муромца».

В современном справочнике «Люди русской науки» статья о нем заканчивается словами: «Таков был Борис Борисович Голицын — создатель новой науки сейсмологии, горячий патриот, человек несокрушимой воли и неукротимой энергии, одаренный высокими качествами душевного благородства».

Лучших слов для окончания и не надо!

А ведь он был когда-то всего лишь мичманом флота в отставке...

Не от крапивного семени

Гродненские гусары квартировали в Лазенковских казармах Варшавы. Рано утром вернулся из города корнет Бартнев, на пороге комнаты офицеров он сорвал со своих плеч погоны:

— Все кончено! Я убил Маню Висновскую...

Кто спал, тех разбудили. Известие ошеломляющее. Висновская — знаменитая в Польше актриса, ей всего 28 лет, она в самом расцвете красоты и таланта. Не верилось!

— Вот и ключ, — сказал корнет Бартнев.

Этим ключом офицеры открыли двери в доме № 14 по Новоградской улице. На широкой турецкой тахте, плоско вытянувшись, лежала Висновская, в складках ее пеньюара атели раздавленные вишни, между ног были брошены две визитные карточки Бартнева. На одной из них рукою убитой написано по-польски: «Этот человек поступит справедливо, убивая меня... Жаль мне жизни и театра. Не играть мне больше любовью!» Много позже польский актер Людовик Сольский писал в мемуарах: «Все обаяние ее большого искусства одним выстрелом уничтожил гусарский корнет Бартнев. Почему она дала себя увлечь психопату? Разве у нее мало было поклонников?..»

Офицеры, подавленные, вернулись в казармы. Об увиденном доложили командиру полка. Бартнев подтвердил:

— Маня просила убить ее — я убил!

Командир Гродненского полка остался наедине с корнетом. Подумал. Затем, как бы нечаянно, выложил на стол револьвер:

— Осторожнее: он заряжен...

Сказал и вышел. Минут пятнадцать генерал терпеливо ожидал выстрела, который бы снял позорное пятно с полка. Но выстрела не последовало. Тогда он вернулся в кабинет и решительно убрал со стола револьвер.

— В таком случае вы арестованы...

На суде свидетель, актер Александр Мышуга, в знак протеста отказался говорить по-русски, хотя, сам русин, владел языком достаточно хорошо. Напрасно он бравировал! Коллеги Висновской по сцене, все поляки, нисколько не желая выгораживать Бартенева, признались, что Висновская не раз предлагала им совместно принять яд, обещая блаженство любви в последние минуты жизни. Свидетели говорили, что игру на сцене Висновская продлевала и в жизни. Она играла до тех пор, пока не встретила гусара, который, не разгадав тонкостей ее натуры, буквально исполнил то, о чем она просила...

«Да, виновен!» — было определение суда.

Бартенев получил восемь лет каторжных работ, позже решением кассационного суда его разжаловали в рядовые и он даже бывал в Варшаве, где его не раз видели на могиле Висновской. Гусарского корнета защищал на суде Ф.Н. Плевако:

— Процесс был незначительным для меня, — говорил он.

«Московский златоуст» Федор Никифорович Плевако, или, как он себя называл, Плевако... А судьба ведь непростая! Его отец, польский революционер, был сослан в Сибирь, там он встретил калмычку, которая и родила ему сына. Ссылные поляки стали учителями маленького Феди; потом семья перебралась в Москву, где отец умер, а безграмотная мать пыталась пристроить сыночка в Коммерческое училище. Но мальчик был шумлив, непоседлив, да еще незаконнорожденный — пришлось забрать его домой и как следует высечь. С гимназией тоже не повезло: в пятом классе Федя совершил побег из карцера.

— В гимназию больше не пойду, — заявил он матери.

В бедности, близкой к нищенству, он самоучкой подготовил себя для университета, куда и поступил на юридический факультет. Наверное, в юном студенте со скуластым лицом было нечто привлекательное, ибо Плевако всегда был окружен товарищами, такими же, как и он, бедолагами, — вместе они грелись в храмах, отстаивая службы, гурьбой ходили по кладбищам Москвы, чтобы, проводив

незнакомого покойника, насытиться кутьей на поминках... А что делать? Голод не тетка!

Уже тогда студент приноровился к московским нравам, к гуляньям и праздникам, полюбил сочную речь простонародья и церковных ораторов — Плевако вжился в быт Москвы, как природный москвич, и любви к Москве никогда уже не изменял. А на Арбатской площади были тогда портерная лавка, которую содержал безграмотный, но оборотистый Николай Иванович Пастухов — фигура колоритная, типично московская. Отодвинув стаканы, он корябал на прилавке заметки для газет — где пожар случился, где житья не стало от крыс и прочие новости. В писанине целовальника студент исправлял грамматические ошибки, и они подружились. Портерная стала для Феденьки приютом: здесь ел и пил, даже ночевал. Вскоре подвал на Арбате превратился в аудиторию студенческой бедноты; между прилавком и столиками будущие юристы разыгрывали драмы судебных процессов, а Плевако — в роли защитника — уже тогда покорял всех мощью убежденного красноречия... Но случилась в трактире драка студентов с извозчиками. Плевако был отлучен от университета, а Пастухов, потерпев убытки, начал писать роман о похождениях славного разбойника Чуркина.

— Куды ж теперь подашься, Федь? — спрашивал он.

— Да и сам не ведаю. Маменьки стыдно...

Плевако пристроился гувернером в одно семейство, отъезжавшее за границу. А времени в Европе даром не терял: посещая лекции немецких юристов, начал переводить популярное сочинение Г.Ф. Пухты о римском гражданском праве. Вернувшись в Москву, он решил рассчитаться с университетом. Профессор Никита Крылов требовал, чтобы на экзаменах студенты отвечали ему «по Крылову», а тут явился какой-то Плевако и ссылается на Пухту... В результате — провал!

— Был экзамен, Федя? — беспокоилась мать.

А мать свою Плевако очень любил.

— Нет, мама. Завтра...

При новой встрече профессор Никита Крылов закричал:

— Ах, Плевако! Всю ночь не спал — Пухта снился...

На этот раз экзамен был сдан. А что делать дальше?

— Ступай в репортеры, — советовал Пастухов.

Плевако записался в сословие присяжных поверенных Московской судебной палаты. Впервые в зале русского суда услышали хрипловатый, чуть пришептывающий голос Плевако, произносившего слова присяги: «Творить суд по чистой совести, безо всякого в чью-либо пользу лицемерия и поступать во всем соответственно званию...» Звание адвокат (присяжного поверенного) появилось лишь в 1864 году, а до этого Русь тщетно искала справедливости у стряпчих и ходатаев, которых народ окрестил «крапивным семенем». Это было страшное неистребимое племя крючкотворцев и взяточников, а крапива, как известно, отлично приживается на заброшенных пустырях, ее сочная зелень благоденствует в тени гнилых заборов, наливается соками на помойках и кучах мусора...

— Но я не от крапивного семени! — говорил Плевако.

Существовала еще и нравственная сторона адвокатской практики, неизменно двусмысленная. В самом деле, если осуждают явного злодея, симпатии публики обязаны быть на стороне обвинения. По меньшей мере странно выглядит фигура адвоката, который без стыда и совести, играя на чувствах и красноречии, начинает обелять то, что давно почернело. Защищая человека перед законом, не вступает ли он в противоречие с самим законом?... Недаром же остроумный Власий Дорошевич когда-то восклицал с сарказмом:

О, культура!

За что ты давишь людей?

И так много паровозов на свете,

А ты еще адвокатов наплодила...

Но Лев Толстой отсылал мужиков именно к Плевако:

— С жалобами не ко мне, а к нему ступайте: я ничем не могу помочь вам, а вот Плевако все может...

В защите обездоленных крестьян или рабочих Федор Никифорович не брал с подзащитных ни единой копейки. Но, принимая у себя в конторе богатея из провинции, уповавшего на Плевако, как на последний якорь спасения, Плевако с ним не миндальничал:

— Могу провернуть дело так, что в тюрьму не сядешь.

Купчина (из Балахны или Ирбита) бухался в ноги:

— Уж ты будь отцом родным — не дай сесть!

— Отцом не стану, зато аванс сдери.

— Аванс? Это што ж такое, Федор Никифорыч?

— Что такое задаток, знаешь ли?

— О задатках сызмала мы наслышаны.

— Так вот, — говорил Плевако, — аванс это вроде задатка. Только аванс в три раза больше задатка... Осознал?

— Ага. Ну, грабь. Тока спаси...

Слава пришла к нему сразу же! Из всех громких процессов, в которых Плевако участвовал и выигрывал, остался памятен москвичам процесс игуменьи Митрофании (в мирской жизни баронессы П.Г. Розен), аристократки со связями в высшем обществе. Федор Никифорович всегда был глубоко религиозным человеком, но вникните в его слова, бичующие пороки церкви, и вы поймете, что п р а в д а для Плевако дороже его религиозных убеждений... Он сказал тогда:

— Вместо храма у нас — биржа, вместо богомолья — аферы, не святые молитвы я слышу — там упражняются в составлении подложных векселей, и не подвиги добра предо мною — ложные показания... Так выше! Выше и выше стройте монастырские стены, чтобы миру не было видно тех черных дел, которые творятся под кровом священной обители...

Его считали импровизатором. Это не совсем так. Плевако работал над своими речами. А его библиотека, помогавшая в работе, была

подлинным кладезем учености, отвечавшим на любой вопрос по истории, наукам, искусствам и праву Перефразируя слова Суворова, Плевако неоднократно говорил:

— Один раз удача, второй — вдохновение, а где же труд?

А жил широко! Катался на рысаках, украшенных лисьими хвостами, пробовал издавать газету «Жизнь» (но прогорел сразу же), жертвовал бешеные деньги убогим вдовам и слепорожденным детям В некрологе на смерть Плевако писано: «Он устраивал гомерические попойки на зафрахтованных пароходах от Нижнего до Астрахани; бросал тысячи цыганам и, чтобы отвести душу в беседе с милым и скромным другом, еженедельно ездил в Тамбов, да и мало ли еще появлений этой порывистой натуры?..» Но при таком образе жизни Федор Никифорович не забывал униженных и оскорбленных, всегда приходя к ним на помощь, и потому мужики на сходках, не видя выхода из убогости, крепко чесали в затылках, судача меж собою:

— Нешто! Плевакий в обиду не даст...

Плевако в обиду не давал! От защиты дел, пахнувших миллионами, при шумном стечении публики и репортеров, он вдруг по зову сердца бескорыстно срывался с места, уезжая в Сызрань, где судили одинокую старуху, стащившую у соседки пятикопеечный чайник... Ну как найти слова для оправдания?

— Что я скажу в защиту этой несчастной женщины? — начал Плевако. — Россия за тысячу лет своего существования перенесла немало бед и трагедий. Шел на нее Мамай, терзали ее печенеги, татары и половцы — устояла! Шел Наполеон с двенадцатью языками — выстояла! Но теперь, господа присяжные заседатели, после того, как моя подзащитная своровала этот жалкий чайник, мне поневоле делается жутко... Такого испытания не выдержит святая Русь — обязательно погибнет!

Викентий Вересаев заметил, что «главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности речи». А порою Плевако был предельно краток. Так, например, когда су-

дили (и, казалось, уже засудили) старика-священника, пропившего церковные доходы, Плевако поднялся с места, тряхнул длинными волосами, ниспадавшими на плечи.

— Господа присяжные! — сказал с поклоном. — О чем нам спорить? Подсудимый виноват. Подсудимый сознался. Но он тридцать лет подряд отпускал грехи ваши. А теперь вправе надеяться, что вы тоже отпустите ему один его грех.

Между прочим Плевако не порывал давней дружбы с Пастуховым, лубочным романом которого о разбойнике Чуркине зачитывались дворники, кухарки, половые, извозчики и пожарные. Разбогатеv, Николай Иванович в 1881 году начал издавать бульварный «Московский листок» и на вопрос генерал-губернатора, как идет газета, отвечал прямодушно:

— Да кормимся, ваш-сясь, кормимся...

Кормился он с хроники объявлений в таком роде: «Купцу I гильдии Вонифатьеву, что посудой торгует. Чего за женой-то плохо глядишь. Иль не знаешь, с кем ее видели? Спohватишься, ан поздно будет!» Романы у писателей Пастухов покупал «с веса», как говядину. Подкинет в руке написанное и глядит на автора:

— Накатал же ты! Чай, рублей на десять потянет. — Расплачивался в трактирах или отводил авторов в баню: — Вот попаримся вместеv, там тебе ужo гонорарию и выдам...

В «Листке» он печатал своего Чуркина с продолжением, из номера в номер, забив тиражом и популярностью реакционные «Московские ведомости» Каткова, которые народ, вестимо, не читал, и грозный Катков вызвал Пастухова к себе:

— Ты мне этого Чуркина брось!

— Помилуйте, да с чего ж кормиться всем нам?

— А я тебе говорю — брось. Нельзя потакать толпе, развивая в ней дурные инстинкты... Где у тебя Чуркин сейчас?

— Да я его в лес загнал. От полиции прячется.

— Вот и хорошо. Задави его там бревном — и конец...

Москва хохотала! По возвращении из Европы Пастухов излагал в печати свои впечатления: «Вот и границу пересекли. Вынимаю часы — что за притча? На моих 9 часов, а у всех 7 часов. Это потому, что на Руси солнышко раньше восходит... Интеллигенция тоже выписывала «Московский листок»: ведь давно известно, что апаш любит читать роман из жизни маркизы, а маркиза обожает романы из жизни апашей... Плевако писал для Пастухова фельетоны — смейтесь!

Я вот думаю: откуда бралась эта не раздутая, а вполне осмысленная слава Плевако, имя которого знали одинаково хорошо во Дворце правосудия в Париже и в лачуге зверолова на Камчатке? Дело не только в высоком профессионализме, обогащенном самобытным талантом, — нет. Плевако был постоянно близок демократической интеллигенции, видевшей в нем первого защитника народных низов. Федор Никифорович всегда умел найти точные слова, дабы оградить от произвола властей и рабочего, забитого бесправием, и крестьянина, у которого, как он сам говорил, «с отнятым у него последним рублем нередко уходят счастье и будущность, после чего начинается вечное рабство в тисках мироедов и паразитов-богачей...».

Жажда легкой наживы подтачивала устои буржуазного общества, все стремились к быстрому обогащению, и потому один за другим с грохотом лопались банки, казнокрадство стало обычным явлением. Даже такая мелюзга, как кассиры, купала содержанок в шампанском, а их выездные лошади имели подковы из чистого золота. Даже модные врачи, чтобы увеличить приток гонораров, сознательно заражали людей, создавая для себя неиссякаемый арсенал клиентуры. Монахи грабили «чудотворные» иконы, а драгоценности с икон вешали на разжиревшие шеи своих сожительниц. Наконец, Москва узрела на скамье подсудимых красивую воровку Софью Блювштейн, облитую бриллиантами, как королева, и с тех пор «Сонька Золотая Ручка», сделавшись героинею цирковых

пантомим, затмила примитивные подвиги пастуховского Чуркина, нечаянно придавленного в лесу (по воле Каткова) громадным деревом...

Плевако любил защищать женщин, но защищать Золотую Ручку не стал. Он вступился за скромную барышню из провинции, приехавшую в консерваторию учиться по классу пианино. Случайно остановилась она в номерах «Черногория» на Цветном бульваре, известном прибежище пороков, сама не зная, куда с вокзала завез ее извозчик. А ночью к ней стали ломиться пьяные гуляки. Когда двери уже затрещали и девушка поняла, чего от нее домогаются, она выбросилась в окно с третьего этажа. К счастью, упала в сугроб, но рука оказалась сломана. Погибли розовые мечты о музыкальном образовании.

Прокурор занял в этом процессе глупейшую позицию:

— Я не понимаю: чего вы так испугались, кидаясь в окно? Ведь вы, мадемуазель, могли бы разбиться и насмерть!

Его сомнения разрешил разгневанный Плевако:

— Не понимаете? Так я вам объясню, — сказал он. — В сибирской тайге водится зверек горноста́й, которого природа наградила мехом чистойшей белизны. Когда он спасается от преследования, а на его пути — грязная лужа, горноста́й предпочитает принять смерть, но не испачкаться в грязи!..

Большой резонанс в обществе вызвал шумный процесс актрисы П.Н. Бефани, которую убил околоточный надзиратель Орлов. Убил прямо в театре и лишь за то, что женщина ушла от него. Но ушла не к другому, а просто не выдержала издевательств и того, что Орлов регулярно отнимал у нее все деньги... Плевако выступал от имени двух маленьких сирот Бефани, оставшихся без матери. Он «говорил недолго, всего минут двадцать, но к концу его речи вся двухтысячная толпа, находившаяся в зале, рыдала навзрыд, как один человек: плакали даже присяжные заседатели, плакали и судьи». Так писала об этом процессе стенографистка, тоже плакавшая...

А здоровье Плевако заметно ухудшилось.

— Сколько ж можно страдать чужим страданием? — говорил он Пастухову. — Тут никакое сердце не выдержит...

Плевако всегда держал руку на пульсе нравственности.

— Куда мы идем? — спрашивал он себя, все чаще рассуждая о силах добра и зла. — Добро бывает пассивно и медлительно, а зло и ненависть всегда суетны, активны и хлопотливы. Негодяи и мерзавцы неустанно пребывают в действии, в напряжении ума и нервов, и потому зло чаще достигает успеха, нежели честный человек, идущий к людям с добром...

В конце 1895 года он отпраздновал двадцатипятилетний юбилей своего пребывания в адвокатуре. Зависть и клевета черным облаком уже нависали над пышным убранством торжественного стола. Плевако охотно чокался бокалами и с недругами.

— Не судить же мне их! — говорил он жене...

Вскоре судили Савву Мамонтова; образованнейший меценат, ничего не жалевший для развития русского искусства, беседовал с Плевако в тюремной камере, обрюзгший, поникший.

— Кому-то надо было остановить мой паровоз! — рассуждал он. — И они остановили. На полном ходу, когда моя опера процветает, гончарные изделия едут в Париж, поет Федька Шаляпин, а рельсы железной дороги протянуты мною до Архангельска...

Плевако твердо решил спасти Мамонтова от тюрьмы.

— Измельчал духом и плотью человек, — начал он речь. — Износился в погоне за наживой и наслаждениями... Железнодорожная битва на рельсах, опутавших мать-Россию, быть может, ярче других отразила это. Промышленные затеи принимают форму игры, азарта и даже спорта. Чемпионы и рекорды стали для нас в капиталистической борьбе привычными терминами...

Мамонтова он оправдал!

Осенним вечером Плевако застрял в Туле на вокзальном перроне в ожидании московского поезда. Под фонарем стоял очень красивый

юноша в солдатской форме, со жгутиками погон вольноопределяющегося. Моросил дождь.

— А если нам да в буфет, а? — спросил Плевако.

— С удовольствием. Если будете за меня платить.

— Черт с вами! — захохотал Плевако. — Не вы первый...

За ужином юноша-солдат сказал, как его зовут:

— Ленька Собинов... студент-недоучка.

Плевако взял его к себе — помощником.

И как Шаляпин многим обязан Савве Мамонтову, так и Леонид Собинов всю жизнь боготворил память Федора Никифоровича, который со смехом представлял его своим гостям:

— Рекомендую: мой помощник! Еще нет такого простецкого дела, которое бы он не проиграл... Но голос — курского соловья! Вот обозлюсь на эту бездарность и прогоню его в оперу...

Просматривая материалы по истории адвокатуры в России, я пришел к выводу, что первые послереформенные деятели суда были людьми глубоко порядочными, честными борцами за правоту, и в этом мое мнение совпадает с авторитетным мнением А.Ф. Кони. Но времена менялись: золотая жила, залегавшая глубоко в породе преступности и наживы, стала разрабатываться последующими юристами, уже не имевшими тех идеалов святости, какие воодушевляли первых адвокатов.

Я не говорю о Собинове — Собинов уже запел...

На смену ветеранам правосудия явилась плеяда алчущих популярности, развязных говорунов, бьющих в речах исключительно на эффект, их показное остроумие — лишь для того, чтобы сорвать у публики аплодисменты, а заодно привлечь внимание газетных репортеров. Реклама стала необходима, как и ношение фрака в приличном обществе. Адвокаты из декадентов всячески изощрались, жаждающая обратить на себя внимание. Керенский, тот рыдал на кафедре, заламывая руки, и вгонял в истерику дам-

психопаток. Адамов носил на голове пожарную каску, фланируя по улицам в сопровождении собаки размером с теленка, таскавшей в зубах туфельку балерины. Серебряный привлекал клиентов застольями, подавая к десерту на золотом блюде красавицу французенку... А где реклама, там и конкуренция, погоня за высокими гонорарами.

Бездарности обвиняли Плевако в отсталости:

— Этот ура-патриот ближе всего к обломовщине.

— А вы клоуны, господа! — огрызался Плевако. — Но умнее Анатолия Дурова вам все равно не бывать...

Федор Никифорович не сторонился молодежи, но талантливой, честной. Он горячо отстаивал чистоту адвокатского фрака, уподобляя его мундиру воина, идущего в бой ради торжества справедливости. И его коробило от безнравственности коллег.

— А ну вас всех, господа! — нервничал он, усталый...

Назло всем рвачам и декадентам Плевако в эти годы стал пропагандировать бесплатность защиты, наставляя молодых присяжных поверенных в ведении политических процессов. Его сын тоже стал адвокатом, но чуждался отца, чтобы никто не подумал, будто он заимствует лучи славы от его ореола. «Он провел массу и политических, и уголовных дел, всюду имея большой успех, как имел успех в литературе, как сотрудник и как редактор некоторых изданий...»

Федор Никифорович не раз хватался за сердце:

— Ах как болит оно... чужой болью!

Москва, которую он так любил, простилась со своим «златоустом» на кладбище Скорбященского монастыря. Он умолк навеки. Надпись на кресте гласила: «Ф.Н. ПЛЕВАКО. Родился 13-го Апреля 1842 г., скончался 23-го Декабря 1908 г.»

Дерево для креста подобрали из старого прочного дуба.

Такой крест еще не скоро сгниет. И подле него не место крапивному семени.

Тепло русской печи

Насколько помнится, о мастерстве печника в русской литературе писал только Сергеев-Ценский... Куда подевалась забытая терминология, близкая нашим предкам: туша, хайло, кошачий глаз, шесток, голбец, выюшки, устье и прочие слова, говорящие о приятном тепле домашнего очага? Мы, русские, по сути дела, выросли от печи, мы танцевали от нее. Она давала в доме здоровье, готовила еду, согревала лежанку, пекла хлеба, а вкус топленого молока всем памятен. За печкой укрывались от женихов стыдливые невесты, за ней наши предки таили то, что надо было спрятать. Бытовали выражения: «Печкой ушибленный», «Не за печкой родился»; о печках слагали песни, печка вошла в народную мудрость пословицами: «Лежа на печи, выгладил кирпичи», «Сколь ни валяйся на печи, а генералом не станешь». Наконец, моя бабушка Василиса Минаевна Каренина рассказывала, что в их деревне парились в печках, как в бане, даже лучше...

Из печной идеи мы, русские, выжали буквально все, что можно. Но, к великому прискорбию, 95 процентов тепла вылетало в трубу. Теперь мы хорошо знаем цену леса. Мы не имеем права отапливать улицу, транжиря деревья на дровишки, и потому я не призываю читателя ломать радиатор парового отопления, чтобы украсить комнаты каминами...

И все-таки разговор пойдет именно о печках!

Наш герой имел не совсем-то благозвучную фамилию — Гнусин, но тут уже ничего не исправишь... Дмитрий Емельянович родился в 1826 году в приволжском селе Городище. Семья была крестьянская, но жила в достатке под надзором деда, потомственного печника, который смолоду промышлял по Руси торговлей в розницу. Наверное, от лотка коробейника, в котором «есть и ситец и парча», и появился в доме достаток. Дед был уже стар. Но в Ярославль хаживал только пешком, хотя на конюшне Гнусиных стояли лошади. Отшагивал туда 200 верст да еще 200 верст обратно. Вернется под родимый

кров и, слова никому не сказав, сразу начинал пороть вожжами всех подряд — сыновей, невесток и внуков. Всыпав всем как следует, доставал из торбы гостинцы и тогда спрашивал:

— Ну, сказывайте, как тут без меня ладили?..

Подобно царю, берегущему свой престол от посягательств, дед никого на печку не пускал. Внуков же своих прогонял с нее по лавкам со словами:

— Брысь отседова! Не баре, чай... Поживите с мое, а потом уж и грейтесь. Увижу кого ишо на печи — все уши пообрываю...

Митенька был еще мал, когда дед стал брать его «в отход» по окрестным деревням, где нуждались в услугах печника. Дед ведал многими тайнами этого древнейшего ремесла. Коли уж невзлюбит кого, тому и отомстит. Бывало, сложит врагу такую печку, что она, никого не грея, только дрова пожирала, а по ночам свистела и даже вздыхала протяжно, подражая повадкам домового.

— Ну хоть из дому беги! — говорили тогда...

Мальчику было десять лет, когда отец вызвал его из деревни в Москву, где он держал «печной подряд». Отец включил сына в артель на правах подмастерья, поручив надзирать за ним мастеру Василию, который (как вспоминалось Гнусину на старости лет) «колотил за неисправность, бранил меня всякими словами, а жаловаться отцу я не смел». Отец сам не раз кричал Василию:

— Чего ты с ним цацкаешься? Лупи его!..

Ребенку было трудно месить сырую глину, таскать кирпичи по этажам, но отец жалости к нему не ведал. Правда, мать вступилась было за свое чадо: мол, зачем ему дело печное, ежели Гнусины уже записаны в книгах купеческой гильдии?

— Торговое дело, — отвечал отец, — как посуда из глины, кокнуть можно, а мастерство — посуда золотая, налюбуйешься...

Скоро отец велел сыну «в науку» ломать печи в старых домах. Мальчик ударился в рев, но тут же получил от мастера Василия хорошую взбучку:

— Делай, что указано! И весь разговор...

Потом-то отрок понял, что ломка старых печей — такая наука, без которой печника не получится. Внутри голландских печей открылся целый мир, доселе неизвестный. Там переплетались такие сложные лабиринты, каким позавидовал бы и сам Минотавр. Иногда обороты дымоходов были столь интересны, словно он попал в волшебный замок.

— А чему дивишься? — сказал отец. — В хорошей печке, как в часах швейцарских, каждая штучка от соседней зависит...

Россия согревалась от печей различных: были голландские, помнившие еще Петра I, связевские — наследие графа Аракчеева, утермарковские, аммосовские, калориферы инженера Соболевского, чисто русские, наконец, просто печки — без названия, но в каждой из них жила душа мастера, таились его фантазия, норы, талант, ошибки и промахи... Заметив, что в сыне проснулся профессиональный интерес, отец сказал:

— Теперь сам сложи печку, какую хошь, но токо обороты дымовые без меня не строй... Боюсь, не справишься!

Отец удивился, когда сын, сложив печь, устроил ее обороты сам, но каким-то необычным способом, новым.

— Откуда ты это взял? — спросил он.

Митя сказал, что печку сломать и дурак может.

— Но я же не только ломал — я еще и думал, ломая.

Артель Емельяна Гнусина держала подряды, обслуживая печное хозяйство Кремля, она ведала сложным отоплением московских театров, печи Гнусиных обогревали гостиницы и постоянные дворы, было много частных заказов. Наладка дымоходов всегда нарушает замыслы архитектора, конфликты зодчего с печниками неизбежны, и потому Митеньке с детства довелось общаться с архитекторами. Это был Федор Рихтер, ближайший приятель живописца А.А. Иванова, создавшего бессмертное полотно «Явление Христа народу»; это был Константин Андреевич Тон, строитель Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты.

От них Д.Е. Гнусин получил первые зачатки культуры, они привили ему золотое правило: учиться, учиться и учиться...

Отец сделал его мастером, главою артели. В возрасте тринадцати лет мальчик стал для всех Дмитрием Емельянычем. Хотя в семье Гнусиных нужды и не знали, но тятенька был скуповат, а на голландскую печь в своем доме он даже злился:

— Во прорва! Пятнадцать копеек в день прожирает... Неделю прогреет — отдай ей рупь. Дорога!

Митенька шутя соорудил персональную печку, «которая хорошо нагревала комнату и вполне заменяла нам голландскую печь, которую мы совсем перестали топить». Это случилось в 1845 году, а вскоре отец заставил сына жениться. Дед, осевший в деревне на Волге, прожил мафусаиловы веки, но сын его, Емельян Гнусин, умер еще молодым осенью 1848 года...

Дмитрий Емельянович стал хозяином артели! На богатых поминках он нарочно подсел к архитекторам Тону и Рихтеру, ознакомил их с чертежами своей переносной печурки:

— В день она сжигает всего на полторы копейки. Сами понимаете, сколь выгодна такая печурка для бедного человека.

Тон советовал послать чертеж в «Департамент мануфактур и торговли» (был тогда такой), дабы получить патент на изобретение, а Рихтер разругал чертеж на чем свет стоит:

— Эх, Митька! Изобретать печки умеешь, а чертить не сподобился. Давай сюда шпаргалку свою. Черт с тобой, не поленюсь, вечер угроблю — сам чертеж сделаю...

Близилось окончание работ по созданию Большого Кремлевского дворца, который уже начали протапливать. Весною 1849 года ожидали приезда в Москву императора Николая I, и архитектор Тон конечно же волновался:

— Слушай, Митька! За голову царя, больную от угара, и мне голову намылят. Да и тебе на орехи достанется...

Печи и дымоходы в Кремле налаживал еще покойный батюшка, а сын был уверен в качестве отцовской работы:

— Все будет в ажуре, Константин Андрейч. Но за вентиляцию не ручаюсь, если из кухонь по всем палатам чад разойдется.

Новый дворец уже осваивали полсотни поваров и легион челяди, наехавшие из Петербурга. К счастью, они оказались ребятами покладистыми, старались не нарушать режима топки гигантских кухонных очагов. Однако чад от приготовления пищи все-таки поднялся по клеткам лестниц, заполняя парадные комнаты, и тогда барон Лев Боде, будучи президентом дворцовой конторы, сказал Гнусину, что он его... повесит!

— Помилуйте, — отвечал мастер, — мой батюшка язык обмолол, просил, чтобы вытяжные трубы сделали. А теперь вы его и вешайте! Он на Ваганьковском от трудов праведных отдыхает.

Беды начались, когда нагрянул сам император с такой свитой, что кухни дворца работали с утра до ночи, не в силах прокормить всю эту ораву камергеров, шталмейстеров, статс-дам и фрейлин. Гнусин наладил вентиляцию, чтобы устранить чад, но он ничего не мог поделывать с артелью истопников на кухнях.

— Как хошь! — отвечали они. — А с нас тоже требуют. На каждую плиту таперича в один день по сажени дров вылетает.

В один из дней жене Дмитрия Емельяновича срочно понадобились кружева и ленты, и он взялся сопровождать ее по лавкам торговых рядов. Неожиданно с улицы донесло перезвоны пожарных колесниц, в публике заговорили:

— Кремль загорелся...

Гнусин проник в Кремль через Никольские ворота, уверенный, что печи — гнусинские! — пожара не вызовут. По работе пожарных он точно определил, что огонь возник в трубах, упрятанных в стенах здания. Во Владимирском зале он застал Тона и Рихтера, здесь же метался и растерянный барон Боде.

— А-а, вот и ты! Так что теперь делать?

— Стену ломать, — отвечал Гнусин барону...

Старик Тон первым взялся за лом, набежали рабочие, огонь был залит водою, и тут явился император. Боде, чтобы оправдаться, стал орать на Гнусина... Николай I оказался добрее.

— Оставьте печника в покое, — сказал он.

Тон с Рихтером были рады, что так обошлось. Но предупредили Гнусина, чтоб ночевал в Кремле, на всякий случай советовали взять из чертежной мастерской планы дымоходов. На другой день загорелся второй Кремлевский дворец — Малый, и теперь император испугался не на шутку... Гнусину он сказал:

— Ты что! Спалить меня вознамерился?

Дмитрий Емельянович с чертежами в руках доказывал императору, что виноваты повара, которые в кухонных плитах разводят пламя, как в доменных печах:

— Тут не только щи — тут и сталь варить можно...

Вскоре Гнусин получил патент на свои переносные печи, ставшие модной новинкой. Одну из таких печей он экспонировал на промышленной выставке. Архитектор Матвей Юрьевич Левестам начал расспрашивать, как она делается и как топится...

— Я, — вспоминал Гнусин, — ничего не подозревая, дал простодушно все указания и даже объяснил способы применения герметических дверц.

Слава о гнусинских печах дошла до Петербурга, многие церкви, гимназии, приюты и лазареты пожелали иметь дешевое отопление.

Дмитрий Емельянович частенько ездил в столицу и зимою, сидя в нетопленном вагоне, коченел от холода, хотя был в шубе и в валенках. Однажды ему встретился на вокзале инженер-генерал Крафт, бывший в ту пору начальником Николаевской железной дороги.

— Николай Осипыч, — обратился к нему Гнусин, — а как цари до Москвы катаются? Неужто, как и мы, трясутся от холода?

Крафт провел его в царский вагон, по углам которого были расставлены большие медные баки, и пояснил, что на станциях в них заливают крутой кипяток, — возле баков Его Величество с их высочествами по очереди греются. Тут печник задумался.

— А... за границей? — спросил. — Тоже баки?

— Да нет. Ничего не придумали...

Вернувшись в Москву, мастер узнал от жены, что в его отсутствие мастерскую усердно посещал архитектор Левестам.

— Такой настырный, — говорила жена. — Что, как да почему? Все печами твоими интересовался. Даже срисовывал...

«Я не придал этому никакого значения, — вспоминал Гнусин — тем более такое любопытство в архитекторе считал вполне понятным». Но жена скоро известила мужа, что стоит ему выйти за порог дома, как является Левестам.

— Смотри мне! Ежели шашни какие примечу, так я тебя...

— Да Христос с тобою! — пала перед ним жена на колени. — Да я рази Митеньку сваю на энтого Матвея променяю?..

Дмитрий Емельянович уже не находил покоя: как наполнить теплом промерзлые поезда, чтобы пассажиры чувствовали себя в вагонах столь же уютно, как и в жилых комнатах? Рассуждал: «От Москвы до Питера — куда ни шло, зубами постучать можно. А ежели рельсы в Сибирь протянут, тогда как? До Иркутска всякая живая душа сосулькой станет...»

Изобретя особые печи для пассажирских вагонов, он сам мотался по рельсам туда-сюда, чтобы обучить проводников ими пользоваться. Скоро отопление вагонов достигло такого совершенства, что перед отходом поезда пассажиров спрашивали:

— Дамы и господа, скажите, какую температуру желаете иметь в вагоне, и ваше желание будет исполнено...

На станции Бологое Гнусин случайно подслушал разговор двух купцов о том, что печки в вагонах — не к добру:

— Это надо ж до такого дойти! Ведь чугушка-то не телега, с нее не соскочишь. Случись пожар на полном ходу, так кудыть прыгать-то с багажами своими?

— Не иначе, Фрол Акимыч, это немцы придумали, чтобы народ православный извести вконец... Сожгут нас на полной скорости и ведь, заметь, денег за билет никогда не отдадут.

Вернувшись в Москву, Гнусин жену ревновал:

— Сознawайся, был Левестам без меня или не был?..

М.К. Левестам скоро обнаружился как автор «хозяйственно-экономических печей», в которых Гнусин сразу распознал свои же переносные печи; Левестам чуть-чуть их изменил, что-то в них исправил и теперь выдавал за свои... Дмитрий Емельянович поспешил к юристам, но они печника едва выслушали:

— Сравни себя, мужичье, и господина Левестама, который с отличием окончил Академию художеств, а ныне он в Москве принят в лучшем обществе...

Левестам наладил массовый выпуск печей, поставив дело на широкую ногу, доходы из кошелька Гнусина быстро переместились в элегантное портмоне дипломированного плагиатора. Скоро ударила судьба-злодейка и с другой стороны: Николаевская железная дорога отказала Гнусину в подряде на установку его печей в вагонах 2-го и 3-го класса. Дмитрий Емельянович обратился с жалобой в Московский сенат:

— Если мои печи плохи, так почему ж их по-прежнему ставят в вагонах 1-го класса, где важные персоны катаются?

Министерство путей сообщения поинтересовалось:

— Уж не собираетесь ли вы судиться с нами?

На это Дмитрий Емельянович не решился...

«Таким образом, — вспоминал Гнусин, — я очутился в плохом положении. Я пришел в отчаяние и спрашивал себя: неужели голова моя стала пуста, что ничего нового не придумает?»

Он часто приказывал себе:

— Думай, Емельяныч, думай!

Он искал ответы на вопросы, казалось бы, несовместимые: почему в доме цветы завяли и почему в вагонах при его отоплении полы оставались холодными?

«При этом у меня в голове явилось новое изобретение, и я сразу придумал свои паропневматические печи». Он вернулся домой, а там — разряженная жена, праздничные гости.

Была как раз Масленица, и его ждали, чтобы ехать на тройках с бубенцами под Новинское.

— О, хозяин пришел! Кони заждались... Едем, едем! — говорили ему.

Дмитрий Емельянович сказал тогда жене:

— Езжай сама, а меня не тронь... Я думаю!

В квартире была ненормальная сухость воздуха, отчего цветы стояли почти без листьев. Гнусин вызвал плотников:

— Выламывай вот эту половицу... эту... и вон ту!

Вернулась жена с гулянья, а дома беспорядок:

— Ты обо мне-то хоть подумал ли? Хоть меня пожалел бы немного.

— Молчи! Что ты в печах понимать можешь?..

Новое отопление заработало: цветы ожили. «Я довел теплоту воздуха до 36° по Цельсию и увидел, что с увеличением температуры соразмерно увеличивается и влажность воздуха». Первый заказ на свои новые печи он получил от московского губернатора П.А. Пучкова, человека образованного.

— Я так мыслю, — сказал ему Гнусин, — что казенное учреждение за один сезон расходует на отопление целый лес, а частному дому потребна роща. О лесе никто не думает, благо Сибирь еще топором не тронута, а когда хватятся, будут и щепкам радоваться. Вот и желаю я, чтобы там, где ныне топят сразу десять печей, осталась одна печь, греющая по-прежнему...

— Возможно ли соблюсти такую экономию?

— Сужу по опытам, — отвечал Гнусин. — У меня в доме легко дышится, а цветы распускаются, как в саду...

Его пригласили в городскую думу Москвы:

— Хамовнические казармы за прошлую зиму спалили сто десять сажень дров. Днем и ночью там пылают семнадцать печей и три камина. Вот и скажите, что можно сделать для экономии?

Дмитрий Емельянович приготовил расчеты:

— Поставлю шесть своих печей, и вместо ста десяти сажень дров будет потребно всего пятнадцать сажень... Не больше!

Хамовнические казармы получили его систему отопления. Все остались довольны — все, кроме смотрителя зданий. При мизерном жалованье он жил как Бог, беспощадно воруя казенные дрова и продавая их на сторону. Легко воровать, если дрова завозили обозами, а Гнусин навел такую экономию, что стащи хоть полено — сразу заметят... Смотритель стал думать — как бы вернуть казармы в состояние былых времен? Недолго думая, весь мусор, какой был в здании, стал ежедневно сгребать в обороты кривых дымоходов. Хамовнические казармы наполнились угаром.

Дмитрий Емельянович сразу догадался, в чем тут дело:

— Прошу созвать комиссию от городской думы...

Он велел трубочистам прочистить обороты, и к ногам свидетелей нагребли кучу всякого смрадного хлама, которую венчал старый сапог и большая дохлая крыса.

— Солдат, — заметил Гнусин, — не станет сапог в обороты пихать, а крыса — тварь умнейшая, она, куда ей не надо, сама не полезет. Прошу составить протокол о зловредности умысла...

Гнусина завалили заказами на его паропневматические печи. Слава о них разошлась по стране после того, как Школе синодальных певчих 20 старых печей Гнусин заменил пятью новыми, вместо 120 сажень дров здание прогревали лишь 20 саженьями.

За это мастер получил триста рублей премии.

Он отдал эти деньги жене:

— Это тебе не на кружева да ленточки. Лучше найми учителя, чтобы детишек французскому языку обучил...

Пришлось снова поездить по городам, где имелись юнкерские училища, детские приюты и богадельни (эти небогатые заведения больше других нуждались в дешевом отоплении). За его работой пристально наблюдал Медицинский департамент МВД — как бы не было вреда здоровью, но людям дышалось легко. Появились новые печи Гнусина — паровентиляционные, о которых мастер писал, что они «были несравненно лучше прежних в гигиеническом отношении, представляя еще большую экономию топлива».

Между тем дети подрастали, забот и расходов прибавилось, и однажды, глянув на стареющую жену, Дмитрий Емельянович впервые подумал, что все спешит куда-то, пора и оглядеться... Вестимо, закат жизни уже виден, он неизбежен. Вспомнился старый дед, лупивший его вожжами, вспомнился и мастер Василий да еще большие руки отца в гробу, розовые от сырой глины.

Академик архитектуры К.А. Тон был уже очень стар, как и дед Гнусина когда-то. В 1873 году газета «Голос» всенародно оповестила о заслугах перед отечеством печных дел мастера. Статья была подкреплена словами академика Тона:

«Один только Воспитательный дом в Петербурге за десять лет топки печами Гнусина получил экономию в сто сорок тысяч рублей. При нашей бедности это успех, и успех значительный. При этом мы ведь еще не учитываем, сколько русских лесов сохранили мы в целости и сохранности благодаря этой экономии печей...»

Жена тоже прочла статью в «Голосе».

— Сто сорок тыщ, — сказала она, — а тебе-то сколь дадено? Другие-то, гляди, как — из глотки свое вырвут, а ты...

— Молчи! — сказал Дмитрий Емельянович. — Человеку не быть счастливым, ежели все деньги, какие есть, хочет заработать...

Время не стояло на месте, в столичных городах появилось водяное отопление, снова возникла газетная полемика, но Дмитрий Емельянович в нее не вмешивался, чтобы сторонники водяного отопления не заподозрили в его печах конкуренции.

— Но ведь дорого! — говорил он. — Не спору, вода течет по трубам горячая, в комнатах тепло, но... ой, как дорого!

Жена как-то встретила мужа в слезах:

— Поговори с нашим Митенькой, не хочет в гимназию ходить. Там его барчуки печником зовут.

— Пушай терпит, — ответил Дмитрий Емельянович. — Я ведь тоже натерпелся. Всякого...

В 1886 году русская печать с прискорбием отметила, что «наш самородок-изобретатель в конце концов не нажил ничего — это совершеннейший бедняк... Все, что успел сделать Дмитрий Емельянович, это позаботиться об отличном образовании своих детей».

Правда, дети не пошли по стопам отца. Известно, что старший сын печника, Дмитрий Дмитриевич Гнусин, стал одним из видных специалистов по созданию гаванских и портовых сооружений для нужд флота российского...

Теперь хотелось бы помечтать. Наверное, отказавшись от печек, мы еще не отыскали достойную им замену. Сами архитекторы признают непривлекательность батарей парового отопления, а медицина давно обеспокоена болезнями дыхательных путей. Не спору: трудно представить современный город с печным отоплением. Рядом с мусоропроводами пролегли бы дымоходные трубы, возникла бы неразрешимая проблема размещения дровяных сараев. Пассажирам в городском транспорте пришлось бы посторониться, если с передней площадки вошел бы измазанный сажей допотопный трубочист...

Все это так! Но мне кажется, что хорошо было бы изобрести что-то новое в отоплении наших жилищ, чтобы снова обрести первобытную радость при виде пылающего огня.

Это пока лишь мечты.

Однако будем внимательнее к мечтам фантазеров.

Может, они еще что-либо придумают, как умел это придумывать наш русский самородок — Дмитрий Емельянович Гнусин.

В ногайских степях

После московского международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн начал свое интервью такими словами:

«Тем, кто меня не знает, я хотел бы представиться. Мои предки по материнской линии — знаменитые Епанчины, герои Наваринского сражения. Предки по отцовской линии создали заповедник Аскания-Нова, где я родился ровно семьдесят пять лет назад. Я не писатель, но имею большого писателя в семье: Владимир Набоков — мой кузен. Он очень страдал, что на родине его не публикуют...»

Проживающий в княжестве Лихтенштейн, Фальц-Фейн никогда не забывал о покинутой родине — России, вернув нам многие сокровища, оказавшиеся за рубежом, за что и был награжден Почетным знаком Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами «За вклад в дело дружбы между народами».

Долгие годы в нашей литературе имя Фальц-Фейнов изымалось из обращения, и наш читатель мог подозревать, что знаменитая Аскания-Нова явилась сама по себе, будто рожденная по щучьему велению, а редкие звери Азии, Африки или Америки, презрев все преграды и расстояния, сами по себе вдруг сбежались в ногайские степи Таврии.

Не пора ли помянуть добрым словом создателей уникального заповедника и рассказать об этой семье то, что мы знаем.

К сожалению, знаем не так уже много...

В романе «Фаворит» я подробно писал о причинах, экономических и социальных, которые во времена императрицы Екатерины II вызвали мощную волну переселения в Россию чехов, немцев, словаков, голландцев, шведов с острова Даго, швейцарцев и даже эльзасцев. Они энергично обживали пустынные степи подле Саратова и в Причерноморье; впоследствии мы забывали о национальных и религиозных различиях между колонистами и всех пришельцев, осваивавших русскую целину, именовали немцами; там, где была их столица Сарепта, славная выделкой горчицы, ныне город Энгельс.

Среди многих выходцев из Европы был некий Иоганн-Георг Фейн, выехавший на Русь из саксонского города Хемница. Он сразу проявил себя деловым и полезным человеком: налаживал устройство суконных фабрик, был отличным мастером по выделке шерсти, столь необходимой для обмундирования армии. Приняв русское подданство, Фейн почему-то не пожелал называться колонистом, со всем потомством приписавшись к мещанскому сословию торгового Мелитополя.

Мелитополь со дня основания напоминал вавилонское столпотворение: на улицах слышалась речь русских, украинцев, болгар, немцев, греков, цыган, армян, караимов и татар — и все отлично понимали друг друга, если дело касалось не ерунды, а насущной прибыли. Вокруг же города залегли еще не тронутые плугом дикие степи, колышась сочными травами. В 1813 году, сразу после изгнания Наполеона, в Мелитополе состоялась публичная распродажа земель, пустующих без хозяина. Иоганн-Георг Фейн выкупил на аукционе обширный участок казенных земель, сразу сделавшись видным помещиком. Овцеводство и образцовая культура шерсти стали для него «золотым руном».

В безлюдной степи выросли длинные сараи кошар для укрытия овец в непогоду; появились хутора, окруженные садами, шерстомойни и склады, всюду отрывались артезианские колодцы для водопоя

овец в знойные дни. У местных ногойцев были очень плохие овцы. Фейн призывал их разводить мериносов, с Кораном в руке он доказывал невежественным муллам, что «именно испанская овца, перенесенная маврами в Испанию, и была настоящей жертвенной овцой правоверных мусульман...». Человек дальновидный, Фейн внушал сыновьям:

— Я заложил здесь такое имение, доходов с которого хватит не только вам, но останется и внукам моим...

Старик был нрава крутого, вспыльчивого, и таким же характером обладал его старший сын Фридрих (Георгиевич по отцу). Однажды они крепко повздорили, никак не уступая друг другу, да такой скандал получился, что все домашние по комнатам разбежались. Отец с лязгом обнажил шпагу, крича:

— Убью, дрянь саксонская! Выродок паршивый...

Фридрих сунулся под стол, но острие шпаги выгнало парня... прямо в раскрытые двери. Вслед ему громыхнул безжалостный выстрел, но пуля миновала его, и, убегая, он слышал угрозы:

— Нет у меня сына. Пропадай... Я не знаю тебя!

Фридрих нашел приют в доме русского купца Летягина: сначала работал в его конторе, потом выдвинулся в компаньоны, сам разбогател. Старый Фейн умер в 1826 году, когда его сын уже завел собственное хозяйство в колонии Рейхенвельд. Все поселения колонистов были одинаковы: прямые улицы с обязательной кирпичой и фонтанчиком возле жилища пастора, запах кофе из раскрытых дверей в домах каменной кладки, плодоносящие сады, дающие столь обильный урожай фруктов, что яблоки считались дешевле сена. Свою единственную дочь он — в честь жены — назвал Эльзой (по-русски Елизаветой). А жене говорил:

— Я не сверну с дороги отца. Овцы, дающие мясо и шерсть, всегда будут необходимы, чтобы человек был сыт и одет. Но в отличие от других колонистов не стану просить субсидий у казны российской: все сделаю на свои деньги...

Фейн был отличным селекционером. Через скрещивание различных пород он добился, что его стада, усиленные меринсами, обрели нужную холодостойкость, а тонкорунная овца давала на русский рынок отличную шерсть, ничуть не хуже английской. Но времена выпали трудные — не до жиру, быть бы живу.

1831 год остался в народе памятен холерой, которая переморила в Тавриде и... Таврии десятую часть жителей. Вслед за эпидемией наступила небывалая засуха, остатки травы выжрали неистребимые полчища саранчи. В степях умирали отары овец, растасканные волками и расклеванные стервятниками. Тогда же от голода погибли тысячи поселян и колонистов. Только в 1840 году наступила пора благоденствия и сытости: арба дынь или арбузов стоила рубль, абрикосы и груши продавали ведрами за понюх табаку, один ягненок стоил двадцать пять копеек.

Для Фейна наступила пора процветания, его хозяйство окрепло. На гигантских просторах собственной и арендованной земли он держал отару в сто тысяч овец. Эльзе он признавался:

— Но теперь меня соблазняет Аскания-Нова! Эти ангальтские герцоги способны только губить овечек и землю...

Да. Чужеродным клином в сердцевину Днепровского уезда врезался самый лучший район степей — имение Аскания-Нова, которое с 1828 года принадлежало Ангальт-Кетенским герцогам, никогда в Таврии не бывавшим. Царь уступил им эти земли для разведения меринсов, но порода овец год от года ухудшалась, опыты земледелия не удались, работники разбежались, колодцы высохли, земля погибала втуне, и никакие дотации от русской казны не могли спасти Асканию-Нова от полного разорения.

В один из дней Фейн радостно сообщил жене:

— Говорят, герцог Генрих умирает, а Кетенский ландтаг ищет способы, чтобы расплатиться с его долгами. Думаю, мне удастся уговорить их на продажу Аскании-Нова...

В 1846 году в Симферополе открылась выставка сельского хозяйства, на которой Фридрих Георгиевич получил золотую медаль. Награда досталась ему не зря, и не только за шерсть: Фейн вырастил тучный племенной скот, изобрел садовые инструменты, вывел на свои поля технику для уборки урожая, на его стендах красовались хлебные злаки, какие он добыл путем тщательного отбора и селекции.

На выставке он выступил перед публикой:

— Самое трудное — отмыть живую овцу перед стрижкой. Нужно много воды. Еще больше воды потребно, чтобы отмыть снятое с нее руно, в котором засохли комки навоза и цепкие колючки степных трав. А колодцы не могут много воды дать, посему надеюсь получить вторую золотую медаль — за устройство в городе Херсоне образцовой шерстомойной фабрики...

Снова беда! В Крыму высадились англичане с французами, началась героическая осада Севастополя, и колонисты не остались равнодушными зрителями. Их арбы и двуколки везли на помощь Севастополю груды хлеба и бобов, фруктов и мяса. Обрато они возвращались, перегруженные ранеными солдатами и матросами; в своих уютных чистоплотных колониях немцы раскинули военные госпитали, их жены стали сестрами милосердия. Пять тысяч защитников Севастополя они выходили в своих домах, но зато подле солдатских могил возникли могилы поселян, зараженных тифом и дизентерией. К этому времени колонисты, рожденные в России, считали ее своим «фатерляндом», они сами шли в солдаты, многие из них выслужились потом в офицеры и даже в генералы русской армии.

Сразу после Крымской войны Аскания-Нова досталась Фейну, за которую он выложил ангалътцам 575 тысяч рублей. поголовье его овечьей отары насчитывало тогда почти четыреста тысяч голов, ежегодно он снимал на продажу сто тысяч пудов первоклассной шерсти. Великий труженик, Фридрих Георгиевич скончался в

1864 году. Дабы не забылось его имя в потомстве, состоялся особый указ императора Александра II, чтобы зять покойного Иоганн Фальц, женатый на его дочери Елизавете, впредь носил двойную фамилию. Так в России появилась Аскания-Нова, и так появились Фальц-Фейны.

Эдуард Александрович Фальц-Фейн, с которого я начал рассказ, получил титул барона не в России, а в Лихтенштейне — за новейшие методы в развитии туризма этого маленького, но богатого государства...

До революции Россия занимала первое место в мире по частному предпринимательству, побивая рекорды даже американских бизнесменов, которым никак не откажешь в умении делать деньги. Среди множества финансовых воротил, среди именитых «королей» ртути и чая, самоваров и ситца, швейных иглол и золотой канители для эполет встречалось немало идеалистов, которые свои прибыли обращали на пользу государства и народа. Имена таких людей до сих пор уважаемы в нашей стране. Достаточно напомнить имена купцов Латкиных, Сидорова, Мамонтова, Третьякова, Морозова, Бахрушина и Станиславского-Алексеева.

Но совсем забыта Софья Богдановна Фальц-Фейн, о которой в начале XX века много говорили и писали в газетах. Эта красивая, импозантная дама обладала большой практической сметкой и, живи она в Америке, могла бы стать героиней джеклондоновских романов. В сильные морозы замерзали черноморские порты — Одесса, Херсон и Николаев, иностранные корабли, приплывшие за русскими товарами, надолго застывали возле причалов, коченя машинами от холода. Софья Богдановна искала бухту, где кораблям не угрожали бы зимние льды. Возле крымского Перекопа, в глубине Каркинитского залива, где на сиротливых берегах паслись дикие животные и редко можно было увидеть человека, она выбрала место для будущего порта и города.

— Если еще великий Страбон писал, что в Каркинитском заливе была гавань херсонцев, то почему не быть ей теперь? В этом районе, — рассуждала женщина, — бывают частые миражи, и штурманы понервничают, отыскивая Хорловскую косу. Порт я назову Хорлы, и он может стать «русским Кардиффом», если его причалы соединить рельсами с шахтами Донбасса...

Я нарочно заглянул в лоцию Черного моря, изданную недавно. Порт Хорлы существует и в наше время, приписанный к Херсону как вспомогательный. Не знаю, что там сейчас, но при Софье Богдановне на рейде виднелись флаги кораблей Германии, Австрии, Италии, Греции и прочих стран, закупавших русское зерно, скот и битую птицу. Даже в морозные годы, когда замерзал соседний Скадовск, причалы Хорлы не пустовали, корабли входили в него без помощи ледоколов. Журналист И. Горелик в 1911 году писал: «Этому городу и его порту предсказывают самую блестящую будущность. В истории российских городов создание такого города в десять лет — явление небывалое...»

Да, небывалое! Софья Богдановна денег не пожалела. Подле причалов выросли громадные склады, хлебный элеватор, конторы, таможня, гостиница для моряков и метеостанция, почта и телеграф, даже завод по переработке устриц; пассажирский пароход «София» курсировал по линии Хорлы — Одесса.

— Порт как порт, — говорила его владелица Горелику. — Но зато г о р д Хорлы — это моя гордость, и кто хоть раз увидел его, тот останется в нем навсегда...

Я видел Хорлы только на фотографиях и тоже хотел бы в нем жить, чтобы уйти от суматохи и грязи наших больших городов. Хорлы напомнил мне тот мир, в каком, наверное, жили романтики и бродяги ослепительной гриновской мечты. Внешне город был похож на оранжерею среди прудов и экзотических клумб: вдоль широких улочек белели односемейные дома, утопавшие в цветении фруктовых садов; здесь, как в романах А. Грина, жители говорили на многих

языках, не ведая розни, и не хватало разве что легконогой Ассолы, ждущей с моря корабль под алыми парусами. К услугам хорловцев Софья Богдановна устроила училище и гостиницы, рестораны и бальный зал, а вечерами над темным парком загорались трепетные огни «иллюзиона» (кинотеатра). Телефон связывал город с портом, Софья Богдановна звонила даже в Асканию-Нова, где хозяйствовали ее сыновья:

— Поздравьте свою мать — у меня в городе теперь две тысячи семейств, никакой полиции, никаких скандалов, и я завожу типографию, чтобы выпускать свою газету...

Младший сын ее Владимир (Вальдемар) Эдуардович родился в 1877 году. Избранный в Государственную думу третьего созыва от Днепровского уезда как богатый землевладелец, он ничем не проявил себя в вопросах думской политики. Зато остался известен в истории зарождения русской авиации: он был конструктором первых в России аэропланов, на самолете его системы летал военный летчик из семьи Фальц-Фейнов; в 1916 году он был сбит немцами в воздушном бою и погребен в Аскании-Нова, где его могилу украшает погнутый пропеллер.

Старший сын, Фридрих Эдуардович, родился в 1863 году, и его судьба не совсем обычна. С детства очарованный дикой красотой и раздольем степей Аскании-Нова, он увлекся естественными науками. Идеи об охране всего живого на свете привели его в Юрьевский университет, затем в Европе он изучал биологию, осмотрел заграничные зоопарки. Выводы были весьма неутешительны:

— По сути дела, не только наша бедная страна, но даже богатая Европа имеет лишь жалкие зверинцы, и нигде нет настоящих зоопарков, где бы животное не теряло чувства свободы, не видя тюремных клеток, вольеров...

Из хозяйства Аскании-Нова был отрезан громадный участок, объявленный заповедным; Фридрих Эдуардович не стал окружать его

забором, а лишь отделил широким поясом сенокосов и пахоты; тогда же он заложил в степи и лесопарк, где над чашами прудов поникли ивы, росли дубы и акации. Лес казался оазисом, чудесно выросшим посреди жаркой степи.

— Если люди коллекционируют книги, редкостные камни или бабочек, — рассуждал Фальц-Фейн, — то я соберу здесь животных, особенно вымирающих, для пользы тех же животных... Я давно озабочен: неужели не осталось ни одного тарпана?

В ту пору, когда его предок из Хемница явился на Русь, тарпаны еще паслись гигантскими табунами. Но... последний в мире тарпан был убит в декабре 1879 года (по воле злобного рока это случилось у села Агайман, почти рядом с границами Аскании-Нова). Фридрих Эдуардович любил пернатых с детства, и скоро в его парке бегали, на удивление местных жителей, страусы, закупленные в Африке и даже в Австралии.

Потом в Аскании-Нова появились бизоны и зубры, зебры и антилопы различных пород, сами забегали в кораль олени. Фальц-Фейну хотелось спасти для будущего сайгака, когда-то соперничавшего в степях с тарпаном, и в 1887 году где-то под Царицыном поймали пару этих животных. Большой победой считал Фридрих Эдуардович приобретение дикой лошади Пржевальского, схожей по своей стати с тарпаном. За этой лошастью он посылал целые экспедиции в районы Центральной Азии.

Поднимаясь на смотровую вышку, с которой он обозревал границы своего заповедника, Фальц-Фейн говорил:

— Я боюсь только двуногих волков, у которых вместо зубов отличные берданки. Будем же осторожны, ибо всегда найдутся охотники расхитить мои сокровища...

Слава о небывалом собрании редкостных птиц и животных всколыхнула не только научный мир русских биологов Москвы и Петербурга, но вызвала и нездоровый ажиотаж зарубежных владельцев зоопарков. Карл Гагенбек, владевший в Гамбурге лучшим

зоопарком Европы, просил Фальц-Фейна продать ему — за любые деньги — хотя бы одну пару лошадей Пржевальского.

— Никогда! — отвечал Фридрих Эдуардович. — И нет у Гагенбека таких денег, которые бы соблазнили меня...

Гагенбек применил запретные приемы «промышленного шпионажа». Он подослал в Асканию-Нова своих тайных агентов, которые вывели секрет добычи лошадей Пржевальского, и скоро Гагенбек мог торговать этими животными по всем зоопаркам мира.

— А я корысти искать не стану, — говорил Фальц-Фейн, — мой заповедник не кошелек, и открыт он лишь для науки...

Сам Фридрих Эдуардович так и остался автором лишь пяти скромных научных статей, но его Аскания-Нова сделалась опытной фермой для ученых. Особенно много здесь потрудился знаменитый биолог Илья Иванович Иванов, который скрещивал домашнюю лошадь с зеброй и получал зеброида, намного сильнее лошади; Иванов сводил зубра с бизоном, а полученных зубробизонов скрещивал с домашним рогатым скотом. В 1908 году Фальц-Фейн разыграл веселую шутку с ремонтёрами (закупщиками) лошадей русской кавалерии. Прежде он велел им убедиться в добротности лошадей и в правильности их экстерьера, но они, еще раз осмотрев животных, не нашли в них никаких изъянов.

— Так знайте! У этих лошадок были только матери, но никогда не было отцов. Если не верите мне, спросите профессора Иванова, он подтвердит вам истину моих слов...

1917 год и Гражданская война отразились не только на судьбах людей, но даже на животных. Фальц-Фейны спасались за границей, а животных очень трудно стало беречь от истребления. Через заповедник шлялись немецкие оккупанты и отряды деникинцев, в окрестных немецких и еврейских колониях лютовали шайки батьки Махно, они беспощадно уничтожали драгоценных птиц и животных, чтобы сварить себе сытную баланду с дичью и мясом. С тех самых пор в Аскании-Нова уцелела едва ли одна треть всего

заповедного собрания. В эти страшные годы комиссаром заповедника стал П.К. Козлов, известный путешественник, ученик Пржевальского; ему было особенно тяжело видеть уничтожение тех животных, которых он сам же из глубин дикой Азии добывал для Фальц-Фейна...

В 1919 году Аскания-Нова была национализирована, переименована в «Чапли» (тогда всем на свете придумывали новые названия); бывшее имение Фальц-Фейнов перешло в ведомство Наркомзема Украины. Заповедник остался научной станцией, но в последующие годы ему грозило полное уничтожение. Нераспаханные земли Аскании-Нова очень соблазняли любителей не только выполнить план поставок зерна и мяса, но и перевыполнить его. Карьеристам наука только мешала.

— Сейчас самое главное — п л а н! — возвещали они на собраниях в заповеднике. — Почему не запахать пустующие земли в Аскании-Нова? К чему вы держите это безобразное зверье, доставшееся вам из проклятого прошлого, а теперь активно пожирающее государственные корма? Всех перевести на мясо.

Вот такие-то горлопаны, преисполненные энтузиазма не по разуму, жаждали уничтожить красоту Аскании-Нова, чтобы затем с высокой трибуны отчитаться о своих успехах в социалистическом соревновании. Заповедник выстоял перед многолетним напором подобных Угрюм-Бурчеевых, но тут грянула война, и 21 сентября 1941 года в первозданной Аскании-Нова разместился штаб армии Манштейна, наступавшей на Крым.

В своих мемуарах Манштейн не забыл упомянуть и свое житье-бытье в заповеднике: «Раньше это было известное во всей России образцовое хозяйство, теперь же имение стало колхозом. Здания были запущены. Все машины разрушены отступавшими советскими войсками... Прямо посреди степи поднимался большой парк с ручьями и прудами, на которых жили сотни видов водоплавающих птиц... Этот парк в степи был поистине райским уголком, и даже

большевики не притронулись к нему... там паслись самые различные животные: олени и лани, антилопы, зебры, муфлоны, бизоны, яки, гну, важно шествующие верблюды...»

Оккупанты вывозили животных в Германию, многие звери были убиты или погибли от бескормицы. После войны в стране, вконец разоренной, все-таки нашлись здоровые головы, которые настояли на возрождении этой сокровищницы животного мира. Аскания-Нова живет, сделавшись опытным полем для ученых.

О работе наших биологов в возрожденной Аскании-Нова я писать не стану, ибо о ней широко известно в нашей стране и далеко за ее пределами. Тысячи людей ежегодно стекаются сюда, чтобы прикоснуться к чудесному уголку нетронутой природы.

Всем известно: после революции за рубежом оказалось много наших соотечественников, для которых эмиграция (иногда вынужденная, против их воли) стала подлинной бедой, тем более что лично они, эти люди, никогда не были врагами нашей страны, оставаясь в душе русскими патриотами.

Вернемся к Эдуарду Александровичу Фальц-Фейну.

Живущий в Вадуце, столице княжества Лихтенштейн, он остался верен лучшим традициям своих предков. Это лично ему мы обязаны, что на родину вернулись многие произведения искусства, похищенные фашистами, это он хлопотал, чтобы перенесли на Родину прах Федора Ивановича Шаляпина, это он пытался уговорить Сержа Лифаря передать в СССР пушкинскую коллекцию, это ему, человеку старого воспитания, приученному всегда оставаться вежливым, пришлось душевно скорбеть, что Родина — в ответ на его старания — не выражала даже примитивной благодарности, а высокостоящие чиновники даже не удостоивали его ответом. Увы, но так было...

Теперь многое изменилось в нашей стране, «товарищ барон» чувствовал себя в Москве своим среди своих, и, заканчивая рассказ, я опять процитирую слова Эдуарда Александровича:

«Нам, русским, живущим за рубежом, дорого все, что связано с родиной, ее искусством, ее историей. В свое время по сохранившимся в Лихтенштейне архивным документам я нашел место ночлега Суворова при переходе Чертова моста в Альпах в 1799 году. Сейчас на мои средства и благодаря моим усилиям на том месте установлен памятник Суворову, выпущена почтовая марка — единственная заграничная марка, посвященная русскому полководцу. И я хочу еще раз сказать вам: мы — с вами, помните об этом и не сомневайтесь в нашем сочувствии и благорасположении».

Мы уже не сомневаемся! Для того и был образован Союз советских обществ дружбы и культурных связей.

Думаю, что эмигрантам, наверное, не так-то весело жить и стареть на чужбине, вдали от наших полей и лесов. Может быть, потому Эдуард Александрович Фальц-Фейн и назвал свою виллу именем далекого русского заповедника — «Аскания-Нова»!

...Я, автор, буду рад, если о Фальц-Фейнах узнают те, кто их не знает!

Михаил Константинович Сидоров

Внешне история нашего героя не всегда привлекательна: кулачные расправы, гомерические кутежи, аресты и побег, но сама *суть* жизни достойна восхищения.

Советский академик Губкин, отдавший себя поискам нефти в нашей стране, говорил:

— Побольше бы нам таких Сидоровых, и никто бы не осмелился назвать дореволюционную Россию страной отсталой...

Очень хорошо, когда человек еще на заре юности ставит перед собой цель и потом всю жизнь достигает ее; в таких случаях он не останавливается до тех пор, пока не остановится его сердце. Люблю таких людей: они отвечают моему представлению о человеке!

А рассказ начинается уроком немецкого языка в архангельской гимназии. Герр Шретер уселся за кафедру, глянул в кондуит:

— Руссише швайне Михель Ситорофф, ответшай...

Крупный и плотный отрок вразвалочку подошел к учителю и стал волтузить его кулаками, приговаривая при этом:

— Я тебе не «руссише швайн»... я тебе не «Михель»!

Немец убежал, а гимназисты обступили Сидорова:

— Ну, Мишка, спасайся: могут и в солдаты отдать.

— Беги скорей — швейцара уже за полицией послали...

Дядя Ксанфий Сидоров отыскивал племянника на кладбище — среди могил и «фамильных» склепов купечества.

— Молодец — отучился на славу! Иди домой...

Гимназист поднялся с надгробного камня; тоскливые серые тучи стремительно пролетали над древним кремлем Архангельска.

— Дядя Ксанфий, — неожиданно прозвучал вопрос, — скажи, где достать три миллиона... да не бумажками, а чистым золотом?

— Три мильена... С ума ты сошел, племяшек родненький. Да о таких деньжищах и мечтать-то страшно. Ты лучше думай, как жизнь свою далее налаживать. Ступай со мной — сейчас тебя выдерем во славу божию. Уже вся родня собралась — наблюдать будут!

— Пошли, — вздохнул Мишка. — Пускай и дерут. Что мне? Не первый раз... Но я уже все продумал, дядя...

Много лет спустя он писал: «Нелегка наша задача. Нам предстоит борьба, и эта борьба будет жестокой». В ленинградском музее Арктики висит портрет Сидорова, а в архивах Академии наук СССР хранятся несколько заколоченных ящиков с его бумагами. Слишком необъятен материал для размышлений о небывалой судьбе человека, желавшего освоить весь Русский Север — от Камчатки до архипелага Шпицбергена!

Сейчас нам уже трудно представить капиталистами П.М. Третьякова, основавшего картинную галерею, «канительного» фабриканта К.С. Станиславского, создавшего знаменитый МХАТ, московского

купца А.А. Бахрушина, растратившего свои богатства на устройство Музея театрального искусства, — для нас имена этих людей связаны уже не с миллионами, которыми они владели, а с тем, во что они эти миллионы вложили...

После Сидорова не осталось ни галереи, ни театра, ни музея, зато Семенов-Тянь-Шаньский говорил о нем так:

— Членами Русского Географического общества являются и султан турецкий, и герцог Эдинбургский, и великие князья с их княгинями. Но один господин Сидоров стоит всех коронованных особ — он осыпал русскую географию своим червонным золотом, его жизнь, его романтика зовут русскую жизнь на Север...

Деда разорили иноземные купцы-пароходчики, банкротом умер и отец; Миша Сидоров перешел служить в контору дяди Ксанфия, но и того вскорости разорили... Так начиналась его жизнь.

— Бумажку тебе надобно, — хрипел дядя Ксанфий, — бумажку какую-либо, чтобы видать было, каков ты человек.

Сидоров экстерном сдал экзамены на звание «домашнего учителя» (было тогда такое звание). «Бумажка» теперь имелась, но... что с нее толку? Он уже заметил, что борьба с иностранным капиталом немыслима без получения кредитов, но русским купцам Госбанк кредитов не отпускает. Не в меру экспансивный, юноша сумел убедить архангельских толстосумов, что надо завести частный банк. Проект такого банка подписали и отправили на утверждению министру внутренних дел, а тот запросил губернатора Архангельска: мол, какой-то недоучка Сидоров хлопочет о банке... нужен ли вообще банк? Губернатор велел купцам подписаться под бумагой, что никакого банка Архангельску не надобно. В страхе все подписались — не надо! Сидоров опять созвал купцов и стал их стыдить: банк нужен, и вы сами признали это поначалу...

— Подписывайтесь вот здесь заново, что губернатор угрозами вынудил вас отказаться от заведения частного кредитного банка!

Министр вертел в руках две бумаги: в одной купцы умоляют об открытии банка, в другой клянут этот банк на чем свет стоит.

— Ничего не понимаю, что там творится в Архангельске...

Дело дошло и до губернатора.

— Ах, так! — осатанел он. — Этот щенок Сидоров осмелился пойти против меня... Под арест его! Хватайте паршивца...

Дядя Ксанфий помог племяннику бежать из города:

— И двадцати годков тебе нету, а сколько шуму и треску от тебя! Скройся так, чтобы и духу твоего здесь не было...

Сидоров появился в Красноярске, где пристроился на правах «домашнего учителя» к воспитанию детей оборотливого зырянского промышленника Василия Латкина, которого посвятил в свои планы создания на Севере русского Эльдorado; юноша грезил о русских Клондайках, какие не снились даже американским бизнесменам.

Латкин, умудренный опытом, легонько осаживал его:

— Коли тебе своя шея недорога, так ломай ее! Я уже пытался освоить вывоз лиственницы с Печоры, да — шалишь, брат... Не от добра покинул родимую зырянскую Усть-Цильму!

Михаил женился на своей ученице Ольге Латкиной, самоучкой постигал основы химии и геологии, вникал в славную историю мореходов и землепроходцев. Сибирь уже тогда пересыпала в руках бродяг червонные россыпи... Сидоров говорил юной жене:

— Что можно сделать при отсутствии капиталов? Ничего! И все-таки можно. Надобно за гроши скупать участки, которые золотоискатели уже прочесали, но золота там не обнаружили.

— Не обнаружили, потому как нету там золота.

— Не всегда так! Надо уметь искать...

По дешевке скупал он земли вдоль Енисея, с каждым годом поднимаясь все выше по течению реки, промывал породу в тазах, не теряя надежды, что рано или поздно, но в тазу сверкнет золотишко, и тогда грандиозные планы жизни станут явью. Целых пять лет, тер-

ля жестокие лишения, искусанный гнусом, он бродил по притокам великой реки, а в 1850 году его занесло на Подкаменную Тунгуску; мрачно тут было, нелюдимо и жутковато, по следу одинокого золотоискателя шли хищные звери... Случайно поднял мох — золото! Отодвинул камень на берегу — золото! Забежал по колено в реку — на него смотрело из-под воды золотое дно!

Это было так неожиданно, что он даже не обрадовался.

— Ну, вот и миллионы, — сказал он себе...

Возле своего дома в Красноярске он поставил пушки.

— Это я в Архангельске от полиции да от губернаторов бегал, а теперь... возьми-ка меня! Как пальну из своей личной артиллерии, так с любого генерала вся позолота сразу осыплется...

Первогильдейские торгаши стали его уважать:

— Коли ты, Мишка, мильенов нахапался, так первым делом езжай до самого Парижу... Городишко веселый, не хуже Тобольска выглядит! Я, эвон, с кумом Пантелеичем две недели в Париже пробыл.

— У меня на уме другое, — отвечал Сидоров, — хочу основать университет.

— Рехнулся? И де хошь основать?

— Здесь же — в Сибири.

Но тут началась война в Крыму, и он сказал жене:

— Оля, сейчас в Севастополе поставлена на карту честь России. Я был бы плохим патриотом, если бы...

И все, что дали ему за последние годы прииски, все безвозмездно отдал Сидоров на нужды армии. Кошелек стал пуст.

— Опять я беден. Даже приятно начинать все сначала...

А дела шли прекрасно.

За десять лет он намыл тысячу пудов золота, дав казне три миллиона чистой прибыли, и, сильно разбогатев, отправился в Петербург, где предложил Академии наук принять от него доходы с приисков, дабы открыть в Сибири университет.

Академики поняли Сидорова как должно:

— Университет нужен! Ваш щедрый дар принимаем...

Но тут пошли всякие «мнения» сановников, отписки министров. Над великой империей от берегов Невы до Амура порхали казенные бумаги, а граф Муравьев-Амурский прямо заявил Сидорову:

— С такими деньгами да с такими сумасшедшими проектами вам бы, Михаила Константинович, жить в Америке — вашим именем там бы город назвали! А здесь вы поторопились жить и чувствовать — наша Сибирь-матушка еще не доросла до диплома университетского.

В 1864 году дело с университетом заглохло окончательно, и Ольга Васильевна заметила в муже большую перемену: он как-то равнодушно взирал на поток золота, что рекою тек в его мощну, Сидоров сделался мрачен, внутренне слишком напряжен.

— Ты можешь сказать — что с тобою?

— Я пришел к выводу, что золото само по себе ничего изменить не способно. Я перестал ценить его власть. Теперь я сознательно стану обращать свои прибыли себе же в убыток ради пропаганды освоения сокровищ Севера и надеюсь, что потомство мою жертву оценит. — Он прошелся по шкурам белых полярных медведей, скаливших на него розовые пасти из углов комнаты. — Мне уже сорок лет, — сказал он продуманно, — и остаток жизни я должен посвятить исполнению мечтаний юности. Иначе — зачем жить?.. В конце концов, — горько усмехнулся Сидоров, — всего золота из Сибири мне не вычерпать, да это и ни к чему: мне уже хватит!

— На твои фантазии хватит, — сказала жена.

— На твои тоже, голубушка! — отмахнулся он. — Я тебе ни в чем не отказываю. Вот единственные штаны, которые на мне, и больше мне ничего не надо. А ты можешь ехать в Париж и безумствуй там в магазинах, сколько тебе угодно.

— А о детях ты подумал? — язвительно спросила Ольга.

— Дети пускай сами о себе думают. Я не ради детей живу, не ради них и стараюсь... Деньги буду тратить на дело!

Недавно он посетил свои отдаленные прииски на реке Курейке, очень далеко на севере, где ему всегда дышалось особенно легко и приятно: Михаил Константинович стоял на черных глыбах породы и взирал в холодеющую даль... Его окликнул проводник:

— Михаила, ты чего, как дурак, разинулся?

Сидоров нагнулся, отломил кусочек породы и, раскрыв блокнот, стал писать в нем породой, как грифелем: «Нет, я не стою, как дурак, я стою, как умный, ибо подо мною сейчас лежат русские миллионы: мы случайно открыли графит...»

Неужели графит? Да — то, без чего не может существовать цивилизация!

— Но ты разоришься, Михаила, с графитом, — сказал проводник. — Посуди сам: как из этой глуши вывезти? Оленями да собаками, через Урал на лошадях... Ей-ей, на вывозе разоришься!

Сидоров показал на север, где было уже темно:

— Вот самая дешевая дорога в Европу — морем.

— Да кто ж там плавает?

— Предки плавали...

Это был неосвоенный Великий северный морской путь!

Это была неисполнимая мечта многих россиян...

Сидоров уже не раз заявлял в печати, что ходить морем из сибирских рек в Европу можно, но от его проектов отмахивались. Теперь он стал таранить Петербург докладами, лекциями, книгами. Он обещал груды золота смельчакам, которые рискнут отправиться в ледовый рейс — из Сибири в Европу! Но все его усилия разбивались не об арктический лед, а об ледяное равнодушие мореплавателя Ф.П. Литке, который в молодости и сам побывал во льдах.

Литке тогда считался непререкаемым авторитетом.

— Сидоров — это сумасшедший, — говорил он. — Нельзя верить ни единому слову. А плавание во льдах невозможно...

Отчаясь, Сидоров в 1867 году обратился лично к наследнику престола, будущему императору Александру III, с запискою «О средствах вырвать Север России из его бедственного положения». Он указывал, что одной треской сыт не будешь — нищета и голод северян исчезнут сами по себе, если Север осваивать экономически разумно и грамотно. Наследник передал записку своему воспитателю, генералу Зиновьеву, чтобы тот разобрался, и вот результат.

«Так как на Севере, — писал Зиновьев, — постоянные льды, и хлебопашество невозможно, и никакие другие промыслы немислимы, то, по моему мнению и моих приятелей, НЕОБХОДИМО НАРОД УДАЛИТЬ С СЕВЕРА во внутренние страны государства, а Вы хлопчете наоборот и объясняете нам о каком-то течении Гольфштреме, которого и быть не может. ТАКИЕ ИДЕИ МОГУТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОМЕШАННЫЕ...»

— Ты сам помешанный, — ругался Сидоров. — Хорош же воспитатель наследника престола, который даже никогда не слышал, что теплое течение Гольфстрима омывает всю Европу... Ладно, мерзописцы! Я докажу, возможно ли хлебопашество на Крайнем Севере.

А доказывать он умел: скоро в Петербург из зоны вечной мерзлоты стали поступать огурцы и овощи, выращенные в открытом грунте, колосья ржи и даже фотоснимки огородов, расположенных на полтысячи миль севернее Туруханска. Но «премудрый» Литке по-прежнему пихал ему палки в колеса:

— Все это чепуха! Нарвал жулик где-то огурцов с грядок под Москвой и думает, что мы такие олухи — сразу поверили...

Ф.П. Литке, возглавлявший тогда Русское Географическое общество, был тормозом на путях русской науки: страшный обскурант и реакционер (о чем у нас мало кто знает), он не верил в силы русского народа и поддерживал лишь те начинания, которые исходили от немцев. Об этом в советской печати уже неоднократно писалось, но не мешает лишний раз и напомнить.

Но зато университеты России, Академии наук и Горный институт в столице верили в дерзания Сидорова и охотно принимали от него богатые дары: коллекции сибирских минералов, многотонные глыбы отечественного графита, самородки золота... Молодой Д.И. Менделеев как-то при встрече сказал Сидорову:

— Помните библейскую истину: несть пророка в доме своем! А потому попробуйте проталкивать свои идеи через границу...

Сидоров уже экспонировал чудеса туруханской природы на Всемирной выставке в Лондоне; теперь готовилась выставка в Париже. Но прежде он развернул интересную экспозицию на своей обширной петербургской квартире; с утра до вечера звенел в прихожей звонок, прислуга сбилась с ног, а люди шли и шли к Сидорову, с восторгом обозревая богатства русского Севера... Жемчуг и серебро, икра и абразивы, графит и меха, нефть и сланцы, асбест и хрусталь, листовница и магнетиты, известняки и каменный уголь. Всего не перечислить! Хозяин этих удивительных сокровищ, сунув пальцы в кармашки жилета, похаживал по комнатам, охотно давая гостям объяснения.

— Неужели все это с нашего Севера? — спрашивали его.

— Представьте — да! Север сказочно богат, и один наш Север способен прокормить население всей России... Мы, русские, обжили только тылы страны, а между тем Россия развернута своим «фасадом» прямо в Арктику... Там ее будущее! Не верите? А вот взгляните на карту... Разве не так?

Экспонаты Сидорова прибыли в Париж, где ящики были взломаны, а все сокровища (в том числе самородки золота и масса драгоценных камней) разворовали самым подлейшим образом. Но имя Сидорова уже становилось известно в Европе; он часто выступал против расизма, его заслуги в деле защиты прав «инородцев» принесли ему всемирную известность — Сидоров был избран почетным вице-президентом «африканского Института цивилизации диких племен».

О нем много писали в газетах Англии и Скандинавии; Норденшельд увлекся планами Сидорова, шведский король Оскар, мечтавший о полярных странах, подарил ему одного из своих любимых догов... Однако «пророком» на родине Сидоров не стал, ибо все начинания по-прежнему разбивались о несокрушимый авторитет Литке.

— Не верьте этому фантазеру — он же сумасшедший... Разве может нормальный человек жить и работать на Севере? Любой здравомыслящий человек стремится в теплые края, а Сидоров тянет Россию туда, где не выживет даже каторжный...

Литке бубнил одно и то же, словно начисто забыв, что в молодости сам жил и работал на Севере; кстати, и жил великолепно, и работал неплохо...

Встретившись с Менделеевым, Сидоров сказал ему:

— Дмитрий Иванович, а я, кажется, нашел лазейку для проведения своих идей в мозги наших рукоусев и лоботрясов.

— Интересно, каким же образом они их усвоят?

— Желудок — вот лучший проводник идей.

На всю столицу прогремели тогда знаменитые «северные ночи» Сидорова — нечто вроде «афинских ночей», только на иной лад. Влиятельные аристократы, избалованные парижской кухней, возлежали на медвежьих шкурах, словно в чуме, перед ними романтично потрескивал костер, и гость с удивлением замечал, что огонь в нем поддерживает старый самоед с медной трубкой в зубах. Подавали множество разных блюд, секрет приготовления которых Сидоров не раскрывал, дабы гости не побрезгали...

«Северные ночи» служили Сидорову для пропаганды.

— Я нынче озабочен, — толковал он, — оседлостью наших тундровых кочевников. Вот и возвожу в тундре русские бревенчатые избы. Нужны больницы и школы для инородцев. Я построил школу для остяков, и... что же? Вдруг на днях узнаю, что губернское на-

чальство моих учеников разогнало, а школу разнесли по бревнышку и распилили на дрова для отопления тюремного острога... Дело ли это, я вас спрашиваю, господа? Подлость какая-то!

Корабли Сидорова уже ломали во льдах Карского моря не столько торосы, сколько разрушали косные мнения, будто плавание на Севере невозможно, — это были рейсы, насыщенные трагической героикой смельчаков-одиночек — словно заново воскресли громкие времена «златокипящей» Мангазеи, этой знаменитой российской Помпеи, погребенной под сугробами на краю света. Европа была удивлена! Михаил Константинович писал: «Уважение к нашим морякам до того было велико... что даже дамы, являвшиеся для осмотра шхуны, награждали капитана своими фотографическими карточками и букетами и писали ему стихи о победе, совершенной над грозной стихией». Молодой и красивый лейтенант флота Павел Крузенштерн (племянник знаменитого мореплавателя) был первым, кто откликнулся на призыв Сидорова штурмовать льды, а следом за Крузенштерном в «ледник» Европы пошли и другие и повели корабли с грузами... Сидоров и сам не раз рисковал жизнью, забираясь в такие места, где еще не ступала нога человека. А потому заранее составил завещание, распорядившись своим капиталом так, что все миллионы оставлял для нужд Севера, для развития образования северных «инородцев», а детям своим...

— Ни копейки не дам! — говорил он. — Пусть сами всего достигнут. Дети, надеющиеся на получение наследства от родителей, как правило, ничего не хотят делать... Я начинал жизнь на пустом месте — пусть и они изведдают это счастье!

Нефть уже становилась «кровью прогресса», и Сидоров знал те места, где наружу почвы выступали маслянистые пятна. Он провел разведки на реке Ухте, но бурение ему запретил министр государственных имуществ. Сидоров решил действовать контрабандным путем. Закупил в США ценное оборудование, составил партию из студентов-геологов и бродяг — отправился в дальний путь. Это был

год, когда Нобель проводил активное бурение на Апшероне, когда брызнула первая бакинская нефть, а керосиновые лампы стали побеждать свечки и лучину в деревнях, — одновременно с Нобелем, далеко на севере, Сидоров погрузил бур в зыбкую почву ухтинской нежили. Погибни они тут — и никто не узнал бы, где сгнили их кости, ибо вокруг на тысячи верст распростерлось первозданное безлюдье лесотундры. Работы было по горло! Много недель подряд Сидоров засыпал под жужжание бура, вгрызавшегося в недра полярной толщи. На отметке в пятьдесят два метра бур треснул, черт бы его побрал! Когда его вынули, из скважины обильно зафонтанировала нефть.

— Ну вот же она! — сказал Сидоров, почти огорченно, смазывая нефтью свои сапоги. — Но мне здорово не повезло... Хорошо бы министра — прямо мордой в эту скважину! А я деньги истратил и в дураках остался. Скажи теперь в Петербурге, что произвел бурение, меня в тюрьму посадят... за нарушение законности!

Эта первая скважина на Ухте не забыта потомством — она сохранилась под названием «Сидоровская»; советские нефтяники окружили ее штакетником, здесь установлена мемориальная доска. А бочек бездонных не бывает, и нет такого капитала, который бы нельзя было растратить.

Михаил Константинович увидел, что от его миллионов осталось — будто кот наплакал! Золотые жилы ушли в глубины, прииски истопились, новыми он не обзавелся.

Какое-то время жил в кредит, пока не обанкротился. Потом сделался должником и сам вскоре осознал, что долгов своих вернуть никогда не сможет... Это был конец!

Не его вина, что он обогнал свой век, опередил свое время, а под старость оказался у разбитого корыта.

Очень много хотел сделать. И за многое брался.

По сути дела, рука Сидорова коснулась того, что мы имеем сейчас на нашем Севере. Тут и ухтинская нефть, и воркутинские угли,

охрана котиковых лежбищ и ценные металлы Норильска, морпогранохрана полярных границ и образование северных народностей, мореплавание во льдах, школы-интернаты и фабрики в тундре... Разве все можно перечислить?

Доживая свой век в унижительной бедности, Михаил Константинович ни разу не усомнился в том, что совершил в жизни.

— Я правильно распорядился своими миллионами.

— Но их же нет у тебя! — говорила жена.

— Но они были... Семена брошены — зерна созреют.

М.К. Сидоров скончался 12 июля 1887 года.

Так закончилась эпопея героической борьбы одного человека с косностью имперской бюрократии. Никаких миллионов не хватило на завершение того, что задумал он в юности. Оказалось мало даже неукротимой энергии Сидорова, чтобы протаранить неприступные форты имперско-казенного равнодушия. На склоне лет он писал: «Я не встречал ни в ком сочувствия к своей мысли, на меня смотрели, как на фантазера, который жертвует всем своей несбыточной мечте. Трудна была борьба с общим мнением, но в этой борьбе меня воодушевляла мысль, что если я достигну цели, то мои труды и пожертвования оценит потомство!»

И его оценили! Но лишь после 1917 года...

Сейчас все мечтания Сидорова исполнились. Труды и подвиги его оценены по достоинству. Его не забыли, его изучают, чтут его память...

Я верю, что Сидорову еще будет поставлен памятник.

Стоять ему на полярном берегу — лицом к арктическим льдам, разрушаемым фрештевнями ледоколов, а за спиной дерзкого мечтателя пусть высятся ажурные вышки Ухтинских нефтепромыслов, пусть гудят шахты Воркуты и шахтеры Норильска добывают ценные металлы.

...Велик был сей человек! Вот уж воистину велик!

«Пляска смерти» Гольбейна

В конце 1543 года старшина цеха живописцев и маляров города Базеля велел писцу раскрыть цеховые книги:

— Говорят, в Лондоне была чума, и, кажется, умер Ганс Гольбейн, сын Ганса Гольбейна из Аугсбурга.

Писец быстро отыскал его имя в цеховых книгах:

— Вот он, бродяга! Так что нам делать? Ставить крест на нем или подождем других известий из Лондона?

— Ставьте крест на Гольбейне, — решил цеховой старшина. — Наверное, он уже отплясывает со своим скелетом...

...«Пляска смерти» Гольбейна была слишком известна в Германии; гравюрные листы с этим сюжетом украшали покои королей и лачуги бедняков, ибо смерть для всех одинакова. Каждый, едва появясь на свет, уже вовлечен в чудовищную пляску со своим же скелетом. Гордая принцесса выступает в церемонии, а смерть учтивым жестом приглашает ее в могилу. Она срывает тиару и с папы, сидящего на римском престоле. В жуткую «пляску смерти» вовлечены все — судья, обвиняющий людей, купец, подсчитывающий выручку, врач, принимающий больного, и невеста, спешащая к венцу. Пусть коварный любовник увлекает знатную даму — смерть уже стучит в барабан, празднуя свою победу. Но Гольбейн иногда бывал и снисходительным. Вот бедняга-землепашец тащится за плугом, но скелет даже помогает ему, нахлестывая лошадей. Смерть обходит стороной и нищего, сидящего на куче всякого хлама... Не в этом ли великий смысл? Да и что иного можно ожидать от живописца, если вся его жизнь была «пляской смерти» — в обнимку со своим палачом.

Пока не погрузишься в эпоху Гольбейна, до тех пор портреты его кажутся лишь бесплотными иллюстрациями времени. Но стоит окунуться в эпоху (на срезе Средневековья и Возрождения), когда кубок вина ценился дороже головы человека, а вопли сгорающих на кострах чередовались с самой грязной похабщиной королей и

фрейлин, тогда станет жутко при мысли: как мог художник жить и творить в том чудовищном времени?

Европа! Старые скрипучие корабли, древние города, пронизанные крысиным визгом, полумертвые храмы с погостами, дряхлеющие королевства... Вдали смутно забрезжили берега Англии.

Гольбейн разделял каюту с ганзейским негоциантом Георгом Гизе, плывущим в Лондон по торговым делам.

— Вам не страшно ехать в страну, где сегодня сжигают протестантов, а завтра будут топить в Темзе католиков?

— От купцов требуют хороших товаров, но в Ганзе не спрашивают, поклоняемся ли мы престолу Римскому или внимаем разгневанным речам Лютера... Ну а вы-то? — спросил Гизе, поблескивая живыми глазами умного и бывалого человека. — Не лучше ли было бы вам, Гольбейн, оставаться в Германии, как остался в ней и Альбрехт Дюрер?

Гольбейн сказал, что Базель уже спохватился, не желая терять своего живописца, но обещали платить в год только 30 гульденов, а прожить трудно даже на восемьдесят.

— Я обижен Германией, — скорбел Гольбейн. — Мои картины выбрасывали из церквей, их жгли на кострах, как сатанинские. Однажды на продольном полотне я распластал труп утопленника, я открыл впадину его рта, но моя жестокая правда смерти вызвала злобную ярость всех, всех, всех...

— Неужели всех? — со смехом спросил Гизе.

— Да. Мне пришлось обмакнуть кисть в красную краску, обозначив на теле раны, и мой утопленник превратился в «Христа». Так люди отвергли правду человеческой смерти, зато ее приняли под видом страданий Спасителя нашего...

Качка затихала — корабль уже входил в Темзу.

...Английский король Генрих VIII (из династии Тюдоров) напрасно зазывал в свои владения Тициана и Рафаэля — никто из них не

оставил благодатную Италию, и королю пришлось второй раз приглашать н е м ц а Ганса Гольбейна, которого в Аугсбурге заставляли красить уличные заборы.

Была мерзкая, дождливая осень 1532 года...

— Спасибо королю, знающему мне цену. Я не забуду, как лорд Норфолк при дамах щелкнул меня по носу, но тут же был сражен оплеухой короля. «Эй ты, невежа! — сказал король. — Из дюжины простаков я всегда наделаю дюжину милордов, но из дюжины милордов не сделать мне даже одного Гольбейна...»

С двумя учениками Гольбейн ехал в графство Гардфортское, где в замке Гундсона кардинал Уоллслей обещал ему дать прибыльную работу. Дороги раскисли, лошади тяжело ступали по слякоти.

— Не боюсь даже малярных трудов, — говорил мастер. — Мне же не раз приходилось расписывать алтари в Люцерне и вывески для колбасных лавок в Базеле, я красил даже крыши в Аугсбурге, но страсть моя — портреты. К сожалению, — горестно завздыхал Гольбейн, — люди уверены, что изобразить человека так же легко, как портняжке выкроить ножницами знамя. Однако если бы наше искусство было всем доступно, то, наверное, Англия имела бы целый легион своих живописцев. А где же они? Пока что их у вас нету... Вы, британцы, неспособны провести на бумаге волнистую линию, ваше ухо законопачено бараньим жиром, а потому оно закрыто и для нежной мелодии.

— Зато у нас, — гордо отвечали ученики, — немало кораблей и шерсти. Наконец в нашем королевстве не переводится выпивка, а каждый британец знает, что для него где-то уже пасется овца: придет время, и он эту овцу сожрет!

Мокрые стебли овсов, растущих по обочинам, запутывались в колесах. Гольбейн, озябнув, окружил свою шею мехом.

— У меня на родине сейчас царят метафизика и жажда идеалов, а вы, англичане, желаете лишь суетной любви и насыщения мясом, плохо проваренным. Если же какой-либо милорд и жертвует

один грош на искусство, он совершает это с таким важным видом, будто уговорил дикаря прочесть святое Евангелие... Впрочем, — осторожно добавил Гольбейн, — я не впадаю в осуждение страны, приютившей меня, и король которой охотно создает мне хорошую репутацию и богатство.

Прибыв в Гундсон, они остановились у «Черного Быка», заказали два кувшина вина. Гольбейн просил хозяина зажарить для них индейку пожирнее. Ученики спешили напиться:

— Мастер, у нас бокалы уже кипят от нетерпения!

— У меня тоже, — отвечал Гольбейн. — Но я вижу, что нашу индейку отнесли на стол к какому-то уроду... Эй, хозяин! Кто эта скотина? Я ведь любимый художник вашего короля.

Трактирщик надменно ответил:

— Твою индейку съест человек, талант которого король возлюбил душе твоего таланта. Это... п а л а ч короля, и ты бы только видел, как ловко отрубает он головы грешникам!

Дождь кончился. Стадо мокрых овец, нежно бляя, возвращалось с далеких пастбищ. В окне трактира виднелся замок и обширный огород, на котором издавна выращивали зелень для стола британской королевы Екатерины Арагонской.

— А когда я был в Англии первый раз, — заметил Гольбейн, — то бедная королева, желая полакомиться свежими овощами, прежде посылала курьера за салатом или спаржей через канал — во Францию!

Палач со вкусом разодрал индейку за ноги, он алчно рвал зубами сочное мясо. Профаны старались пить намного больше своего учителя, обглоданные кости они швыряли в раскрытые двери трактира, где их подхватывали забежавшие с улицы собаки.

— Скоро с этого огорода, — шепнул ученик, — все ягодки достанутся другой... Говорят, наш король жить не может от безумной любви к фрейлине Анне Болейн. Старая королева сама и виновата, что, посылая за салатами, заодно с травой прихватила из Парижа в Лондон и эту смазливую девуку.

— А я слышал, — сказал второй ученик, звучно высасывая мозги из кости, — что эта девчонка заколачивает двери спальни гвоздями и она не уступит королю, пока папа римский не даст Его Величеству согласия на развод с его первой женой.

Палач уничтожил индейку. И подмигнул Гольбейну.

— Тише, тише, — испугался Гольбейн. — Я лишь бедный художник в чужой стране, и мне ли судить о делах вашего короля?

Палач вышел и вернулся с огорода, держа в руке цветок, который он с поклоном и вручил Гольбейну:

— Я догадался, кто вы... Гольбейн! Я слишком уважаю вас. Если вам не очень-то повезет при дворе нашего славного короля, я обещаю не доставить вам лишних переживаний. Поверьте, я свое дело знаю так же хорошо, как и вы свое дело.

— Благодарю, — учтиво отвечал Гольбейн. — Ваши добрые слова доставили мне искреннее удовольствие...

А в сумрачной галерее Гундсонского замка пылали огромные камины, музыканты тихо наигрывали на гобоях. Ближе к ночи кардиналу Уоллслею доложили о приезде знатных гостей. Вошли тринадцать мужчин в масках, они просили сразу начинать танцы. Один из них сорвал маску, открыв большое белое лицо с рыжей бородой — это был сам король Генрих VIII, который смелой поступью направился к молодым фрейлинам. Камергер сказал Гольбейну, чтобы убирался отсюда прочь — на антресоли, куда и проводили художника лакеи. Скоро на антресолях появился Генрих, ведя за руку смущенную девушку с гладкой прической, из-под которой торчали непомерно громадные бледные уши.

— Посмотри, Гольбейн! — воскликнул король, жирной дланью, униженной перстнями, поглаживая нежный девичий затылок. — Скажи, где ты видел еще такую красоту? Я хочу иметь портрет моей драгоценной курочки Анны Болейн... На, получи!

Генрих VIII отстегнул от пояса один из множества кошельков, украшавших его, и швырнул кошелек мастеру, который и поймал

деньги на лету, невольно вспомнив собак в трактире, хватавших обглоданные кости. Анна Болейн скромно ему улыбалась...

Ганс Гольбейн вернулся к своим ученикам:

— Пора растирать краски, время готовить холсты... Будем трудиться ради сохранения примет своего времени. Потомки да знают, как выглядели брюхатые короли и тощие нищие, как одевались фрейлины и проститутки... Что там за складка возле губ Анны Болейн? Ах, оказывается, Его Королевское Величество слишком сегодня строг... Запечатлеем и это!

Есть отличный рисунок с Анны Болейн, которую художник изобразил павшей на колени. Что-то жалкое, что-то вымученное, что-то безобразное, но только не молитвенное чудится в этой женщине, уже с юности вовлеченной в «пляску смерти» художника. Гольбейн создал очень много, но осталось после него очень мало. Время, беспощадное к людям, не пощадило и его творений. Наверное, он мог бы поведать о себе далекому потомству:

— Жизнь моя останется для вас загадочна и таинственна, как и дэбри Америки, зато мои портреты сберегут для вас всю жестокую правду времени, в котором я имел несчастье жить и страдать со всеми людьми... как художник! как человек!

А ведь миновало всего 40 лет с того момента, когда Колумб открыл Америку. Лондон имел в ту пору уже около ста тысяч жителей, его улицы кишмя кишели ворами, попрошайками, нищими и сиротами. В моду входил строительный кирпич, оконное стекло перестало удивлять людей. У всех тогда были ложки, но вилок еще не знали. Мужчины пили вино, оставляя пиво для детей и женщин. Замужние англичанки одевались скромно, но девушки имели привычку обнажать грудь. Полно было всяких колдуний и знахарок, обещавших любое уродство превратить в волшебную красоту. Казни для англичан были столь же привычны, как и карнавалы для жителей Венеции. Головы казненных подолгу еще висели на шестах, пока

их не срывал ветер, как пустые горшки с забора, и они, гонимые ветром, катились по мостовым, развеваясь длинными волосами и никого уже не пугая впадинами пустых глазниц. Прохожий просто отпихивал голову ногой и продолжал свой путь дальше — по обыденным делам...

Климент VII, папа римский (из рода знатных Медичи), получил письмо от Генриха VIII: король умолял его как можно скорее разлучить его со старой женой, ибо уже нет сил выносить страсть к молодой Анне Болейн... Папа был вне себя от гнева:

— Этот чувственный олух решил схватить меня, как свинью, за два уха сразу, чтобы тащить на заклание! Но он забыл, что Екатерина Арагонская — племянница германского императора Карла, под скипетром которого почти вся вселенная...

Гнев папы имел основания. Совсем недавно ему пришлось бежать из Ватикана, когда в Рим ворвались оголтелые войска Карла V; они вырезали половину жителей Вечного города, Тибр был завален трупами, дворцы сгорали в пламени, разбойники оскверняли не только женщин, но даже детей, все женские монастыри подвергли массовому изнасилованию, ландскнехты Карла V жгли людей над кострами, расшибали камнями людские черепа, римлянкам отрезали носы, отрывали уши клещами, а глаза выжигали раскаленными вертелами... Папа рассуждал далее:

— Если теперь позволить английскому королю развестись с племянницей Карла V, император вернется сюда с мечом, а Риму не вынести второе нашествие испано-германских вандалов...

Папа припугнул Генриха VIII буллой, в которой грозил отлучением от церкви, если будет и далее настаивать на разводе с женой... Король зачитал эту буллу перед парламентом:

— Ответ мой папе таков — в Каноссу не пойдем!

Случилось невероятное: маленькая вертлявая девица отрывала Англию от католической церкви. Желая примирить католицизм с протестантством, король объявил о создании новой церкви в Англии —

англиканской! Главою этой церкви король сделал самого себя, а буллу от папы разодрал в клочья. Свой плотский, низменный эгоизм он возводил в степень государственной политики... Канцлер Томас Мор предупредил Генриха:

— Ваше Величество решили играть с огнем?

Автору «Утопии» король отвечал диким хохотом:

— Что делать, Том, если я люблю погреться у огня...

Гольбейн поселился среди своих земляков — в лондонском квартале «Стальной Двор», который давно облюбовали для своей биржи ганзейские купцы, много знающие, оборотистые, дальновидные, как пророки. Здесь художник снова встретил негоцианта Георга Гизе, портрет которого он теперь и писал в деловито-сложном интерьере его торговой конторы. Живая натура и живописец, изображающий эту натуру, редко делаются друзьями: между ними порою возникает бездна, и тот, кого портретируют, силится навязать художнику свою волю, свои истины, даже свои вкусы... Проницательный Гизе рассуждал:

— Я слышал в Любеке, что вы когда-то разукрасили поля «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского своими забавными рисунками. Но какие рисунки вы приложили бы к философской «Утопии» английского лорда-канцлера Томаса Мора?

На вопрос негоцианта мастер ответил:

— О-о, его «Утопия» — это ведь только утопия!

— Вряд ли... — Гизе, подойдя к дверям, выглянул на улицу и вернулся за стол — Нас никто не слышит, — сказал он, распечатывая пакет из Гамбурга с ценами на щетину и мыло. — А я спрошу: кто рекомендовал вас королю?

— Не королю, а канцлеру Томасу Мору меня рекомендовал Эразм Роттердамский... они ведь друзья, и я счастлив, что моя жизнь озарена доверием ко мне этих великих мыслителей.

— Так ли уверен Мор после истории с Болейн?

— Вы боитесь за судьбу Томаса Мора?

— Но связанную с вашей судьбой... Сможете ли вы работать в стране, где даже канцлеры не знают, где они будут сегодня ночевать — у себя дома или в темницах Тауэра? Английский король считает преданными ему лишь тех, кто в нем, тупом и безжалостном деспоте, разглядит силу ума и его величие... Так не лучше ли возвратиться в Германию, чтобы красить заборы?

Вскоре Генрих VIII обвенчался с Анной Болейн, а прежнюю жену заточил в замке; дочь от нее, Мария Тюдор, была признана им незаконнорожденной, тем более что Анна Болейн уже не скрывала от публики свой выпирающий живот...

— Я присягал только королю, — заявил Мор, — но я не присягал двоеженцу, ставшему а н т и п а п о й!

Генрих VIII в таких случаях долго не думал:

— И сгоришь на костре... как еретик.

— Выходит, мы оба любим играть с огнем.

Великий гуманист был отдан на расправу «Звездной Палате»; его приговорили: отрубить руки и ноги, извлечь внутренности, бросить их в костер, после чего можно лишать головы. Перед казнью пьяный король навестил своего бывшего канцлера.

— Каково? — спросил. — Только мои негодяи-лорды и могли придумать такую муку. Но я добрее: отрубим голову — и все.

После казни Гольбейн встретился с Георгом Гизе.

— Так что осталось от вашего покровителя?

— «Утопия» Мора и мои портреты Мора. Разве этого мало?..

Список портретов Гольбейна — страшный синодик затравленных, сожженных, обезглавленных... за что? Едва ли от Гольбейна осталась даже треть его наследия. Где уничтожено пожаром, где руками злых и глупых тупиц. Но иногда люди срывали со стен старые обои, а под ними яркими красками снова вспыхивала забытая, но бессмертная живопись Гольбейна... Портретам великого гуманиста Томаса Мора повезло — они уцелели!

Спорные вопросы религии лишь маскировали королевский деспотизм. Сегодня отрубали головы католикам, завтра вешали протестантов. Но в любом случае содержимое их кошельков исправно поступало в копилку короля. В бойкой распродаже конфискованных земель богачи наживались, а бедняки нищали.

В сентябре 1533 года Анна Болейн родила дочь Елизавету, и король уже не скрывал своего отвращения к жене:

— Будь я проклят, до чего она мне опостылела!

Женщину, снова беременную, он жестоко избил, истоптав ее ногами, и Анна Болейн выкинула мертвый плод. Королю снова понадобился Гольбейн, который не замедлил явиться. Подле Генриха улыбалась художнику наглая красавица Дженни Сеймур.

Король бросил Гольбейну кошелек с золотом:

— Теперь все стало проще, ибо никакой папа из Рима уже не может помешать нам. Давай-ка берись за кисти, сделай портрет моей ласковой курочки Джен... Ах, как она хороша!

Генеральный викарий Томас Кромвель громил монастыри Англии, но, кстати, не удержался от упрека королю:

— Нельзя же менять жен — это вам не перчатки.

Генрих VIII ответил, что Анна Болейн... неверна ему:

— Потому я выбрал Дженни Сеймур.

— Каковы же признаки прелюбодеяния Анны Болейн?

— Спросите Дженни Сеймур, она все видела...

— Что могла видеть эта чертовка?

— Она застала непристойную сцену: Анна Болейн лежала в постели, на которой сидел этот выродок — лорд Рошфор.

— Но он же ее брат! — воскликнул Кромвель.

— Это все равно, — ответил король, и белое плоское лицо его сделалось розовым, как свежая ветчина. — Скажу большее. Во время рыцарского турнира Анна бросила платок Генри Норрису; вы бы видели, Кромвель, с каким изящным благоговением он прижал этот платок к своему развращенному сердцу.

— Не он ли победил на турнире всех рыцарей Англии? Наконец платок ему бросила не торговка селедками на базаре.

— Да, королева! Тем хуже для нее...

Анну Болейн разлучили с дочерью, вместе с Норрисом и Рошфором заточили в Тауэре. Король в эти дни охотился на оленей, сочинял любовные баллады, распевая их перед Дженни Сеймур, он играл ей на лютне... Дженни говорила ему:

— Ваша страсть ко мне бесподобна, но я удовлетворю вас только в том случае, если принесете мне голову этой грязной потаскушки Анны Болейн... Успокойте меня!

В ясный майский день, держа в руке белый цветок, Анна Болейн взошла на эшафот. В Лондоне были закрыты все лавки, театры левого берега Темзы пустовали, народ волновался и ждал, что скажет «прелюбодейка» на прощание.

— Спасибо великодушному королю, который прибавил еще одну ступень к лестнице моего случайного возвышения!

Несчастливая женщина, она ведь публично льстила извергу, боясь, что топор коснется не только ее, но и маленькой дочери. Измерив свою шею руками, Болейн сказала палачу:

— Кажется, я не доставлю вам особых хлопот.

— Шея у вас лебединая, — согласился палач. — Не волнуйтесь, миледи, еще никто из моих клиентов не посылал жалоб и проклятий на меня с того беспечального света...

На следующий день Генрих VIII объявил дочь Елизавету незаконнорожденной и празднично обвенчался с Дженни Сеймур. Он объявил Ганса Гольбейна своим придворным живописцем:

— А чтобы мои лакеи не давали тебе пинков под зад, вот тебе и ключ моего камергера. Тебя могут отволтузить в моем дворце с палитрой, но кто тронет тебя, придворного?

Ученики хором поздравили мастера с камергерством:

— Не выпить ли всем нам по такому случаю?

— Пейте сами, бездарные бараны...

Вскоре Генрих VIII, озабоченно-хмурый, снова позвал Гольбейна и громко хлопнул себя по громадному чреву, заявив:

— Что-то опять у меня не так... не то, что хотелось бы! Эта потливая Джен воняет по ночам в постели, как хорек. Я дам тебе кучу денег. Поезжай-ка на материк с ящиком красок. Говорят, овдовела шестнадцатилетняя Христина, дочь датского короля, что была за герцогом Миланским. Привези портрет этой девчонки-вдовы в траурном платье. Может, она-то как раз то, что мне надо! Я буду ждать тебя с нетерпением.

В поиски невесты вмешался и Томас Кромвель; он советовал Генриху VIII связать свою жизнь с принцессой Клеве, впавшей в лютеранскую «ересь», дабы этим браком примирить церковь англиканскую с учением всей европейской Реформации.

— А куда я дену Дженни Сеймур? Чувствую, что при таком короле, как я, Гольбейну не придется сидеть без дела...

Генрих VIII не просто убивал. Прежде чем казнить, он свои жертвы ласкал, нежно задурманивая их королевским вниманием. Кажется, погибель Кромвеля уже была предрешена, когда король присвоил ему титул графа Эссекса... Кромвель настаивал:

— Велите Гольбейну исполнить портрет с принцессы Анны Клеве — протестантки... Ее красота бесподобна!

«Пляска смерти» продолжалась. Король спрашивал:

— Боже, когда я избавлюсь от потеющей Джен?

Дженни Сеймур родила сына (будущего короля Эдуарда VI) и умерла, избавленная от смерти на эшафоте. Кромвель сказал, что теперь, когда престол Англии обеспечен наследником, можно признать законность рождения Марии Тюдор от Екатерины Арагонской, умершей в заточении, и можно признать законность Елизаветы, рожденной от Анны Болейн, лишённой головы...

Король подумал. Вздохнул. Улыбнулся:

— Не хватает еще одной головы...

— Чьей?

— А ты потрогай свою...

Кромвель был умен, но не догадался. Он напомнил королю, что в Германии свято хранит свою непорочность прекрасная принцесса Анна Клеве, а посол уже выслал в Лондон ее портрет, написанный Гансом Гольбейном:

— Почему бы вам не взглянуть на него?

Анна Клеве была представлена Гольбейном поколенно; строгая, она смотрела с холста в упор, ее красивые руки были покорно сложены на животе. Король обрадовался:

— Какая нежная курочка, так и хочется ее скушать с пучком крепкого лука... Ах, соблазнитель Гольбейн! Как он умеет вызывать во мне страсть своей превосходной кистью...

Генриха VIII охватило такое брачное нетерпение, что он даже выехал в Рочестер — навстречу невесте. Две кареты встретились посреди дороги. Из одной выбрался король, из другой, осклабясь гнилыми зубами, вылезла худосочная карга.

— Откуда взялась эта немецкая кляча?

— Это и есть ваша невеста — Анна Клеве.

— На портрете Гольбейна она выглядела иначе...

В квартале «Стального Двора» появился королевский палач и снова поднес Гольбейну красную гвоздику.

— Не смею не уважать вас, — сказал он. — Но вы, кажется, попали в немилость... Помните, что в моем лице вы имеете друга, а мое искусство не позволит вам долго мучиться.

— Почему вы так добры ко мне? — удивился Гольбейн.

— Я был маляром, как и вы когда-то. Теперь мы оба мастера в своем деле, а художники всегда поймут один другого...

Именно в это время на родине Гольбейна уже продавались на базарах листы его «Пляски смерти», исполненные в гравюрах Лютценбургера. Кто не знал имени Гольбейна, тот узнал по этим политипажам. Начинаясь слава — бессмертная, и «Пляски смерти»

Гольбейна дошли до нас — не только в гравюрах, но даже в будущей музыке Листа, Сен-Санса и других композиторов. Но до чего же чудовищны кастаньетные перестуки костей у скелетов, пляшущих среди могил в лунные ночи!..

В день свадьбы король спросил Кромвеля:

— Подумай, чего не хватает для веселья?

— Неужели эшафота? — ужаснулся викарий.

— Ты догадлив, приятель. Не старайся разжиреть, чтобы не возиться с твоей шеей, похожей на бревно для корабельной мачты. Впрочем, не бойся... я ведь большой шутник!

Свадьба была 6 января 1540 года, а на следующий день король отплевывался, выбираясь из спальни:

— Ну удружил мне Кромвель! Вовек не забуду такой услуги. Черт меня дернул связаться с этой лютеранкой, которая ни слова не знает по-английски, а я не понимаю немецкого...

Утром Кромвель еще заседал в парламенте, а после обеда уже был обвинен в измене королю... Генрих VIII сказал:

— Если обвинение состряпано, какой умник скажет, что обвиненный не виноват? Такого в моем королевстве не бывает.

Голова Кромвеля слетела с плахи. Король ликовал:

— Готовьте посольство в Неаполь, и пусть мне подыщут принцессу без недостатков. Хватит перебирать этих малокровных северянок, у которых не осталось волос на макушках...

Посольство ответило, что невесту нашли. Принцесса неаполитанская — стройная, фигура ее идеальна, бюст возвышенный и располагающий к приятным сновидениям, волосы у нее как пламя, ножки крохотные, она часто хохочет, характер покладистый и зовущий к радости... Генрих VIII прервал секретаря:

— Годится! Читай же главное — что там в конце?

— В конце послы сообщают, что принцесса из Неаполя будет идеальной супругой, но у нее есть маленький недостаток.

— Какой же? — насторожился король.

— Она слишком упряма. И вот эта упрямица вбила себе в голову, что скорее помрет, чем станет женою вашего королевского бесподобия. А во всем остальном она имеет все достоинства, нужные для супружеского счастья...

Генрих VIII долго не шевелился на троне.

— Да, — сказал он, медленно оживая. — Упрямство — недостаток серьезный. А я, кажется, начинаю стареть...

Анна Клеве не стала возражать против развода. Король был так удивлен безропотностью этого уродливого создания природы, что провозгласил ее сестрой:

— И пусть она живет сколько ей влезет...

Гольбейну пришлось писать портрет новой королевы — Екатерины Говард; это была закоснелая католичка, и потому, чтобы угодить жене, Генрих VIII с новой силой обрушился на протестантов. Англиканская церковь стала каким-то безобразным чистилищем, где не знаешь, каким алтарям поклоняться: всюду таилась смерть... Генриху VIII представили список любовников Екатерины Говард, и это его заметно огорчило:

— Как не везет! Ну ладно. Всех этих молодцов, что угодили в список королевы, я быстро перевешаю...

Екатерина Говард была обезглавлена. «Пляска смерти» продолжалась. Весной 1543 года король снова пригласил Гольбейна:

— Сейчас ты увидишь женщину, перед которой невозможно устоять даже таким королям, как я. Правда, черт ее дернул уж дважды остаться вдовою, но кто же не любит вишен, надклеванных птицами? Сейчас будешь писать ее портрет...

Портрет последней жены Генриха VIII стал для художника, кажется, последним. Осенью Лондон навестила чума. Безобразной гостьей она явилась и в дом Гольбейна. Зловещие мортусы в черных одеждах, воняющих дегтем, подцепили его тело крючьями и поволокли на погост, даже не зная, кого они тащат.

— Дорогу! — орали мортусы. — Все расступитесь прочь и даже не смотрите на эту падаль... Плюньте, сотворите святую молитву и ступайте дальше по своим делам...

Англия свято сберегла могилу короля-палача, но она кощунственно затоптала могилу Ганса Гольбейна.

Трудно найти конец для такой страшной истории...

Германия, породив Гольбейна, свои права на Гольбейна как бы добровольно уступила Англии, и англичане со временем стали гордиться им, будто Гольбейн был англичанином. Все его наследие было давно растеряно, частью попросту уничтожено, но — век за веком! — Гольбейна канонизировали в святости мастеров Возрождения, и цена на любой клочок бумаги с его рисунком быстро возрастала. Наконец в 1909 году именно из-за Гольбейна в Англии возник даже громкий публичный скандал.

Случилось это так. В галерее герцога Норфолка находился портрет Христины Миланской, который англичане привыкли считать национальной собственностью. И вдруг стало известно, что американский миллионер Фрик покупает его за 72 000 фунтов стерлингов, а герцог охотно продает... нет, вернее, уже продал! Газеты позорили дирекцию Национальной галереи в Лондоне, которая не удосужилась еще раньше приобрести этот портрет работы Гольбейна. Между тем богатый американец грозил Норфолку, что больше месяца ждать не собирается:

— Деньги на бочку — и картина моя!

Англия, затаив дыхание, следила за перипетиями небывалой битвы — напряженной, как баталия при Ватерлоо. Спешно объявили добровольный сбор денег, дабы перекупить картину Гольбейна у Фрика. До срока оставалось четыре дня, а богатейшая страна не могла собрать и половины нужной суммы. Наконец настал роковой день, когда портрет Гольбейна вот-вот должен механически перейти в собственность «богатого дядюшки» из США... Люди следили

за полетом времени, отсчитывая последние часы. Не уплывет ли Гольбейн за океан, как уплыли из Европы уже многие уникальные шедевры искусства?

— Гип, гип, ура! — слышались крики на улицах...

Нашелся некий патриот-аноним, в самый последний момент внесший в банк сразу 40 000 фунтов, и картина не покинула Англии. Случай отчасти даже смешной, но с трагическим привкусом. При этом я вспомнил королевского палача, который с цветком в руках говорил Гольбейну, что лишит его головы быстро и безболезненно.

Я уверен: до тех пор, пока люди будут ценить искусство, они будут высоко чтить и подвиг жизни Гольбейна — великого гуманиста, подобного его друзьям: Эразму Роттердамскому в Базеле и Томасу Мору в Лондоне...

Нашей стране на Гольбейна не повезло! О нем много пишут, но в каталогах музеев не встретишь его произведений. Однако не будем терять надежды, что где-нибудь в глухой русской провинции, под спудом заброшенных холстов, вдруг отыщут его утраченное произведение — как это случилось уже с «Мадонной» Леонардо да Винчи, как это случилось с «Евангелистами» Франса Хальса...

Аввакум в печи огненной

«Боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее — не бойся! До печи той страх. А егда в нее вошел, тогда и забыл вся...»

Из темной глубины XVII столетия, словно из пропасти, нам уже давно светят, притягательно и загадочно, пронзительные глаза протоппа Аввакума — писателя, которого мы высоко чтим.

В самом деле, не будь Аввакума — и наша литература не имела бы, кажется, того прочного фундамента, на котором она уже три столетия незыблемо зиждется. Российская словесность началась

именно с Аввакума, который первым на Руси заговорил горячим и образным языком — не церковным, а народным.

«Только раз в омертвелую словесность, как буря, ворвался живой, полнокровный голос. Это было гениальное “Житие” неистового протопопа Аввакума. Речь его — вся на жесте, а канон разрушен вдребезги!» — так говорил Алексей Толстой.

Реализм, точный и беспощадный реализм, убивающий врага наповал, этот реализм нашей великой литературы был порожден «Житием протопопа Аввакума».

Первый публицист России, он был предтечею Герцена!

А кто он? Откуда пришел? И где пропал?..

«Житие» его включено в хрестоматию, и каждый грамотный человек должен хоть единожды в жизни прикоснуться к этому чудовищному вулкану — этому русскому Везувию, извергавшему в народ раскаленную лаву афоризмов и гипербол, брани и ласки, образов и метафор, ума и злости, таланта и самобытности.

Нельзя знать русскую литературу, не зная Аввакума!

Скоморохи спускались с горы... Текла внизу матушка-Волга, а под горой лежало село Лопатищи; солнце пекло нещадно, день был работный. Еще загодя скоморохи напялили «хари» козлиные, загудели в сопелки, дурачась, забили в бубны, дабы народ сбегался на игры. А впереди дудочников и раешников два медведя плясали (один в сарафане бабьем, другой — как есть, ничем не украшен). Навстречу игрищу порскали от околиц ребятишки, кузнец отложил молот в кузне, из-под руки глядели на скоморохов бабы с граблями, перестав сено ворошить на полях; всем стало весело.

Но тут вышел поп лопатищенский — прозванием Аввакум.

Молод еще, борода черная, в завитках, а глаза — угли.

— Не пуцу в село! — объявил забавщикам. — Неистовство ваше бесовское еси, оставьте пляски антихристовы...

Скоморохи на него — в драку.

— Ах так? — осатанел поп, рукава ряски закатывая...

Много их было, а он — один. Зато люто и толково бился поп. Как даст по зубам — кувырк, и пятки врозь. Побил всех скоморохов, а бубны и сопелки с «харьями» разломал. Но забыл Аввакум про медведей; скоморохи науськали косолапых на попа, и тут попу стало худо. Без ружья и рогатины, голыми руками — как медведей осилить? А звери уже лезли в драку, и тот, ученый, что в сарафан был одет, он на двух лапах шел; видел Аввакум его пасть серо-розовую с клыками желтыми, а из пасти той попахивало — нехорошо и муторно.

— Владычица, помози! — взмолился Аввакум и хрястнул медведя кулаком в ухо: зашатался тот, обмяк в сарафане и лег...

Второго мишку (который еще неучен был) прижал поп к себе, и стали они ухаживаться по кругу — кто кого свалит? Аввакум силищи непомерной — так стиснул медведя, что у того в шее что-то хрустнуло, взревел зверь и, оставляя после себя на траве след болезненный, дунул к лесу, а скоморохи — за ним...

Шатаясь, вернулся Аввакум в село, прошел в избу.

— Водицы мне, Марковна, — сказал жене и над порогом умылся от крови, полковника испил «стомаху ради» и побрел на сеновал, где неделю отлеживался от медвежьих объятий...

Вот беспокойный поп! Ни с кем не ладил — ни с паствою, ни с боярством. Однако к службе церковной был весьма рачителен, за что его возвели в сан протопопа — стал Аввакум владыкою в соборе города Юрьевца. Здесь его из ризницы выволокли, «среди улицы били батожем и топтали; и бабы били с рычагами. Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол...» Хотели горожане его в ров кинуть, чтобы там протопопа собаки бездомные съели, но тут воевода с пушкарями набежали — спасли владыку.

Таковы дела прошлые — дела святые, богоугодные...

Марковна всю ночь не спала — мужу лапти плела. Надел он лапти новые и спасался из Юрьевца до Костромы, а там, в Костроме, на-

род уже бил протопопу Данилу — таким же смертным боем, каким наемни били протопопу Аввакума, и побежал Аввакум далее.

Был год 1652-й — на Москве дышалось пожарами и смутами.

Царь Алексей Михайлович к Аввакуму благоволил. Ночью они на молитве потаенной встретились, царь спросил строжайше:

— Ты почто с Юрьевца бежал, людей без Бога оставил?

— Великия шагания на Руси зачались, осударь... А меня в Юрьевце били, оттого и бежал. Протопопица с детьми малыыми в лесу осталась — неведомо, живы или побиты?

В том году в патриархи Руси избрали властолюбивого Никона, который церковные дела на новый лад переиначивал. А пуще прежнего стал Никон царя и власть царскую возвеличивать.

— Вот срам-то где! — ярился Аввакум. — Царь уж нынеча и такой, и сякой, и намазанный... Властью пьян патриарх, толсторожи все, едят вкусно, прелестники никонианские! Деды наши ранее поборов не платили, а теперь откуда их царь выдумал?

— Молчи, — внушали ему друзья. — Иначе распнут тебя да все члены повыдергивают на Болоте Козьем... Эка мука-то египетска!

Но был Аввакум крепок в убеждениях своих.

— Никого не боюся! — возвещал открыто. — Ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни самого диавола...

Патриарху вся Русь он прямо в рожу харкал:

— Ишь, боров! Идешь коли, так брюхо-то у тебя, бодто гора какая, колеблется. Отъелся на объедках царевых, за то и царя похваливаешь! То романи тебе шлют, то горшочек мазули с шафраном, то от арбуза полоску отрежут... Блюда царские ловок облизывать!

Про царя «тишайшего» Алексея говаривал Аввакум:

— Тоже кровосос... все они крови нашей алчут!

— Какова же вера твоя, протопоп? — спрашивал его царь.

— Самая праведная! И вернее нашей мужицкой веры нет...

Начались аресты расколоучителей, взяли и Аввакума. «Во тьме сидя, кланялся на чеши, не знаю — на восток, не знаю — на запад.

Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, сиречь есть захотел... На утро архимарит з братьей пришли и вывели меня; журят мне: “Что патриарху не покорился?” А я от Писания его браню да лаю... велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, а под бока толкают, и за чеп трогают, и в глаза плюют... Сидел тут я четыре недели».

Водили его на двор патриарший, где истязали всячески.

— Смирись, олух царя небесного! — кричал Никон и жезлом бил по спине, по рукам, по голове — куда придется...

— Покорности моей не узришь ты, лютер собачий!

Повезли Аввакума в собор, где и царь был, чтобы «расстричь» его в наказание. Царь «тишайший» за него тут вступился:

— Не надобно стричь дурака. Еще одумается...

С женою и детьми выслали Аввакума в Сибирь. «Протопопица младенца родила — большую в телеге и повезли до Тобольска; три тысячи верст недель в тринадцатть волокли телегами, и водою, и санми половину пути...» Приехали. И года не прожили, а уже пять доносков на Аввакума в Москву прибыли: мол, злодеен сей протопоп, на власть божию огнем лютым пышет. Указано Аввакуму из Тобольска далее ехать — в Даурский отряд боярина Афанасия Пашкова, а тому Пашкову повелели из Москвы протопопу умучить.

«О, горе стало! — вспоминал Аввакум. — Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменной яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову! В горах тех обретаются змеи великия; в них же витают гуси и утицы — перие красное, вороны черныя, а гальки серыя... во очию нашу, и взять нельзя! На те горы выбивал меня Пашков — со зверми и со змиями, и со птицами витать».

Аввакум начальнику своему говорил так-то:

— За што ты, аспид окаянный, людей жжешь и мучишь?

Пашков свалил протопопу наземь, чеканом железным стучал по спине крепко, велел плетями стегать, покуда пощады просить не

станет. Аввакум всю лавку под собой зубами изгрыз... Пашков при этом похаживал да порывивал:

— Взмолись о милости, иначе насмерть забью.

— Не щади мя! — отвечал Аввакум. — Не взмолюсь... Кто здесь человек, так аз грешный, а ты — зверь. Что ж, губи!

Всего в крови, сковали его в цепи и под ночной ливень выкинули: пущай валяется!

Настали морозы ядреные, сибирские, бороды казаков закуржавели от инея. Привезли Аввакума в Братский острог, «и сидел до Филиппова поста в студеной башне*... Что собачка в соломе лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьей бил, — и батожка не дадут, дурачки? Все на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много...» Выжил. Вытерпел. Весны дождался. А жена с детьми была от Братского острога подалее отослана, чтобы по мужу не плакалась.

Отряд Пашкова двигался на страну Даурию — больше волоком, через реки великие, через пороги высокие. Аввакум, как бурлак (точнее — как лошадь), был впряжен в бурлацкую лямку и в воде по грудь, заодно с казаками, тянул бечевой лодки пашковского каравана. Вокруг него умирали люди, а он тащил и тащил караван. («У меня, — писал он потом, — ноги и живот синь были».) А когда реки кончались, через горы перетаскивал корабли по суше...

Велика сила была в этом человеке!

А годы текли — как вода Ангары, Нерчи и Шилки...

Аввакум казаков уже не раз на бунт подмачивал:

— Вишь ты, каких хороших воевод царь на Сибирь высылает! Эвон, и Пашков наш, дай ему бог здоровьица: много он вашему брату ребер сломал и кнутом бил, одного сжег до смерти на костре, двух

* Братский острог — ныне всемирно известный город Братск в Иркутской области; башня, в которой сидел Аввакум, сохранилась, и в 1959 г., как музейная реликвия старинной архитектуры, она была перевезена в село Коломенское под Москвой.

повесил, а других послал — голыми! — за реку, гнусу таежному на съедение... Ну, до чего же хорош воевода у нас!

В 1658 году экспедиция Пашкова заложила Нерчинский острог (нынешний город Нерчинск), где воевода «переморил больше пяти сот человек голодною смертию... озяблых ели волков... сам я, грешный, волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим, звериным и птичьим мясам...». С Нерчи-реки возвращался протопоп с женою и с детьми нартами — сами пеши по льду. Иной раз протопопица падала на лед, не в силах идти.

— Долго ль муки сия, протопоп, будет? — спрашивала.

А что он мог ей ответить? И отвечал в утешение:

— До самыя до смерти, Марковна...

Ох, и крепкая же была жена — под стать мужу.

— Добро, Петрович, ино ишо побредем...

Сибирь, Сибирь — край непочатый, пулями Ермака просвищенный, золотая страна и дивная. Зорко запоминал Аввакум богатства сибирские, лук да чеснок дикие пробовал, какие рыбы в реках живут, какие звери сигають — все примечал поп! В жестоком времени порожденный, сам будучи жесток, душевно Аввакум был мягок и все живое любил... Была у него курица, детишкам его яйца носившая. Случайно — при езде в нартах — придавили ее. «И нынеча мне жаль курочки той, как на разум приидет... нас кормила, а сама с нами кашку сосновую ис котла тут же клевала, или и рыбки прилучиться, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала».

Одиннадцать лет ссылки закончились.

Аввакум отъехал на Москву, где его поджидал царь, убежденный, что дух протопоба сломлен лишениями...

Теперь можно явить его пред светлые царские очи!

Мы не станем, читатель, вдаваться в подробности религиозных распрей того времени. Для нас важно другое: Аввакум вроде бы вы-

ступал против патриарха Никона и реформ церковных, но тяжелая артиллерия его проповедей — заодно уж! — громила и царские хоромы; ядра брани неистового протопопа летели прямо в головы бояр, воевод и придворной челяди... Потому и страшен был протопоп!

«А кого Бог и народ бережет, — писал он в те дни, — того ни царь, ни свинья не пошевелит». В народе сохранилось предание, как свиделись царь Алексей Михайлович с Аввакумом.

— Горе всему народу русскому выпало, — возвестил царю Аввакум. — Стрельцы твои завсе мужиков обобрали, чем же дальше-то россияне свои животы держать станут?

Царь будто побагровел от гнева и рявкнул:

— На колени пади, пес!

Но не так-то легко поставить Аввакума на колени.

— От пола твоих хором до моих ушей далеко, — отвечал он. — Так-то, стоя перед тобою, мне тебя лучше слышать.

«Тишайший» царь грозил, что закует его в цепи.

— Меня заковать легко, а вот народ-то все чеши с себя посрыгает да на тебя их водрузит, каково тогда будет?

Царь посохом ударил протопопа в лицо и выбил ему зубы.

Аввакум с кровью выплюнул их в лицо царю.

— Боисся ты меня! — сказал он. — Оттого и лютуешь...

Недолго погостил Аввакум в белокаменной, и в 1664 году сослали его в Мезень — опять с протопопицей и с детьми, кои в ссылках да тюрьмах произрастали. На Москве оставил протопоп не только врагов, но и сторонников (а среди них знаменитую боярыню Феодосию Морозову).

Через два года из Мезени опять в цепях потащили протопопа на Русь. Сообщал он: «И бороду враги божии отрезали у меня... Оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу. Везли не дорогою в монастырь — болотами да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят: омрачил дьявол...»

К тому времени многих сторонников Аввакума уже задавили в петле, удушили дымом в банях, казнили их всяко, измучили. Хотели и протопопа удавить, да царица его пред царем отстояла, отчего в семье царской «великое нестроение» случилось. Аввакума, в цепи закованного, все время увещевали. Таскали, бедного, из одной тюрьмы в другую темницу и пытались его покорить. В 1667 году поставили Аввакума на суде перед патриархами. «Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились. Человек их с сорок, чаю, было — велико войско собралось!»

Нет! Не покорился протопоп синклиту духовному...

А народ не безмолвствовал. Царю докладывали, что «от Аввакума всенародный мятеж происходит». Протопоп возвещал открыто:

— Народ — что море: разволнуется — не уймешь!

Распалилась мужицкая дума!
Чу: засеченных смертный крик!
Брызжут искры костра Аввакума,
Слышу Разина грозный рык!

По Волге уже бродили буйные ватаги Стеньки Разина, и власть царская ощутила некую потаенную связь между бунтами казацкими и волнениями раскольников на Москве... Аввакума с его друзьями, Епифанием и Лазарем, увезли на этот раз далеко — в Пустозерск, что погибал в снегах и песках на краю света, близ Студеного моря... Холодно там, голодно там! В земле промерзлой выкопали стрельцы яму глубокую, обложили ее изнутри срубом, вроде колодца, и в яму эту спустили Аввакума с его соратниками. Сверху еду и питье, как собакам, бросали.

Здесь под визги полярной метели протопоп Аввакум создает капитальное произведение русской литературы — «Житие протопопа Аввакума». Отсюда, из пустозерской темницы, он рассылает по Руси «подметные» письма — обличающие, негодующие, к бунту зовущие.

Это был кремень, а не человек!..

В 1669 году умерла старая царица Мария Милославская, а на Волге уже полыхало пламя крестьянской войны; голытьба кричала: «Сарынь, на кичку!»* — и тряслась толстомясая боярская Русь. Дряхлый царь женился на молоденькой Наталье Нарышкиной, которая вскоре принесла ему сына — будущего императора Петра I. В ночь на 16 января взяли на Москве «духовную дочь» Аввакума, боярыню Морозову, и везли ее в стужу на санях, и взывала она к народу, двумя перстами грозя, — и такой запомнил ее народ, и такой она вошла в наше сознание, навеки закрепленная на холсте кистью Сурикова... Морозову хотели сжечь, уже и сруб был приготовлен, «да бояре не потянули». В 1675 году, умирая от голода в темнице, Морозова просила стражника: «Помилуй мя, даждь ми калачика!» Он же рече ей: «Ни, госпоже, боюся». Тогда попросила она его выстирать для нее сорочку — и он эту просьбу исполнил.

Так и умерла! А вскоре умер и царь Алексей Михайлович — на престол воссел его слабоумный сын Федор.

— Аввакума-распопа, заблудша в ереси, — велел он, — с его товарищми в огонь ставить и в огне том же чь...

Был апрель 1682 года. Полярный океан задувал над юдолью Пустозерска широко и протяжно. Собрался на площади народ и снял шапки... Дрова подожгли — замолчали все, только слышался треск жарких сучьев да шипение бересты.

Аввакум, стоя на костре, говорил народу, чтобы колоколов московских не слушали, а властям царским не покорялись.

— А коли покоритесь, — грозил он, — вовек погибнете, и городок ваш занесет песком до крыш самых...

Огонь охватил казнимых, и один из них (Лазарь или Епифаний — то неизвестно) закричал от страшной боли.

* Сарынь, на кичку! — боевой возглас волжской вольницы. Сарынь — это беднота и голытьба, а кичка — носовая часть волжского корабля. Беря на abordаж купеческие суда с товарами, этим возгласом отделяли голытьбу от купцов, подвергавшихся уничтожению.

Аввакум наклонился к нему и стал увещевать:

— Боишься печи сей? Дерзай, плюнь на нее...

Так и сгорел.

А через несколько дней после казни Аввакума на престол московский вззошел малолетний царь Петр I, и на Руси начиналась совсем другая эпоха — тоже жестокая, но с иными людьми, с иными проблемами...

В 1856 году Пустозерск посетил известный исследователь народного быта писатель С.В. Максимов. Пустозерск уже наполовину занесен песками, а другая половина города похилилась среди болотных кочек и непролазной грязи. Максимов поговорил со стариками, и один из них сказал ему:

— Протопоп чуял, что быть-де мне во огни. И распорядок такой сделал: *свои книги роздал!* Народ, пустозерский и стрельцы, кои приставлены были, советовали бежать, да Аввакум не согласился, милостей не принял, советов не слушался: велел себя жечь и вошел в пещь, будто в рай...

Здесь примечательна фраза, что перед казнью Аввакум «свои книги роздал» пустозерцам. Ведь его «Житие» не дошло до нас в подлиннике — оно известно лишь в списках-копиях...

Вся лучшая наша литература была заражена «аввакумовщиной».

Тургенев всю жизнь, даже за рубежом, не расставался с «Житием протопопа Аввакума», он говорил друзьям: «Вот книга! Каждому писателю надо ее изучать...»

Лев Толстой в кругу семьи часто читал вслух «Житие».

В мыслях о судьбах родины Максим Горький не оставлял тяжелых раздумий о протопопе Аввакуме, которого он относил к числу виднейших прогрессивных писателей мира.

Достоевский, Гончаров, Чернышевский, Лесков, Гаршин, Бунин, Леонов, Пришвин, Федин — никто не прошел равнодушно

мимо писаний Аввакума... На Первом съезде советских писателей имя протопопа Аввакума упоминалось как имя писателя-бойца, который способствовал развитию гражданских мотивов в нашей литературе.

Героический образ Аввакума был сродни и русским революционерам: его стойкое мученичество помогало узникам царизма выносить тюрьмы и ссылки. Наконец, в тяжкие дни ленинградской блокады образ Аввакума вошел в стихи Ольги Берггольц:

Ты — русская дыханьем, кровью, думой,
В тебе соединились не вчера
Мужицкое терпенье Аввакума
И царская неистовость Петра.

На месте бывшего Пустозерска ныне ничего не осталось, а возле него вырос новый культурный центр — Нарьян-Мар. В 1964 году общественность Москвы, Ленинграда и Архангельска подняла вопрос об увековечении того места, где когда-то шумела суровая и трудная русская жизнь. Посреди тундряной пустоши был открыт памятник-обелиск. На торжество открытия памятника съехались нарьянмарцы, колхозники из окрестных деревень, печорские рыбаки, школьники и учителя — все они были потомками тех пустозерцев, которые знали когда-то Аввакума...

На мраморной плите памятника золотом было отгиснуто имя протопопа Аввакума, сожженного за «великие на царский дом хулы». Советская печать отметила это важное событие: «Проезжающие на лодках мимо памятника бывшие жители Пустозерска всегда снимают шапки, как перед самой дорогой святыней...»

Факт, конечно, поразительный!

И не проходит года, чтобы романтики не ехали в эту пустозерскую глушь. Что они ищут там? Крестьянин русского Севера не знал крепостного права, он был грамотен, ученость в людях читил и высоко ценил слово писаное. Не исключено, что в сундуке какой-нибудь

ветхой бабки, под ворохом старинных сарафанов и складней, еще лежит заветный подлинник «Жития протопопа Аввакума»...

Романтики не теряют надежды найти его!

Книга о скудости и богатстве

Наконец историки обнаружили и такую запись:

«1726 году февраля в 1 день содержащейся в Тайной розыскных дел канцелярии под караулом колодник... Иван Тихонов сын Посошков против помянутого числа пополудни в девятом часу умре. И мертвое ево тело погребсти у церкви Самсона Странноприимца».

Умершему было 73 года — вельми ветх годами...

Саманиевская церковь в Ленинграде уцелела и поныне; строенная в честь виктории под Полтавой, она оберегается государством как памятник старины; могилу Посошкова давно затоптало время, а внутри собора — доска с надписью: «На кладбище этой церкви погребено тело поборника русского просвещения...»

Мимо исчезнувших могил проносится сейчас новая жизнь. Со всем новой. И настолько не похожая на прежнюю, что их даже никак нельзя сравнивать. И мало кто догадывается, что здесь, в этой церкви, покоится прах первого политэкономиста России!

Согласен, что политэкономия — наука не из веселых.

Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет древо жизни...

«Древо жизни» Посошкова зазеленело в 1652 году. Там, где сейчас гудят станции московского метро «Бауманская» и «Электrozаводская», там вытекала из дремучего леса звонкоструйная Яуза, которую издревле облюбовали деловитые бобры (а бобров облюбовали себе

на шапки московские бояре). Москва неторопливо изгадила чистую Язу, окраинными фабриками раздавила село Покровское, жители которого подчинялись Оружейной палате.

Посошков вышел из семьи работающих крестьян-ювелиров, а соседями его были «бобровники», ловившие бобров на шапки боярам. Покровское утопало в садах, и пахло там яблоками, малиной да берсенем — чистым, как виноград. Гудели мохнатые пчелы, запутываясь в волосах крестьянок, а зимой выходили на околицы села волки и, поджав под себя тощие промерзлые хвосты, тоскливо обывали окошки изб...

Иван Тихонович смолоду изведаль Русь в поездках дальних, кистенями дрался с разбойниками в лесах муромских; был он грамотей и знаток механики; жарился возле горнов заводских, где ядра пушечные отливали; друзей имел разночинных — купцов и мытарей, монахов и подьячих, дворян и нищих, сыщиков и жуликов, стрельцов и банщиков. У кого что болит — тот о том и вопит! А вопили на Руси всяко, и никому ладно не было. Начиналась эпоха Петра I, которого оценило потомство, но современники его мало жаловали.

«Зверь лютой! Саморучно огнем пожигает, — говорили тогда. — Время проводит средь скляниц винных, а друзей набрал себе из Немецкой слободы — вот и куролесят, на беду нашу...»

Нелегко давались народу русскому новшества да войны, что прошли по мужицким сусекам, словно помелом, повыбили скотинку, отняли лошадок ради дел ратных. Русь быстро, как никогда, скудела. Деревни стояли впусе, заброшены, жители разбежались от тягостей податных, налогов грабительских. А в городах вырастал зверь тихий, но ядовитый — бюрократиус! Чиновников расплодилось, будто клопов в паршивой перине, и всюду, куда ни придешь, везде они пишут, а за все писаное взятки хватают... Игумен Авраамий приятельски сказал Посошкову за трапезой нескромной:

— Аз грешный тоже пишу! Пишу осударю, что тако Русью править нельзя. Где ране един боярин сиживал, ныне царь усадил велик

огород из семя крапивного. А молоденьки подъячи, коим стульев не хватило, даже стоя пишут — сам видел! И каждый прыщ мзды алчет. Не наберись царь порядков чужих, мы бы такого прискорбия не ведали... Ой-ой, беда — писаря власть над народом взяли! Авраамия за слова такие огнем пытали и впредь велели чернил с бумагою не иметь.

Посошков тоже едва не угодил под плети. Но изобрел он некий «бой огненный на колесах» (первобытный прообраз будущего танка), и Петр I за этот «бой» Посошкова миловал. Иван Тихонович и сам понимал, что мало где правды сыщется, но мыслил обо всем шире Авраамия — не кляузно, а экономически:

— Опять же что деется? Была ране деньга мерою в половину копейки. Богатому неудобна, ибо три рубли в мешок сложишь — ажно нести тяжко. А бедному деньга-то как раз! Теперь же озабочены чеканкою мер новых: копеек, гривен, полтин да рублевиков... Где ж теперь бедняку на базаре с такими мерами оборачиваться?

Софья Родионовна, жена его, бывало, рукою машет:

— Да восхвали ты Бога, что сам не скуден. Всех нищих на Руси не умалишь, а всех бояр не обскачешь. Что за язык у ты такой: где бы радоваться, что не стоишь на паперти с рукою протянутой, так — нет: все, знай себе, о бедных поминаешь, Иванушко!

— Не о бедных, — отвечал Посошков жене. — О богатых сужу, коль страна богата. А вот откуда в ней рвань умножается — того взять в толк не могу. Хочу думать...

Финансисты XVIII века приметили, что самые крупные расходы казны происходят от мелочей. Можно бухнуть кучу денег на создание флота или постройку города — и останешься богат, а разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного государства сравнивали с кошельком франтихи: на шпильки, булавки, мушки, веера, пудру, кольца и серьги она всегда истратит гораздо больше, нежели на самое нарядное платье. Посошков был такого же мнения. Состоя при Дворе монетном, он в каждой денежке видел силу великую, силу

народную, кою следует тратить с разумностью. Расходовать деньги — это дело, а кидать их попусту — мотовство... Пришел как-то в Оружейную палату иноземный мастер, принес ложе ружейное — без выдумки выструганное: нет резьбы, нет инкрустаций. Волинился с ним четыре месяца, а получил он, супостат, за свое барахло шестьдесят рублей. Посошков показал это ложе мастерам русским:

— Сколь долго трудиться надобно ради ложа такого?

— Ну, день. Больше — стыдно.

— А сколь платят вам за изделие таково?

— Эге! На кружку кваса хватит...

— Вот то-то! — сказал Посошков. — И тужусь я: на што осударь бездельников на Русь тащит, казну на них просыпая даром?..

В канун Северной войны Петр I для чеканки медных денег назвал в Москву мастеров иностранных. Загнули они цену немалую, а дела от них не было. Посошков обозлился и сам изобрел чеканные станы, наладил их. Заухали с высоты цехов «бабы» плющильные, посыпалась денюга, еще раскаленная, в ящики — только считать поспевай! «И я им, иноземцам, — писал Иван Тихонович, — в том ащче и учинил пакость, обаче мне шкоды ни какой не было, а ныне нельзя их не опасатца, понеже их множество, и за поносное на них слово не учинил бы мне какой пакости!» Страшное признание: русский мастер в своей же стране боялся мести иноземцев только потому, что выполнил работу, какой они исполнить не могли.

— Слишком низайше стали мы Европам кланяться, — говорил он. — Люди русские до сего жили и дурнями себя не считали. А теперь дожили, ажио срамно стало... Дабы жизнь на Руси улучшить, дабы неправды всякие уничтожить, надобно не иноземцев созывать отовсюду, а своих человек разбудить!

К мысли о необходимости реформ Посошков пришел раньше Петра I и теперь даже с некоторой завистью наблюдал, как царь свершает «великое устройство великого неустройства». Сомнений в правомочности власти монаршей у него еще не возникало: он жил

надеждой, что придет царь-гений, царь-труженик, царь-правовед, мудрый и справедливый, и он устранил все неправды. Когда под Нарвою шведы разбили наши полки, Иван Тихонович всей душою хотел царю помочь. Послал он ему «Доношение о ратном поведении», где толково и разумно вскрыл все изъяны русской армии, а подписался так: «Писавый Ивашко Посошков главу свою под ноги твоя подносит».

Вряд ли нашли бы мы счастливых людей в том времени... Тогдашняя служба в армии была особенно тяжела — даже офицеру. Послужные списки читаешь, как «страсти Господни». На первобытных телегах, а где и пешком русские воители покрывали гигантские просторы. Если прочертить на карте все пути-дороги наших воинов, то получится сложная сетка современных авиалиний, какие мы видим в кассах аэропортов. Из гарнизона Азова — под Нарву, из Нарвы — в Дорогобуж, из Москвы — в Ямбург, опять в Нарву, оттуда в Ригу, потом на Дон, с Дона — в пекло Полтавы, затем в Архангельск, и вот он — капитан! Капитана вызвали в Петербург на смотр, там посмотрели на него и сказали, что пусть будет капитан... прапорщиком! Начинай все сначала, а прапорщику уже пятьдесят четыре годочка. Тут бы не начинать, а кончать уже надо. Плачь не плачь — никто не пожалеет. Отношение к людям было хуже, чем к скотине, — самое безжалостное, и правды нигде не было.

Во главе всех правд и неправд стоял император!

Это он вкоренил в сознание россиян понятие безоговорочного самодержавия, которое, подобно молоту, расплющит любого, несогласного с ним: «Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен!» Именно так и было им заявлено... Живописцы, изображавшие Петра I в рыцарских латах, украшенных хвостиками горностаев, придавали ему позы благородного величия. Алексей Толстой несколько снизил этот стародавний пафос: он писал о круглом лице кота с непотребными усишками, глаза навывкате, а рот царя собран в куриную гузку. Герцен

ненавидел Петра I как палача народного. Пушкин сначала пропел ему панегирик, а после смерти поэта в его архивах обнаружили ворох записей, обличавших Петра I в неслыханном деспотизме... Из художников лучше всех понял царя великий Валентин Серов, создавший целую серию картин из Петровской эпохи. Академик Игорь Грабарь записал для нас слова Серова:

«Он был страшный: длинный, на слабых тоненьких ножках и с такой малюсенькой головкой, что больше должен бы походить на какое-то чучело. В лице у него — постоянный тик, и он вечно “кроил рожи”: мигал, дергал ртом, водил носом. При этом шагал огромными шагами. Воображаю, каким чудовищем казался этот человек... Идет такое страшилище с беспрестанно дергающейся головой. Увидит его рабочий — хлоп в ноги! Петр тут же его дубиной по голове ошарашит: “Будешь знать, как кланяться, вместо того чтобы работать!” У того и дух вон. Идет дальше. А другой рабочий, не будь дурак, смекнул, что и виду не надо подавать, будто царя видишь, и не отрываясь от дела. Петр дубиной укладывает и этого на месте: “Будешь знать, как царя не признавать”. Страшный человек...»

Руками этого страшного человека воссоздавалась новая Россия, ставшая империей, и нам, оценившим заслуги Петра I как преобразователя, никогда не следует забывать о том, что он был сатрапом своего народа, беспощадным угнетателем, ничего и никогда не щадившим ради исполнения своих грандиозных замыслов. Только совместив воедино образ преобразователя и образ деспота, мы получим истинного Петра I, каким он был. За многое ему благодарны в истории нашего прошлого, любить его мы никак не можем!

Посошков вошел в царствование Петра I человеком зрелым, уже многое осознавшим. Россия двигалась вперед, сотрясаясь деревнями и городами, кораблями и заводами; активное время требовало активности от людей. Иван Тихонович не сидел сложа руки: искал нефть под Казанью, варил краски, завел серные прииски, хотел основать фабрику игральных карт. Когда что требовалось, завозили из-за

границы, а у себя не искали. «Мне сие вельми дивно, — писал он, — земля наша российская, чаю, что будет пространством не меньше немецких, и места всякие в ней есть... годом всего не изъехать, а икакие вещи у нас потребные не сыскано». Смешно сказать — гоняли корабли из Архангельска в Европу даже за пуговицами, даже за посудой стеклянной, даже за чулками. Посошков считал, что все это барахло можно и дома производить.

— Ладно, — отвечали ему. — А вот шелку где взять?

— Про лен забыли... разве шелка хуже? — спрашивал он.

Полтава укрепила Россию на берегах Невы, центр русской жизни передвинулся к северу — и Посошков тоже променял Москву на Новгород (куда, кажется, бежал... от долгов)! Здесь он обзавелся домом и садом, малость разбогател, содержит остерию с пивным залом. Здесь же его, старого человека, тиранили воеводы, а полковник Порецкий «бранил меня всякою скверною бранью и... похвалялся посадить меня на шпагу!» Правды в суде мастер не сыскал и пошел домой, к деткам своим, огорченный:

— А ще не последний человек, а как же правды сыскать тому жителю, который меня мизернее будет?..

Из Новгорода до Петербурга — рукой подать, и не хочешь, да побываешь, паче того, любопытно знать: что натворил там великий осударь? В Петровом «парадизе» (по-русски это «рай» означает) Посошков узрел нищету народную, спесь временщиков, рвань и грязь работников, созидавших столицу; полно было могил, скрипели по ночам виселицы. На Мытной площади, где базар шевелился, Иван Тихонович солдата встретил, ветерана полтавского, с лицом, синим от пороха. Сей солдат разулся, из сапога денежку вынул и на денежку сторговал для себя кусочек говяжьей дохлятины — кошка и та сыта не будет! Завернул мясо в тряпицу и заплакал:

— Хоша бы для заговенья мяском оскоромиться! Почитай, с месяц пошел, как, кроме хлебца, не ел ничего... Сольцы бы еще!

«А егда голоден и холоден и ходит скорчась, то он какой воин, что служба воеет!» — записал Посошков, тужа о несчастьях народных. Близился кризис жизни: не стало веры в царя-гения, в царя-правдолюбца, а в душе уже согревалась книга, которую он напишет, — «Книга о скудости и богатстве». Весь опыт жизни, красочной и трудной, хотел Иван Тихонович закрепить на бумаге. С фасов крепости стреляла полуденная пушка, от храма Самсония звонили колокола, работный люд пошабашил к часу обеденному, гулящие да чиновные, промеж офицерами флотскими, шагали в остерии да фартины; за зданием Двенадцати коллегий крутились крылья ветряных мельниц, на лужайках бляели тощие козы; босые драгуны вели к Неве своих коней — на водопой...

Посошков придвинул к себе чернила, выбрал перо.

— Стану и правды всенародной желателем. Жизнь пройдена, дети выросли... Жалеть ли мне себя, ежели за правду умучают?

На склоне лет он пришел к мысли, что царская власть не способна сделать народ счастливым, а страну сильной и зажиточной. Наверное, старику нелегко дался вывод: «весь народ» должен стоять у кормила власти, «народосоветие» «самым вольным голосом» должно решать нужды своего государства. Основная мысль экономиста проста: богатство неизбежно связано с понятием правды в устройстве государства; народ будет иметь недостаток только в том случае, если общественный строй станет на службу народа; богатство оценить можно не по числу «царских сокровищ», а лишь по благополучию самого народа, которому безразличны бриллианты в короне и скипетре, ибо народу важно, что сегодня на обед, что носить в будни и что надеть в праздник...

Два человека, два современника, прошли по земле русской — император и крестьянин. Оба они стремились к величию России, но путями разными. Петр I думал о стране, в которой он, самодержец, главный, а народ пусть трепещет пред ним. Посошков думал о народе, почитая народ главной силой в стране, и пусть сама власть

трепещет перед народом. Там, где Петр I действовал дубиной, Посошков хотел видеть закон, обязательный для всех, будь то сенатор или землепашец. Каждый из них по-своему прав: Посошков — по-народному, а царь — по-царски!

24 февраля 1724 года Посошков закончил «Книгу о скудости и богатстве», желая подбросить ее на стол императора, а там — будь что будет. 28 января 1725 года Петр I скончался в ужасных мучениях, крича на весь дворец от нестерпимых болей:

— Зрите и ведайте, сколь слаб человек...

Историки так и не выяснили, успел ли царь прочесть сочинение Посошкова; кажется, нет! На престоле воссела Екатерина I.

А на базаре люди не молчали — они разговаривали:

— Нам от бабы и выеденного яйца не видать.

— Откуда взялась эта царица — бес ее знает...

Когда она склонилась над гробом царя, целуя его, архимандрит Феодосия Яновский, писатель и вития, покрыл императрицу нещадной бранью. Феофан Прокопович (тоже писатель и тоже вития) уцепился за эту брань как за повод для погубления соперника в делах синодальных и послал на Яновского донос... 26 августа 1725 года к Посошкову пришли солдаты и отвезли его в крепость!

Историки еще многого не знают, но о многом догадываются.

В библиотеке Феодосия Яновского нашли экземпляр «Книги о скудости и богатстве», пытками у людей вырывали признания — читали ли они эту книгу? Один из читателей Посошкова был отведен на эшафот, где ему отрубили голову... Советский ученый Б.Б. Кафенгауз, много лет положивший на изучение Посошкова, отыскал в делах царского кабинета бумагу, а в ней сказано: «Купецкой человек Иван Посошков содержится *по важному секретному государственному делу*». Да он и сам предвидел конец свой: «Не попустят мне на свете ни малого времени жить, но прекратят живот мой!»

Его запытали...

А конец миниатюры мог бы стать и ее началом. Санкт-Петербург, 1840 год — николаевская эпоха... Аукцион в разгаре — шла бойкая распродажа собрания библиофила Лаптева. На столе появилась рукопись в переплете из свиной кожи, и аукционер с трудом прочитал ее название — тяжелое и громоздкое, будто автор свалил его из громадных замшелых валунов:

— «Книга о скудости и богатстве, си есть изъявление от чего приключается напрасная скудость и от чего гобзовитое богатство умножается»... Продается! Кто желает приобрести?

Не успели выкликнуть цену, как некто Большаков, матерый спекулянт-перекупщик, уже протиснулся вперед и алчно тронул переплет из свиной кожи — кусачей, как наждак.

— Беру... Сколь надо — столь и дадим!

Сам-то он в этой книге ни бельмеса не смыслил, но зато ценил ее как старинную реликвию. Привез он книгу в Москву, где с лихвой перепродал профессору истории Погодину, а тот сразу понял, какая уникальная находка попала ему в руки. Ученый провел над «Книгою о скудости и богатстве» всю ночь и над нею же встретил он розовый рассвет. Автор — из тьмы веков — настаивал перед царями на раскрепощении крестьян, и напротив этого места Погодин (сам бывший крепостной) с чувством отметил: «Целую руку твою!» Вот и последняя страница книги, подпись: «Правды всеусердный желатель ИВАН ПОСОШКОВ». Погодин записал в дневнике: «Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого человека в святилище русской истории». Но оказалось, что ввести Посошкова в пантеон российской историографии не так-то легко... Министр просвещения граф Уваров заявил Погодину:

— Михайла Петрович, хотя Его Императорскому Величеству и благоугодно было на вашем прошении об издании труда Посошкова начертать слово «согласен», я, со своей стороны, советую вам, голубчик, воздержаться от публикации сей книги...

Погодин чуть не зарыдал — в отчаянии:

— Не губите меня, ваше сиятельство! Я ведь сплю и вижу сочинение Ивана Тихоныча на прилавках книготорговцев российских.

— В любом случае, — продолжал граф Уваров, — вам при издании не следует утверждать, что автор происходил из подлого состояния. Трудно поверить, чтобы мужик, подобно Адаму Смиту, мог бы разбираться в тонкостях экономики. Скорее всего, книгу сочинил кто-либо из вельмож Петра, но, боясь расплаты за дерзкие мысли, он тишайше спрятался за крестьянским псевдонимом.

— Значит, нельзя печатать? — понурился Погодин.

— Советую воздержаться...

Но историческая наука «воздержания» не терпит, и Посошков буквально протаранил стены царской цензуры. Россия в 1842 году узнала, что в дебрях ее былой жизни существовал писатель Иван Тихонович Посошков — страдающий, ликующий, негодующий, правды ищущий, неправду отрицающий...

После окончания романа «Война и мир» Лев Толстой вознамерился писать о Петровской эпохе, желая сделать Посошкова главным своим героем. Лев Толстой был, кажется, немало удивлен, когда узнал, что его главного героя замучил начальник Тайной канцелярии граф П.А. Толстой, который приходился великому романисту родным прапрадедом...

«Императрикс» — слово звериное

Время Анны Иоанновны, будь оно трижды проклято...

Чиновник костромской консистории, Семен Косогоров (волосом сив, на затылке косица, вроде мышинного хвостика, на лбу бородавка — отмета Божия), с утра пораньше строчил перышком. Мутно оплывала свеча в лубяном стакане. За окном светлело. В прихожей, со стороны входной лестницы, копились просители и челобитчики — попы да дьяконы, монахи да псаломщики.

— Эй, — позвал. — Кто нуждит за дверьми? Войди до меня...

Вошел священник уездный. В полушубке, ниже которого ряска по полу волоклась — старенькая. Низко кланялся консисторскому. На стол горшочек с медком ставил. Затем и гуся предъявил. Косогоров липовый медок на палец брал и с пальца задумчиво пробовал — вкусен ли? Гуся презентованного держал за шею рукою властною, огузок ему прошупывая, — жирен ли? И гуся того с горшком под стол себе укладывал, где уже немало даров скопилось.

Спрашивал:

— Кою нужду до власти духовной имеешь? И как зовешься?

На что отвечал ему священник так-то:

— Зовусь я Алексеем, по батюшке Васильевым. Нужды до власти не имею по смирности характера, от кляуз дабы подальше. Но прошу тебя, господин ласковый, ссуди ты меня бумагой для писания. Совсем плохо в деревне — негде бумажки взять.

— Бумажка, — намекнул Косогоров, — ныне в красных сапожках бегают. А... много ль тебе листиков? И на што бумага?

— По нежности душевной, — признался Алексей Васильевич, — имею обык такой — вирши да песни в народе собирать. Для того и тужусь по бумажке, чтобы охота моя к тому не ослаблялась. Ибо на память трудно надеяться: с годами всех песен не упомнить...

Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву:

— Друг ты мой! Я и сам до песен разных охоч. Много ль их у тебя собрано? Канты какие новые не ведаешь ли?

Священник тут же (по памяти) один кант ему начертал:

Да здравствует днесь императрикс Анна,
На престол седша увенчанна.
Восприимем с радости полные стаканы,
Восплещем громко и руками,
Заскачем весело ногами,
Мы — верные граждане...
То-то есть прямая царица!
То-то бодра императрица!

— Чьи вирши столь усладительны? — возрадовался Косогоров.

— Того не упомяну. С десятых рук переписывал...

И священник, добыв бумажки, отъехал на приход свой — в провинцию. А консисторский чин вирши новые решил в тетрадку переписать, дабы затем по праздникам распевать их — жене в радость, а детишкам в назидание. Поскреб перо об загривок сивый, через дверь крикнул просителям, что никого более сей день принимать не станет. Начал он первый стих пером выводить и сразу споткнулся на слове «ИМПЕРАТРИКС».

— Нет ли худа тут? — заробел Косогоров. — Слово какое-то звериное... Может, зложелательство в титуле этом?

И — заболел. Думал, на печи лежа: «Уж не подослан ли сей Васильев из Тайной канцелярии? Нарочито со словом звериным, чтобы меня, бедного, в сомнение привести. Может, пока я тут на печке валяюсь, враги-то не дремлют...» На службу не ходил, предчувя гоненья и пытки великие. От страха стал водку кушать. Потом в горячке на улицы выбежал и заорал:

— Ведаю за собою «слово и дело» государево! Берите меня...

По законам тогдашним всех, кто «слово и дело» кричал, отводили под арест. Вспомнил тут Косогоров мудрость народную, коя гласила, что доводчику — первый кнут, но было поздно...

Из-под кнута, весь в крови, он показал палачам:

— К слову «императрикс» непричастен! А ведает о нем священник Алексей Васильев, злодейски на титул царицы умысливший...

Взяли из деревни любителя фольклора, стали его пытаться.

— Слово «императрикс», — отвечал Васильев, — не мною придумано. А списывал кант у дьяка Савельева из Нерехты...

Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от страха дьяка Савельева, и тот показал допытчикам, не затаясь:

— Слово «императрикс» с кантов чужих списывал, а сам кантов не сочинял. Но был на Пасху в гостях у кума своего, прапорщика Жуляковского, а там много мы разных кантов распевали...

Взяли и Жуляковского-прапорщика — повесили на дыбу.

— Слова «императрикс» не ведаю, — отвечал прапорщик. — Но был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именинницы Матрены Игнатъевны, отчего-де мне, прапорщику, уже тогда сомнительно казалось — почто-де сперва за бабу вино пьют, а не за Ея Царское Величество...

Взяли купецкого человека Пупкина — туда же подвесили.

— Слова «императрикс» не говаривал никогда, — показал он с огня. — А недавно был в гостях у человека торгового, прозванием Осип Кудашкин. И тот Кудашкин, шибко весел, выражал слова зазорные. Мол, государыня наша столь широка тельцем стала, как бы, гляди, не лопнула: тогда нам-де хорошо будет...

Взяли именинницу Матрену Игнатъевну и поехали брать Кудашкина. Но сей Кудашкин оказался горазд умудрен житейским опытом и потому заранее через огороды задворные бежал в роковую пропащность. Решил воевода, пока Кудашкин не сыщется, тряхнуть на дыбе Матрену Игнатъевну.

— Охти мне! — отвечала баба на розыске. — Пива много пила, ничего не упомню. Может, экое слово «императрикс» и говаривал кто из гостей, но я знать не знаю, ведать не ведаю...

Отложили ее на лавку, вдругорядь принялись за Пупкина.

— А в гостях у Осипа Кудашкина, каюсь, бывал. Когда о Ея Величестве зашла речь высокая, то, помню, подьячий Семен Панфилов отвечал Кудашкину: мол, там не один герцог Бирон, много-де всякой сволочи понаехало из Европ разных...

Во субботу, день ненастный, вышепомянутого Панфилова взяли прямо из бани, где он парился, как положено православному во дни субботни. Подвесили его, чисто вымытого, под самый потолок на дыбе и стали коптить на огне.

— Слово «императрикс» от вас впервой слышу, — говорил несчастный. — И сколь в жизни бумаг исписал по долгу чиновному, а такого слова еще не встречалось. При оговоре моем прошу судей

праведных учесть, что ране в штрафах и провинностях не сыскан. У Святого причастия бываю исправно, что и духовный отец, Пантелей Грешилов, завсегда подтвердить может..

— Взять и Пантелея Грешилова! — распорядился воевода.

Означенный Грешилов у самого порога пытошной канцелярии не выдержал страха и помер. Всех арестованных по «звериному» слову заковали в железа, повезли в Москву — прямо на Лубянку, где размещалась Тайная канцелярия под командой губернатора Семена Салтыкова, и оный Салтыков, сатрап бывый, отписывал в Санкт-Петербург — «главному инквизитору империи» Ушакову:

«...явилась песня печатна, сочиненна в Гамбурге, в которой в титле ея императорскаго величества явилось печатано не по форме. И признается, что она напечатана в Санкт-Петербурхе при Наук академии, того ради не соизволите ль, ваше превосходительство, приказать ону в печати свидетельствовать...»

Между Костромою и Москвою, между Москвою и Петербургом скакали курьеры. На звериное слово «императрикс» было заведено дело — наисекретнейшее!

«...буттобы», — написал ТрEDIAKовский.

— Будто бы, — произнес поэт вслух, написание проверяя, и хотел уже далее сочинительство продолжить, но его прервали...

Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на Первой линии Васильевского острова, в котором проживал бедный поэт, и, подбоченясь, вопрошала жильца могучим басом:

— Ты почто сам с собой разговариваешь? Или порчу на мой дом накликать желаешь? Смотри, я законы всякие знаю!

— Сам с собой говорю, ибо стих требует ясности.

— А ночью зачем эдак-то дерзко вскрикиваешь?

— От радости пиитической, княгинюшка.

— Ты эти радости мне оставь. Не то велю дворне своей тебя бить и на двор более не пущать. Потому как ты мужчина опасный: на службу не ходишь, по ночам, будто крыса, бумагой шуршишь...

Василий Кириллович, губу толстую закусив, смотрел в оконце. А там — белым-бело, ярится чухонский морозец, пух да пушок на деревьях. Вот завернула на Первую линию карета — никак в Кадетский корпус начальство приехало? Нет, сюда едут. Остановились.

— Матушка-княгинюшка, — сказал Третьяковский, чтобы от глупой бабы отвязаться, — к вашей милости гости жалуют...

Барон Корф, президент Российской Академии наук, волоча по ступеням лисьи шубы, зубами стянул с пальцев перчатку, пошитую из шкур змеиных. Перед важным вельможей неуклюже присела домовладелица; щеки у ней — яблоками, брови насурьмлены (еще по старинной моде), и вся она будто слеплена из пышных караваев.

— Хотелось бы видеть, — сказал Корф, — знатного од слагателя и почтенного автора переложений идиллических с Поля Тальмана.

— А таких здесь не водится, — отвечала Троекурова. — Может, в соседнем доме кто и завелся почтенный, только не у меня!

— Как же так? А вот поэт Василий Третьяковский...

— Он! — сказала княгиня. — Такой содержится.

Корф скинул шубы на руки выездного лакея.

— Не занят ли поэт? — спросил. — Каков он? Горяч?

Княгинюшка пред знатным гостем губы развесила:

— Горяч — верно: уже заговариваться стал. А вот знатности в нем не видится. Исподнее для себя сам в портомойне стиравает.

— Мадам, — отвечал барон учтиво, — все великие люди имеют странности.

Президента академии с поклонами провожали до дверей поэтического убежища. Третьяковского барон застал за обедом. Поэт из горшка капусты кисленькой зацепит пясткой, голову запрокинет, в рот ему сами падают сочные лохмы...

— Простите, что беспокоил, — начал Корф любезно (и бедности стараясь не замечать, дабы не оскорбить поэта). — Я хотел бы оказать вам свое внимание... Над чем изволите размышлять?

Корф был известен в Европе как страстный библиофил, знаток философии и музыки скрипичной; дерзкий атеист со склонностью к познанию тайн древней алхимии, он, не в пример другим придворным, благосклонно относился к Третьяковскому.

— Размышляю я, сударь, о чистоте языка российского. О новых законах поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии — элоквенция! — суть души моей непраздной.

— Типография академии в моих руках, — отвечал ему Корф. — Отдам повеление печатать сразу, ибо все это необходимо...

Корф в сенях строго наказал Троекуровой:

— Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него в комнатах собак можно морозить. Да шуршать и разговаривать самому с собой не мешайте. Ныне его шуршание будет оплачиваться в триста шестьдесят рублей ежегодно: по рублю в день, княгиня! Он секретарь академический и меня русскому языку обучать станет...

Корф отъехал и поэт с собою увез; в академии Третьяковский подписал конвенцию о службе. О языка русского очищении. О грамматике написании. О переводах с иноземного. И о прочем! А когда они отбыли, троекуровский дом сразу перевернулся.

— Митька! Васька! Степка! — кричала княгиня. — Быстро комнаты мужа покойного освободить. Да перины стели пышнее! Да печи топи жарче! Половик под ноги ему... Кувшин-рукомой да зеркало, то, что старенько, под рыло ему вешайте... О-о, Боженка! Откудава знать-то было, что о нем знатные персоны пекутся?

Скудные пожитки поэта перекидали в покои, протопленные столь жарко, что плюнь на печку — шипит! Вот вернется домой секретарь и обалдеет. Княгиня в хлопотах даже запарилась. Но тут — бряк! — колоколен под окнами дома, и ввалился хмельной Ванька Топильский, главный сыщик из Канцелярии тайной...

Страх в людях приметив, он кочевряжиться начал:

— Ну, толпа, принимай попа! Ныне я шумен да умен... Мне, княгинюшка, твой жилец надобен — Василий, сын Кирилла Третьяковского, который в городе Астрахани священнодействовал.

— Мамыньки родные! — всплеснула княгиня руками. — Да его сей час президент Корф в своих санках на службу увез...

— Эва! — крикнул Топильский (и с комодов что-то в карман себе уложил). — С чего бы честь така Ваське? — спросил (и табакерочку с подоконника свистнул). Огляделся, что бы еще своровать, и сказал, страху добавив: — Ныне твой жилец, княгиня, в подозрениях пребывает... И мне их превосходительства Ушаковы-генералы велели доподлинно вызнать: по какому такому праву он титул Ея Царского Величества писал «императрикс»?

— Как? Как он титуловал нашу пресветлую матушку?

— «Императрикс»... Ну что, княгиня? Спужались? Будешь теперь знать, как поэтов в свой дом пушать.

Троескурову даже в сторону повело. Думала: а ну, как и ее, сиротинку, трепать станут? Глаза закатила и отвернулась: пусть Топильский крадет что хочет, только б ее не тронули... Очнулась (Ваньки уже нет) и снова затрепетала:

— Санька! Мишка! Николка! Где вы?.. Тащи все обратно в бовоушку евоную. Сымай перины, рукомой убери. И капусту, что на двор выкинули, поди собери снова. Чтоб он подавился, треклятый! Я давно за ним неладное примечаю. Ныне вот и сказалось в титуле царском... «Императрикс» — голову сломать можно, а такого не выдумаешь. О Господи, до чего мы дожили... что будет?

Из академии поэт ехал в казенной карете, обтянутой снаружи черным коленкором, а окошки были задернуты, чтобы прохожие не могли видеть — кого везут. Карета уже не академическая, а розыскная: ее за поэтом кровожадный Ушаков прислал.

Кони пронырнули в ворота Петропавловской крепости.

Вот и Тайная канцелярия «императрикс»!

А вот и главный инквизитор империи — Андрей Иваныч...

Вроде бы, как поглядишь, добренький старикашка с паричком, съехавшим на ухо. Возле него — инструменты, служащие для отыскания подноготной истины: плети, клещи, шила, дробила... Ушаков

по-стариковски грел зябнувшие руки возле горна пытошного. Потом запустил под парик свои пальцы, долго скреботал лысину... Начал вести допрос по «слову и делу» государеву:

— Ты што же это, сволота паршивая, куда жрать ходишь, туда и гадить задумал? Или своя шкура тебе дешевой показалась?

Тредиаковский сказал, что вины за собой не ведает.

— А титул Ея Императорского Величества, от Бога данный, ты зачем обозначил в стихах неправильно? Мы ее зовем полностью в три слова (Ваше Императорское Величество), а ты, сучий сын, единым словцом, будто облаял ее... императрикс-тыкс... — и всё тут. Теперь сознавайся: нашто титул государыни уронил? И не было ли у тебя в мыслях какого-либо злоумышления?

Поэт понял, что «слово и дело» из пальца высосаны.

— Каждый кант, — отвечал он, — имеет размер особый, от другого канта отличный. Слова: «Ея Императорское Величество» — это проза презренная, так все говорят. И три эти слова во едину строку никак не запикиваются...

— А ты поднатужься да впихни! — умудрил инквизитор.

— Не впихнуть, — дерзко отвечал поэт. — Потому-то и вставил я сюда слово кратчайшее «императрикс», высоты титула царского ронять не желая... А что делать, ежели таков размер в стихе?

Ушаков вынул из горна докрасна раскаленные клещи и от них раскурил простенькую солдатскую трубку.

— Размер? — спросил он, не веря поэту. — Ты размером никогда не смущайся. Чем длиннее восславишь титул — тем больше славы тебе. А ныне вот, по твоей милости, любители кантов из Костромы на Москву... И драны. И пытаны. И трое уже причастились перед смертью. А все оттого, что слово «императрикс» есть зазорно для объявления Ея Величества. Осознал? Или припечь тебя?

Страшно стало! Опять толковал Тредиаковский великому инквизитору о законах стихосложения. Говорил, что при писании

стихов слова не с потолка берутся, а трудом немалым изыскиваются. Что такое размер — объяснял, что такое рифма — тоже втемяшивал.

— Рифму я знаю, — мрачно сознался Ушаков, внимательно поэта слушая. — Рифма — это когда все складно и забавно получается. А насчет размера... не врешь ли ты, брат? Изложи-ка письменно!

Пришлось писать подробное изъяснение:

«Первый самый стих песни, в котором положено слово “императрикс”, есть пентаметр. Слово сие есть самое подлинное латинское и значит точно во всей своей высокости “императрица”... Употребил я сие латинское слово для того ради, что мера стиха того требовала».

— Ой и мудро же ты пишешь! — удивился Ушаков, читая. — Ты проще будь, сыне поповский, а не то мы тебя со свету сживем... Иди домой и сиди, аки голубь ангельский. Писать пиши, коли служба у тебя такая, но чтобы никаких «императрикс» боле не было. Ступай прочь, вобла астраханска! Да, эвон, икону не прогляди. Возликуй пред ликом Всевышнего за то, что я тебя отселе живым и нервным выпускаю...

Пешком отправился великий поэт домой — на Первую линию.

Брел через Неву, льдами вздыбленную. Пуржило с моря, колко секло лицо. Спиною к ветру обратясь, шел Василий Кириллович, и было ему так горько, так обидно... хоть плачь! Он ли грамматик не составитель? Он ли од торжественных не слагатель? «Так что ж вы, людишки, меня-то, будто собаку бездомную, по кускам рвете? Тому не так. Этому не эдак. И любая гнида учит, как надо писать».

— Кого учите? — спросил поэт у ночной тишины...

Тредиаковский остановился над прорубью. Черный омут, страшный-престрашный, а в глубине его — звезд отраженье.

Внемли, о небо! — Изреку,
Земля да слышит уст глаголы:
Как дождь, я словом протеку,
И снидут, как роса к цветку,
Мои вещания на доли...

Впереди была долгая трудная жизнь. Клевета и забвение.
Вот она — слава! Но такой славе не позавидуешь.

Прошло ровно сто лет после этого случая со словом «императрикс». В тенистой тишине старинных лип и вязов, за простым рабочим столом сидел директор училищ Тверской губернии Иван Лажечников и выводил Тредиаковского в большую литературу:

«О! По самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово “педант” — по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредиаковского. Он нес огромный фолиант под мышкой. И тут разгадать нетрудно, что он нес — то, что составляло с ним: я и он, он и я Монтяня, свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными крылами, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес “Тилемахиду”»...

Давайте сразу же выбросим отсюда «Тилемахиду», которую поэт никак не мог нести под мышкой, ибо поэма в ту пору, о какой говорит Лажечников, еще не была написана. Под пером Лажечникова поэт превратился в бездарного педанта, забитого и жалкого,

который заранее обречен на тумачи и унижения. А между тем Н.И. Новиков писал: «Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия... Полезными своими трудами приобрел себе славу бессмертную!» И первым, кто вступился за честь поэта, был Пушкин: «За Василия Тредиаковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы, — писал он Лажечникову, — оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности». В тон Пушкину позже вторил Белинский: «Бедный Тредиаковский! тебя до сих пор едят писаки и не нарадуются досыта, что в твоём лице нещадно бито было оплеухами и палками достоинство литератора, ученого и поэта!»

Мне всегда больно за Тредиаковского...

Оскорбляемый современниками, он был осмеян и потомками!

Лажечников, вольно или невольно, развил тему всеобщего презрения к поэту, начало которому положила императрица Екатерина II. На шутейных куртагах в Эрмитаже она, издеваясь над стихотворцем, заставляла провинившихся вельмож или выпить в наказание стакан воды, или прочесть наизусть строфу из «Тилемахиды».

Чудище
обло,
озорно,
огромно,
стозевно
и лай!

Постепенно дурное отношение к Тредиаковскому обратилось в моду, и эта мода дотянулась до наших дней...

Тредиаковский для нас, читатель, отошел в давность. Порою нелегко продираться через столкновение кратких взрывчатых слов, не всегда понятных сегодня. Но иногда — словно открываешь чудес-

ное окно в волшебный, благоухающий сад... Он, как и Маяковский, одновременно очень прост и очень сложен; именно от него и тянется заманчивая извилистая тропинка российской поэзии, уводящая всех нас в трепетные дали блоковских очарований.

Тредиаковского раньше не только читали — даже пели:

Поют птички
Со синички.
Хвостом машут
И лисички.
Взрыты броды,
Свищут дрозды...

Скажите, а чем плохо? Картина весны.

Тредиаковский был кристально прозрачен для людей своего времени, которым был понятен язык поэта — язык жестокой эпохи, язык пожаров Бахчисарая и Хотина, язык курьезных свадеб шутов и мерзостных маскарадов Анны Кровой... Все несчастье поэта в том, что он был только творцом, но не сумел стать бойцом за права писателя, какими сделались позже Ломоносов, Сумароков и Державин.

Страшная судьба! Всю жизнь работал как вол, а в награду получал палки и надругательства; он умер — и потомки его осмеяли! Это был мученик российской словесности... Радищев верил, что еще придет время, когда «Тредиаковского выруют из поросшей мхом забвения могилы... найдутся хорошие стихи и будут в пример поставляемы!» Никто не требует восхищаться поэзией Тредиаковского, но мы должны уважать человека, который, даже оболганный, всеми отвергнутый, унижаемый страхом и подачками, все-таки не отложил пера в сторону...

Нет, он продолжал свое дело.

И он пережил всех «императрикс»!

Повесть о печальном бессмертии

Что такое опера?..

Беру с полки книгу, читаю: «Опера называется действо, пением управляемое. Она, кроме богов и храбрых героев, никому на театре быть не дозволяет. Все в ней есть знатно... золотые веки собственно в ней показываются... Для представления первых времен мира и непорочного блаженства выводятся в ней счастливые пастухи и во удовольствии пребывающие пастушки».

О наивность старого мира! Поставим книгу на место. Словно в густой первобытный лес, мы погружаемся в темный XVIII век, когда прозвучала в России первая опера.

А в музыкальных справочниках (между именами П.В. Аравина и Д.И. Аракишвили) уместилось иностранное имя — Франческо Арайя; имя это сейчас мало что говорит русскому сердцу... Между тем я был счастлив, когда мне удалось раздобыть изображение Франческо Арайи, который пышным метеором проскользил по горизонту русской жизни и тихо погас в отдалении.

Имя этого человека вошло в историю нашей культуры.

Но, скажите, слышал ли кто из вас его музыку?

Я никогда не слышал... ни единой его ноты.

Он бессмертен! Хотя это печальное бессмертие.

Было время Анны Иоанновны, время гадостное... Корабль пришел в Петербург издалека, в шорохе поникли паруса, выбеленные солнцем. Конец пути. Устал корабль, но еще больше устали люди, на нем приплывшие. Искатели судьбы! Бродяги и артисты, наемные убийцы и продажные женщины — все пламенно взирали на русскую столицу, богатства и славы от нее вождедея. Пассажиры робко ступили на топкий берег, полого до воды сбегавший. Крутились крылья мельниц за крышами Двенадцати коллегий, а беленькие козы, тихо бляя, паслись на травке.

Смеркалось над Невой, но день не угасал. Матросы, обняв один другого, уходили вдаль, горляня перед неизбежной пьянкой. Подумать только: еще вчера качало зверски, в потемках трюма стучались бочки со скверной солониной, а теперь паруса, свернутые в трубки, словно ковры, приникли к реям, — и тишина... Какая тишина! Уверенно ступая, шкипер сошел на берег. В сиреневых сумерках белой ночи он разглядел фигуру одинокого пассажира, возле ног которого шуршала скользкая осока.

— Синьор, а вы почему не поспешили в город?

— Я не знаю, куда мне идти. Я никого не знаю здесь...

Старый моряк-далматинец с удивлением оглядел странного пассажира — он был молод и красив, как Аполлон.

— Я как раз собрался в остерию, чтобы напиться там хуже разбойника. Ступайте же и вы за мной. Вам, может, повезет, и вы среди местных пьяниц встретите своих земляков...

В остерии путешественник присел у двери. Закрыв глаза, он стал делить кабацкий шум на дольки, словно апельсин. Вот немцы говорят, вот англичане, вот французы, гортанно и крикливо спорят рокошущие голоса — русские. А вдруг его как будто обожгло родным наречьем — итальянским! Вскочив, он подбежал к столу, за которым восседали два приличных господина в коротких париках, какие носят мастеровые и художники.

— Я прямо с корабля. Вы говорите языком моей родины.

Господа ремесленники привстали благородно:

— Я живописец и гравер Филиппе Маттарнови.

— Я театральный декоратор Бартоломее Тарсио...

Они пригласили его за стол.

— Меня зовут, — начал он свой рассказ, — Франческо Арайя, я родом из Неаполя, где песней начинают день и песней провожают. Родители мои незнатны, но природа рассудила за благо наградить меня даром музыкальных композиций. Синьоры! Я удивлен, — воскликнул Арайя, — почему ваши лица остались

каменны? Неужели слава обо мне еще не дошла до этих пасмурных краев?

— Франческо Арайя... ты случайно не знаешь такого? — спросил живописец Маттарнови у декоратора Тарсио.

— Увы, — вздохнул тот. — Впервые слышу...

Арайя поникнул головой, большой и гордой.

— Пять лет назад я поставил первую оперу «Вегеписе», а вслед за нею прозвучала на весь мир и вторая... о любви!

— Но... г д е они прозвучали? — спросили его.

Арайя возмутился: уж не принимают ли его за самозванца?

— Синьоры! — выпрямился он. — Мои оперы услышала Тоскана и... Рим, сам гордый Рим рукоплескал мне, а Тоскана носила меня на руках. Вы не поверите, сколько у меня было тогда амурных приключений из-за этой славы, подстерегавшей меня из-за угла, как убийцы неосторожную жертву...

— Тоскана — это хорошо, — причмокнул Маттарнови.

— Рим — тоже неплохо, — согласился Тарсио.

— Но сосна еще не рождает скрипки, — засмеялся Арайя. — Скрипку из сосны рождает труд. И я способен быть трудолюбивым, итак, синьоры, продолжу о себе... Две оперы прошли с успехом, четыре знатные дамы вонзили стилеты в свои ревнивые сердца, не в силах перенести моих измен. Но, принеся славу на легких крыльях, мне оперы в карман не нашвыряли денег...

Художники снова угостили его вином. «Мальчишка», — пыхтел Филиппе Маттарнови. «О, блудный сын!» — вторил ему Бартоломео Тарсио... Арайя даже обомлел:

— Вы... не рукоплещете? Вы... браните меня?

— Вернись на корабль и убирайся домой. Таких, как ты, здесь очень много. Бездарные глупцы бросают дома, родных, невест и, помешавшись на золоте, стремятся в Петербург...

— Я не бездарен...

— Сядь, не хвались... Итальянская капелла еще поет здесь, это верно. Но под этим небом звучат ее последние вокализы. При дворе царицы русской более всего жалуют монстров. Вот ты и научись писать зубами. Огонь петролиума глотай. В кольцо скрутись или ходи на голове — тогда ты станешь в почете. Один лишь обер-гофмаршал Рейнгольд Левенвольде покровительствует нашему пению. Но сама царица и фаворит ее, герцог Бирон, обожают грубые шутки театра площадного: чтобы сыпались пощечины, чтобы драка до крови, чтобы кувыркание на сцене непристойное. Разве им дано оценить божественное очарование?

— Плыви домой... дурак! — закричал Маттарнови.

Арайя долго сидел над вином, почти ошалелый.

— Я проделал такой ужасный путь... Почему вы сочли меня бездарностью? Россия прислушается к моей музыке, да!

Тарсио махнул рукой, испачканной типографской краской.

— Россия поет свои песни, — сказал он.

— Русским сейчас не до тебя, — добавил живописец.

— Но... есть ли в этой дикой стране опера?

— Нет оперы. И вряд ли будет.

— Так я создам ее! Пусть я стану автором первой русской оперы.

Не верю, что Россия от моих услуг откажется.

— Не путай Россию с двором императрицы, — поправил его Тарсио. — Ты жаждешь золота от нищей страны, где богат только двор. Россия будет петь свои песни, больше похожие на стон. Здесь не Италия, и твоих песен не запоют на улицах. А при дворе с тебя потребуют... знаешь ли чего?

— Не знаю, — отвечал Арайя.

— И м л е с т ь нужна. Хоралы и кантаты! Ты будешь погибать в презренном славословии, и музыка твоя умрет там же, где и родится, — во внутренних покоях Анны Иоанновны...

Франческо Арайя высоко поднял чашу с вином:

— В таком случае я... остаюсь. Вы говорите — им нужны лесть и хвала? О-о, знали б вы, мазильщики, сколь музыка моя подвижна.

Писатель или живописец всегда несчастны. Они обязаны творить конкретно: вот хорошо, вот плохо! Вот краска белая, вот черная, синьоры... Совсем иное в делах музыкальных. Влюбленный в женщину, в честь красоты ее создам я каватину. Я ночью пропою ее, безумно глядя в глаза возлюбленной, и будем знать об этом только двое — она и я! Зато потом, — расхохотался Арайя, — я эту каватину без стыда при дворе... продам! Название ж каватине дам такое: «Величие Анны, Паллады Севера», и... купят олухи. Да, купят — за название! Неплохо, а?..

Живописец и декоратор переглянулись.

— По этой улице, что Невскою перспективою зовется, следуй до Невы — все прямо, прямо... Там тебе встретится речонка по названию Мойка, ее ты перейдешь и путь продолжи. Когда увидишь лес и шлагбаум опущенный, здесь городу конец. И будет течь река по имени Фонтанка, по берегу ее ты заверни налево. Увидишь вскоре дом, вернее же — услышишь пение. Вот там, на Итальянской улице, живут артисты наши. Войди без хвастовства. Будь вежлив и почтителен к кастратам славным. И помни, что судьбу решать нужно не ночью, а только на рассвете!

Перекинув через плечо конец плаща, Франческо Арайя входил в столицу русскую, чтобы покорить ее. Итак, дело за оперой. В это жуткое русское безголосье, где жизнь народа-певца раздавлена поборами, измучена палачеством инквизиции, пусть ворвется его музыка — легкая, игривая, сверкающая, как потешный фейерверк! Она вспыхнет в узком и душном закуте царского двора и... там же угаснет. «Подумай, Франческо, как следует. Еще не поздно: может, лучше вернуться на пристань, сесть на корабль и отплыть домой?» Нет, Франческо Арайя останется в России, ибо он жаждет золота... много золота!

На месте Педагогического института имени Герцена в Ленинграде когда-то роскошествовала усадьба Рейнгольда Левенвольде. (От тех времен осталось несколько деревьев.) В царствование Анны

Кривавой здесь, в кущах оранжерей, таились беседки-люстгаузы, куда гости по лесенкам взбирались, чтобы в уединении мыслить или амурничать. Фонтаны падали в бассейны, обложенные ильменскими раковинами. В залах дворца Левенвольде играли водяные органы, в которых вода издавала самые необычные мелодии. А по ночам, уже не зная, чем себя развлечь, пресыщенный сибарит велел гасить свечи, лакеи рассыпали в партерах зелени тысячи светляков, собранных в лесу, и в этом феерическом свете блуждал хозяин, меценат итальянских Певцов.

Летом 1735 года здесь появился Франческо Арайя.

— Ваше сиятельство, я сочинил композицию, дабы музыкой доставить приятное волнение великой монархине российской.

Гофмаршал полюбовался игрою своих перстней:

— Одобряю, маэстро! Прошу вас к инструменту...

Франческо картинно откинул малиновый плащ, склонился над клавишами, крытыми перламутром...

— Название композиции «Абиацар, или Сила любви и ненависти», в ней я желал возвеличить христианские чувства царицы...

Оперу поставили в придворном театре 29 января 1736 года, а слушателям были розданы афишки, в которых поэт Василий Тредиаковский перетолмачил либретто на язык русский. Наш музыковед Т. Ливанова в своей обширной монографии о музыке того времени писала: «Принимая во внимание, что то были первые оперные впечатления Петербурга вообще, этот факт нельзя недооценивать...» Анна Иоанновна прослушала Арайю с удовольствием, благо уже знала от Левенвольде, что никакой крамолы не будет, а музыка восхвалит ее величие.

Антиох Кантемир, бывший тогда послом в Лондоне, сразу же выписал партитуру оперы Франческо Арайи, которой заинтересовалась английская королева. Между композитором и поэтом стояла синьора Пьянтонида, певица раньше в Лондоне, а теперь — в труппе Арайи... Опустим занавес!

Воодушевленный первым успехом, Арайя сочинил кантату «Состязание Любви и Усердия», в которой были такие куплеты:

Можно ли найти более усердия,
чем у тебя, августейшая самодержица,
и любовь более пылкую,
нежели любовь к тебе твоих верноподданных?
Как не счесть звезды на небе —
так невозможно исчислить твои славные деяния.
О, смелость композитора! Ты?
потерпела аварию среди океана добродетели.
Солнце не нуждается в похвалах,
как и божественная русская императрица...

Все сатрапы обожают восхваление их мудрости.

— А он и впрямь гениален, этот италяшка, — зычным басом прорычала Анна Иоанновна; на корявом лице ее горели жгучие черные глаза. — Такого-то мне и надобно...

Композитора сразу окружили придворные.

— Ах, синьор Арайя! — восклицали они нарочито громко, дабы их слышала императрица. — Как вы тонко поняли нашу добрую государыню, как справедливо очертили ее ангельский характер...

Осыпанного милостями композитора повели к присяге. У святого алтаря Арайя, которому рукоплескали Рим и Тоскана, поклялся служить «Ея Императорскому Величеству государыне...».

Ну а как быть тем, которые клятв не давали?

Сейчас расскажу... Как раз в это время Мавра Шепелева, фрейлина цесаревны Елизаветы, сочинила для музыки «действие» о какой-то Лавре, претендующей на престол. Цесаревну с ее фрейлиной пронесло мимо беды. Но список либретто обнаружили у певчего регента Ивана Петрова... Его, беднягу, и разложили на лавке в Тайной канцелярии — под кнут:

— Ты, сокол наш ясный, эту музыку с виршами позабудь. Не твоя забота. Ежели опера и понадобится государыне нашей, голунице

пресветлой, так найдутся иные мастера... Надевай портки! Вставай! Да скажи спасибо, что живым выпустили...

Не было у народа оперы. Да и быть не могло. По деревням ходили калики, услаждая народный слух иными ариями:

Ох, прогневались снизу земля, а сверху небо —
Неужто никогда досыта не покушати нам хлеба?

Наша музыкальная культура многим обязана итальянскому пению. Петр Ильич Чайковский радовался, когда на чердаках и в сараях театральной дирекции были случайно обнаружены бесценные нотные рукописи знаменитых Паизиелло, Сарти, Чимарозы и... Франческо Арайи!

На Итальянской улице (ныне улица Ракова) в Итальянском доме Франческо Арайя повстречал итальянскую примадонну Марию-Джиованни Казанову, которая сказала:

— Слышали новость? Влияние герцога Бирона, кажется, перебило влияние гофмаршала Левенвольде, и при дворе хлопочут о вызове из Берлина труппы Каролины Нейбер. Я-то уж богата, могу вернуться в Неаполь, а куда денутся наши бедные кастраты?..

Арайя, директор и капельмейстер итальянской оперы, в год получал тогда по две тысячи рублей (сумасшедшие деньги!).

— О, порка мадонна! — бешено выругался он. — Пусть они треснут, эти акробаты и фокусники, способные лишь насыщать воздух театра своим зловонием... Неужели нам предстоит уехать?

Уже возникла мода на тирольцев с поющими канарейками в клетках, русские дворяне развлекались часами с играющей музыкой. Анна Иоанновна, как и Бирон, любила видеть на сцене драки до крови, постыдные обнажения актеров. Что для них «оперисты»? Им хотелось наблюдать зрелища, какие в наши времена сочли бы вульгарным балаганом. Русский историк театра С. Шамбинаго писал по этому поводу: «Никогда глумление над личностью не достигало таких пределов. Выставление человека на позор увенчалось пред-

ставлением знаменитого «Ледяного дома», в котором новобранных стариков всю ночь морозили на постели из льда под ледяным одеялом, присыпанным инеем... Немецкая труппа выжила итальянскую оперу с подмостков Петербурга, но она же в панике бежала из России, когда умерла Анна Кровавая, а герцога Бирона сослали подальше — волков морозить.

Начиналось правление Елизаветы Петровны, большой охотницы до пения, театра, танцев и маскарадов... Франческо Арайя почти двадцать пять лет провел в России, ставшей для него второй родиной; иногда навещая Италию, он возвращался обратно, уже не в силах жить без русских раздолий, без блинов и морозов. Человек он был общительный, веселый, вреда никому не делал, и русские люди его любили. Знаменитый актер Федор Волков в 1751 году сочинил для Арайи текст к его опере «Титове милосердие».

При дворе Елизаветы дышалось иначе. Только теперь Арайя стал писать музыку для русских певцов: Лизанька Белоградская восхищала столицу великолепным сопрано, будто она родилась под солнцем Неаполя, а некий Гаврила, по словам Якоба Штелина, vypевал «труднейшие итальянские арии с искуснейшими каденциями». Итальянский поэт Джузеппе Бонекки, живший в России, поставлял для Арайи свои либретто, а на русский язык их переводили лучшие мастера — Тредиаковский и Ломоносов, а Сумароков сочинил для Арайи первое оперное либретто на русском языке.

Сумароков был душою русского театра! «Летел из мысли в мысль, бежал из страсти в страсть». В ту пору жизнь еще не успела искалечить этого человека, он бурлил, как кипяток, всюду вмешивался, что-то отстаивал, негодовал, плакал, бил полицию «по мордам», лаялся с вельможами, а театр — обожал:

Ко Мельпомене я в последок обратился,
И, взяв у ней кинжал, к театру я пустился...
Языки чужды нам потребны для тово,
Чтоб мы читали в них, на русском нет чево...

Пылкий патриот, он и стал соратником Арайи в его оперных постановках. Композитор развертывал свои оперы на фоне русского пейзажа, он роднил свою музыку с русской жизнью, такой сумбурной, такой диконеустроенной и в то же время такой бесшабашно-веселой. Сумароков написал либретто для его оперы «Цефал и Прокрис», целиком исполненной только русскими певцами... Это случилось в 1755 году.

Александр Петрович Сумароков ликовал:

— Ну вот тебе и язык русский! По множеству гласных он столь благозвучен, что еще с итальянским может поспорить! Ты гляди, какие рулады выкручивает наш Гаврила!

Успех был велик. «По окончании зингшпиля императрица, весь двор и битком набитый партер хлопали в ладоши. И для вящего изъявления одобрения всех оперистов одарили красивыми материями для новых платьев, а капельмейстера — Арайю — драгоценной соболей шубой и 100 полуимпериялами золотом...»

Сумароков выразил свои восторги памятным мадригалом:

Арайя изъяснил любовны в драме страсти
И общи с Прокрисой Цефаловы напасти
Так сильно, будто бы язык он Руской знал,
Иль паче, будто сам их горестью стонал

...В своем романе «Слово и дело» я уже писал о Франческо Арайе, но теперь испытал желание снова вернуться к его необычной судьбе, досказав ее до конца — до печального бессмертия!

Арайя, спору нет, был талантлив и трудолюбив. Он оставил в наследство оперы, балеты, кантаты, пасторали. Писал сонеты и каприччио. Арии мести. Арии скорби. Арии любви.

Я не знаю, почему в 1759 году он вдруг покинул Россию, чтобы вернуться снова через три года. Престол русский занимала уже Екатерина Великая, которой по причине семейного беспорядка видеть Арайю при себе было не совсем-то приятно. Впрочем, она

возобновила на русской сцене его оперы «Цефал и Прокрис» и «Альцеста».

Но к тому времени Арайя уже простился с Россией...

Странная судьба! Жил у нас, катался на русских рысаках, был сыт русским хлебом, писал музыку в России для России, но мать-Россия его не запомнила, не стала петь его арий.

Франческо Арайя навсегда покинул Россию в 1762 году, но жить ему оставалось недолго. Через пять лет он скончался в Болонье. Вряд ли мы когда-нибудь услышим музыку Арайи по радио, но знать о нем надо. Пусть Арайя останется для нас в своем печальном бессмертии.

Первый университет

Время было лютейшее, ужасающая «бироновщина», хотя сам герцог Бирон менее других повинен в угнетении русского народа. Пушкин верно заметил, что он был немцем, ближе всех стоял к престолу, и потому именно на него сваливали вину за все злодеяния. Между тем в массовых репрессиях той поры виновата была сама императрица, подлинно «кровавая героиня» дома Романовых, пощады не ведавшая, а главным палачом состоял при ней не германец, а чистокровный русский — Андрей Иванович Ушаков.

По указу царицы со всей России везли ко двору дур и дураков, уродов и помешанных, просто говорливых баб-сплетниц. От них Анна Иоанновна получала ту полезную «информацию» о жизни народа, которым она управляла. Впрочем, не отвергая науку, однажды она через телескоп наблюдала за движением планеты Сатурн, ибо верила в астрологию. Когда же царица шествовала в храм ради молитвы, титулованные потомки Рюрика сидели на лукошках с сырыми яйцами, они и кукарекали ей, они ей и кудахтали...

В конце 1734 года место президента в Академии наук оказалось «упалое» (то есть вакантное). До царицы дошло, что ученые очень боятся, как бы власть не забрал секретарь Данила Шумахер, и она вызвала к себе барона Иоганна-Альбрехта Корфа.

— Вот ты и усмири... науку-то! — сказала императрица. — О президентстве забудь и думать. Ежели в Академии ученые палками дерутся и все зеркала побили, так наказываю тебе быть при науках в ранге «главного командира», дабы всем ученым дуракам страху нагнать поболее...

Корф был ворчун. Иногда он высказывал такие крамольные мысли, за которые, будь он русским, его бы сразу отвели к Ушакову на живодерню. Корф не был похож на пришлых искателей удачи, а русских не считал «варварами». При дворе с ужасом говорили, что барон все деньги тратит на приобретение редких книг, в Швеции он не побоялся читать даже «Библию Дьявола», прикованную к стене цепью, которую с трудом поднимали шесть человек...

«Главный командир» Академии вольнодумствовал.

— Странные дела творятся в науках, — говорил он друзьям. — Ученые Парижа считают, что Земля удлинена в своих полюсах, подобно яйцу куриному, а в Лондоне доказывают, что Господь Бог расплющил ее, словно тыкву. Мне же хочется думать, что она круглая, как тарелка, и я верю в ее вращение...

Корф сразу заметил, что гимназия при Академии наук пустует, ибо все ученики ее разбежались, иных видели на паперти столичных храмов, где они Христа ради просили милостыньку. Пойманные с поличным, школяры горько плакали:

— Да вить с голоду-то кому умирать охота?..

Корф распорядился, чтобы по всей России объявили «розыск» острых умом юношей, пригодных для того, дабы науки осваивать. Такой указ получил и Стефан Калиновский, ректор Заиконоспасской академии в Москве, и он даже растерялся:

— Господи! Да где я двадцать остроумных сыщу, ежели студенты мои по базарам шляются, едино о щах с кашей думают. Которыми были у меня остроумны, тех по госпиталям пристроили, чтобы они естество человеческое показывали...

Среди избранных для учебы в столице оказался и некий Михайла Ломоносов. Ректор глянул на парня и сказал:

— Эка ты, дылда, вымахал! Сбирайся в дорогу до Питерсбурха, там у тебя остроумие развивать станут...

В декабре 1735 года явился грозный прапорщик Попов:

— Которей тута для ученья отобраны, теих забираю с собой. Оденьтесь потеплее, дабы в дороге не дрогнуть...

Среди счастливцев был и Дмитрий Виноградов.

— Митька, — сказал ему Ломоносов, садясь в санки, — а не забьют нас там, при Академии? Говорят, в тайной столичной «ди-кастерии» начальник ее Ушаков сильно лютует.

— Хоть бы кормили, и то ладно, — отвечал Виноградов...

Ехали учиться 12 студентов, из них только двое выбились в науку, остальные же, как писал Ломоносов, «без презрения и доброго смотрения, будучи в уничтожении, от уныния и отчаяния опустились в подлость и тем потеряны...» Потеряться в те времена было легко, а вот найти себя — трудно!

В день 1 января, когда Россия вступала в новый 1736 год, перед студентами взвизгнул шлагбаум, осыпая с бревна лежалый снег, и перед юношами открылась столица... Из домовых окон желто и мутно проливался свет, фонари зябко помаргивали, слезясь по столбам конопляным маслом. Кони вынесли их к Неве...

— Эвон, Академья-то ваша, — показал vareжкой Попов.

Город, в котором жил и творил великий Тредиаковский, был наполнен всякими чудесами. В лавке академической Ломоносов купил книгу Тредиаковского о правилах русского стихосложения.

— Не! — сказал он себе после прочтения. — Эдак далече не ускачешь. Уж я попробую сотворить, но иным маниром...

На обзаведение школяров Корф выделил сто рублей.

— Я для них столы уже купил, — похвастал Шумахер.

— А сколько стоит кровать? — спросил барон.

— Тринадцать копеек.

— Вот видите, как дешево. А я целых сто рублей отпустил. Там у нашего эконома Фельтена еще куча денег останется.

— С чего бы им остаться? — кротко вздохнул Шумахер.

— Можно, — размечтался барон, — сапоги и туфли пошить для школяров. Чулки купить гарусные. И шерстяные, чтобы не мерзли. Гребни костяные — насекомых вычесывать. Ваксу, дабы сапоги свои чистили... От ста рублей много еще денег останется!

— Да не останется! — заверил его Шумахер.

Тут Корф догадался, что деньгам уже пришел конец.

— Послушайте, — заявил он Шумахеру, отвесив ему пощечину, — я не великий Леонардо Эйлер, но до ста умею считать и любого вора от честного человека отличить сумею...

Студенты пока не жаловались, до ушей барона бурчание их животов не доходило. Зато у Шумахера слух оказался острым:

— Вижу, что вам не сладкий нектар наук надобен, а каша... Проконий Шишкарев, это ты кричал, будто я вас обкрадываю?

Шишкарев был разложен на лавке и бит батогами. Начиналось развитие «остроумия». Затем было велено Алешку Барсова «высечь при общем собрании обретающихся при Академии учеников...» Высекли! До чего же сладок оказался нектар науки. Ломоносов оставался небитым. Не об этом ли времени он писал позже:

Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой...

Корф заранее списался с берг-физиком Иоганном Генкелем, жившим во Фрейберге, чтобы тот взялся обучать русских школяров химии и металлургии. Генкель ответил, что за деньги любого дурака

обучить согласен. Но лучше прислать таковых, кои в латыни и немецком языках разбираются. Корф отобрал для учения в Германии поповича Дмитрия Виноградова и Михаила Ломоносова, сына крестьянского, указав им срочно учиться немецкому языку. К ним приставили третьего студента — москвича Густава (Евстафия) Райзера, сына горного инженера... Вот его отец, Винцент Райзер, и навестил Корфа в его палатах, оснащенных шкафами библиотеки, составленной из 36 000 томов.

— Барон, — сказал Райзер, — я старый бергмейстер, и я знаю, что Генкель в горных науках разбирается, как свинья в аптеке. Не лучше ли было бы наших студентов послать сначала в Марбург, где парит высоким разумом знаменитый философ Христиан Вольф... Вольф к русским относится хорошо, еще при Петре Великом он приложил немало стараний, дабы в России завели Академию наук.

Корф согласился — пусть едут сначала в Марбург.

Он сам вышел проститься с отъезжающими студентами.

— Конечно, наша Академия будет посылать вам деньги. Но если немцы в Марбурге предложат вам платить за обучение танцами, вы откажитесь, ибо для развития химии в России танцевать необязательно. Я слышан, каковы нравы тамошних студентов, а потому бойтесь главных причин человеческой глупости — женщин, вина, табака и пива!.. Я верю, — продолжал Корф, — что вас ждет великое будущее. Кто-либо из вас троих да будет навеки прославлен. Возможно, это будете вы, — повернулся он к Райзеру (который стал в России горным инженером, как и отец его). — Надеюсь и на вас, сударь, — обратился Корф к Виноградову (который открыл «китайский секрет» и создал русский фарфор). — Может, повезет и... вам! — неуверенно произнес барон Корф, с усмешкою оглядев Ломоносова, слушавшего его с большим вниманием...

Ветер наполнил корабельные паруса, и осенью 1736 года они были уже в Любеке, откуда прибыли в Марбург, где их душевно приветствовал сам Христиан Вольф; в Марбурге учились еще два

русских лифляндца — барон Отто Фиттингоф и Александр фон Эссен (оба уроженца нынешней Латвии). Университет Марбурга уже отметил свое 200-летие; русские юноши получили студенческие матрикулы, в которых указывались им правила поведения, идущие от традиций мрачного Средневековья: страх божий есть начало премудрости, нельзя заниматься колдовством и волшебничать, ни в коем случае не плясать на чужих свадьбах, в ночное время не шляться по улицам, укрывая лица черными масками...

Для русских все это было чуждо и внове! После Москвы с ее простонародными нравами, после блеска русской столицы Марбург показался глухой провинцией. Узенькие улочки, плотно стиснутые дома в древней плесени; горожане гордились тем, что когда-то сам буйный Лютер бывал в Марбурге, рассуждая о таинствах святой Евхаристии... Христиан Вольф обладал тогда гигантской славой, а русских он поучал смирению.

— Посмотрите на меня! — призывал он. — Прусский король изгнал меня из Берлина под страхом виселицы, но разве я потерял к нему уважение? Нет. Учитесь и вы почитать вышестоящих, ибо так повелел Всевышний. Мы, — утверждал Вольф, — живем в самое прекрасное время, живем в самом лучшем из миров, и скоро вы сами убедитесь в чудесной гармонии мира, где все идет к лучшему... Когда вы поедаете мясо животных, то благодарите небеса за то, что вы не животные, обреченные на съедение!

Вольф видел гармонию даже в скрипении королевских виселиц, а «самый лучший из миров» состоял из богатых и нищих, где богатый пожирал бедного, словно мясо. Корф недаром предупреждал о соблюдении нравственности. Академик М.И. Сухомлинов писал, что немецкие студенты тогда «шумными ватагами ходили по городу, врываются в церкви во время свадеб и похорон, громили купеческие лавки и винные погреба, пакостили синагоги, разбивали окна в домах». Процветали тайные корпорации «срамников», члены которых давали клятву: никогда не мыться, в общественных местах портить воздух и всюду

учинять самые гнусные мерзости, на какие только способен человек. Недаром же Фридрих Энгельс писал, что прошлая Германия — «только навозная куча, но они (немецкие обыватели) хорошо чувствовали себя в этой грязи, потому что сами были навозом... Это была одна гнилая и разлагающаяся масса...» Конечно, после тихой, чистоплотной и патриархальной Москвы русские студенты выглядели святошами.

Христиан Вольф, дурной философ, был отлично образован во всех других науках, и, пока не касался всеобщей «гармонии», он был блистательным знатоком технических материй. Его высокая мораль, мировой авторитет, колоссальные познания действовали на молодежь заразительно. На лекциях Вольфа ловили не только его слова; студенты отмечали в своих конспектах: здесь господин профессор изволил засмеяться, а тут он смахнул слезу. Вольф читал в университете лекции по 16 наукам сразу, начиная с высшей математики и кончая комментариями к сочинениям Гуго Греция о праве войны и мира. Райзер, Фиттингоф, Эссен с колыбели владели немецким языком, и Вольф озабоченно спрашивал:

— А вы, господин Виноградов, вы, господин Ломоносов, вам не трудно ли понимать мои уроки, прочтенные на немецком?

Они его уже понимали. Ломоносов осваивал даже французский, а без немецкого было просто не обойтись. Дело в том, что его поселили в доме вдовы марбургского пивовара Цильха, дочь которого Елизавета-Христина вызвала в холмогорском увальне самые нежные чувства. В таких делах, как любовные излияния, без хорошего знания языка не обойдешься. Обычно у нас пишут, что русские студенты, поддавшись соблазнам вольности, много кутили, отчего и нуждались в деньгах. Но это несправедливо. Конечно, им не хотелось ходить в прежнем затрапезе, они завели себе парики, кружева для манжет, шеголяли в шелковых чулках. Шпага тоже нужна — появься студент на улице Марбурга без шпаги на боку, и его штрафовали в целый гульден. Нужда русских студентов объяснялась чем угодно, но только не кутежами.

Лучше поверим немцу Пюттеру, который жил рядом с Ломоносовым, хорошо изучив его привычки. Все свои деньги Ломоносов расходовал на книги, платил фрау Цильх за стол и квартиру. Скромный в быту, он, по словам Пюттера, вел размеренный образ жизни, без излишеств: его завтрак состоял «из нескольких селедок и доброй порции пива». Селедка же в те времена была пищею бедняков! Пюттер писал, что скоро «сумел оценить как его прилежание, так и силу суждений и образ мыслей...». Тогда все вокруг дрались, но Ломоносов драк избегал, а если бурши задирали русского «дикаря», Ломоносов стелил всех кулаком в ухо — наповал. Христиан Вольф ведал о нуждах русских питомцев, он выгораживал их в письмах к русской Академии, ссужал в долг Ломоносову и другим.

— Вся ваша беда в том, что вы, русские, слишком доверчивы, — рассуждал Вольф. — Когда вы займствуете деньги у меня, это для вас неопасно: ваша Академия «десиянс» со мною расплатится. Но зачем вы доверились наглým ростовщикам, которые теперь будут побирать с вас бешеные проценты?

— Что же делать? — приуныл Ломоносов.

— Буду писать барону Корфу...

Больше всех задолжал Фитгингоф, а меньше всех набрал долгов бережливый Райзер. Корф в Петербурге прочел сообщение Вольфа: «Я, право, не знаю, как спасти их из этого омута, в который они сами безрассудно кинулись», — говорилось о долгах ростовщикам Марбурга. Корф брякнул в колоколец, вызывая Шумахера:

— Распорядитесь о переводе денег господину Вольфу, дабы он рассчитался за студентов с марбургскими кредиторами.

— Да нету в Академии денег, — отвечал Шумахер.

— Однако вы нашли тысячу рублей, дабы прекрасным фейерверком отметить победы армии графа Миниха над турками...

Накануне этих грозных и далеких от «остроумия» событий хлопотливая Елизавета-Христина Цильх увидела русского постояльца плачущим. Она поставила кружку с пивом на стол и подошла к нему.

Ломоносов смотрел в окно, а там на фоне черневшего к ночи неба будто гигантский павлин распахнул свой дивный хвост.

— Ты плачешь? — спросила девушка.

— Плачу. Смотри сама. Даже сюда, в пределы германского Гесена, дошло мое родное северное сияние, по-латыни всеми учеными людьми прозываемое «Аврора Бореалис»...

Фрейлен Цильх взялась наводить порядок на его столе, заваленном конспектами лекций и стихами, стихами, стихами...

Елизавета-Христина показала на одну из строчек:

— Прочти мне ее по-русски, — попросила она.

— РВУ ЦВЕТЫ ПОД ОБЛАКАМИ, — отвечал Ломоносов.

После этих слов он расцеловал дочь пивовара.

«Более всего, — докладывал Христиан Вольф барону Корфу, — я полагаюсь на успехи г-на Ломоносова... молодой человек преимущественного остроумия... не сомневаюсь, чтобы возвратился в отечество, не принес пользы, чего (ему) от сердца и желаю...»

Заканчивались последние лекции в Марбурге.

— Скажите, господин тайный советник, — спросил Фиттингоф у Вольфа, — есть ли у блохи кожа?

— Несомненно, — отвечал Вольф, — но из блошиной шкуры нам не сделать подметок, ибо она слишком нежна и порвется. Потому люди блох не щадят и легко давят между ногтями пальцев.

— Благодарю, господин советник, — поклонился Фиттингоф...

В феврале 1739 года студент Михаила Ломоносов женился на прекрасной дочери марбургского пивовара. О том, что он женат, в Петербурге долго не знали, да и сам Ломоносов, по договоренности с женою, скрывал это.

Вольф считал, что подготовка русских студентов в теории им завершена, теперь они нуждаются в хорошей практике. Барон Корф распорядился: отправить «руссов» в город Фрейберг, саксонскую столицу горного дела, где их ученье продолжит известный берг-физик Генкель. Настал день разлуки. Христиан Вольф сам проводил

своих питомцев в дорогу. С бережливостью порядочного немца он выделил каждому по четыре луидора, но только в тот момент, когда они садились в карету. «При этом, — докладывал он Корфу, — особенно Ломоносов, от горя и слез, не мог промолвить ни слова». Наверное, он горевал не только из-за разлуки с Вольфом, но думал о жене, которую оставлял в неизвестности будущего.

— Прощайте! — И сытые кони сразу взяли в карьер...

Русские студенты еще находились в пути, а на стенах домов Фрейберга магистрат уже развесил строгие объявления, чтобы никто из горожан не давал им в долг даже пфеннига, ибо Россия некредитоспособна оплачивать их долги.

Иоганн Генкель заверил магистрат в своей скупости:

— Я не Христиан Вольф, который потворствовал этим дикарям в их разгулах. Я ученый наук практических, и от меня русские каждый грошик станут добывать с кровью из носа...

Слово свое он сдержал! Когда три студента прибыли в славный Фрейберг, Генкель отсчитал для каждого десять талеров:

— Это вам на бумагу с чернилами, на пудру и на мыло. Выкручивайтесь как угодно, но два года учебы под моим начальством вы обязаны перебиваться как знаете...

Если в Петербурге студентов обворовывал Шумахер, то здесь главным вором был сам Генкель. В это же время Фрейберг посетил русский академик Готтлоб Юнкер, изучавший соляное дело, ибо русские люди в соли всегда нуждались, а соляные копи Бахмута не могли разрешить соляной проблемы. Толковый и знающий человек, Юнкер охотно сошелся с русскими студентами. Поговорив с ними, он доложил в Петербург, что умнее всех оказался конечно же немец Райзер, затем неплох Ломоносов, а Митьку Виноградова он задвинул на последнее место. Юнкер увлеченно рассказывал студентам о походах русской армии против крымского хана; сам же он состоял историографом при фельдмаршале Минихе; оды Юнкера в честь герцога Бирона издавались тогда в самых роскошных переплетах,

а вместо гонорара он получил камзол, обшитый серебряным позументом. Так что это был человек со связями.

Иоганн Генкель терпеливо выслушал его упреки:

— Вы посмотрите на русских студентов. Это же — оборванцы! Желая, чтобы вы пошили для них приличное платье...

Генкель скрепя сердце отсчитал Райзеру и Виноградову деньги за покупку сукна и приклада для новой одежды. Потом он придиричливо оглядел верзилу Ломоносова:

— На такого большого шить — сразу разоришься! Ничего. Походи так. Только на локтях заплатки поставь...

Но скоро Юнкер обратил на Ломоносова особое внимание, ибо, сам будучи поэтом, он любезно приветствовал поэта, еще никому не известного, но уже осмелившегося критиковать тогдашнее светило русской поэзии — Василия Тредиаковского.

— Так ему, дураку, и надо! — сказал Юнкер, остро завидуя громкой славе Тредиаковского. — А вы пишете, мой друг. Не стесняйтесь. Ваши стихи надобно бы показать в Петербурге. Может быть, они удостоятся внимания не только секретаря Данилы Шумахера, но даже... даже... мне страшно сказать!

— Скажите, — поклонился ему Ломоносов.

— Даже самой императрицы Анны Иоанновны... вот как!

Русская литература может сказать Юнкеру спасибо. Он разглядел талант в этом нескладном парне, а его рассказы о подвигах русской армии в знойном пекле южных степей оказались для Ломоносова полезны. Зато вот Генкелю мы «спасибо» не скажем. Это был не только педант, но и графоман, возомнивший себя великим ученым. Бывший аптекарь, он умел только хапать деньги, а вот дать студентам знания не умел. Академик В.И. Вернадский писал об этом пройдохе: «Генкель был химик старого склада, без следа оригинальной мысли, даже суеверным... полное непонимание всего нового или возвышающегося над обычным — таковы его характерные черты». Ломоносов, к своему удивлению, обнаружил, что из Марбурга он

вывез познаний и опыта гораздо больше, нежели их было у самого Генкеля. Вот еще одно авторитетное мнение ученого Б.Н. Меншуткина: «Ломоносов как бы попал в среду, которая была живой еще 50 лет назад... он сразу окунулся в затхлую атмосферу ученого ремесленника, давно ушедшего от научной работы». Но зато этот берг-физик Саксонского королевства оказался ловким шпионом, и скоро в Петербурге проведали от Генкеля, что Ломоносов ведет «подозрительную переписку» с Марбургом, у него в голове только крепкое пиво и толстые девицы...

Ломоносов произнес страшное саксонское ругательство:

— Но! — что по-русски означало: «собачья нога». — Генкель чересчур важничает, а всю науку разложил по своим полочкам, как штанглы в аптеке. Он судит о процессах в природе, о каких известно любому школяру, а если что у него спросишь, он отводит меня в угол и шепчет на ухо: «Увы, но это тайна Саксонского королевства...» Да я, — продолжал Ломоносов, — лучше полезу в шахту с киркой и лопатой, мне там любой старый штейгер расскажет о рудах больше этого старого дурака Генкеля...

Была молодость, была любовь, случались и праздники! Шахтеры приветствовали своего русского собрата:

— Оса! — В этом «глюкауф» заключались все страхи подземной жизни, все надежды на то, чтобы живыми выбраться из глубин земли и снова увидеть озаренное звездами небо...

Пылали в ночи, как факелы, плавильные печи. Из недр выходили рудокопы с лампочками. Они строились в шеренги, нерушимой фалангой текли по улицам древнего Фрейберга, их шаг был тяжел и жесток. В линии огней, принесенных ими из горных глубин, мелькали белки глаз, видевших преисподнюю тверди. Возглавлял шествие рудоискатель с волшебной вилкой — ивовым прутиком, на конце расщепленным. Торжественно выступали, одетые в черный бархат, мастера дел подземных — бергмейстеры и шихтмейстеры. Пламя факелов освещало подносы, на которых шахтеры несли богатство

земли человеческой. Между горок серебра и меди, руд оловянных и свинцовых высились пирамиды светлого асбеста. И не боевые штандарты несли шахтеры на свой праздник, а несли купоросное масло в громадных бутылках. Ликующе звенели над Фрейбергом цитры и триангели. На дверях домов, даже на могилах кладбищенских — всюду увидишь, как гербы, шахтерские кирки, скрещенные с ломами: это — священные символы их каторжного труда.

— Оса! — кричал Ломоносов заодно с шахтерами...

Вместе с друзьями, Евстафием и Митькой, он сам работал в забоях рудников, называемых красноречиво: «Божье благословение», «Коровья шахта», «Земля обетованная» или — даже так! — «Два часа ходьбы от Фрейберга». Но жить становилось день ото дня все труднее: Генкель мурыжил их затверженными истинами, хамил, где мог, кричал, словно капрал на новобранцев. Немецкие студенты за курс учебы платили ему сто рейхсталеров, зато с русских он драл по 333 рейхсталера. Нужда заела, одежка сносилась. Генкель сжалился, выдал Ломоносову талеров, чтобы купил себе пару башмаков и две холщовые рубашки. Но этого было мало.

— Я добавлю грошей, — согласился Генкель, — при условии, что в лавке вы купите мои научные сочинения, слава о мудрости которых дошла даже до голых дикарей Патагонии...

Если Христиан Вольф выкладывал деньги из своего кармана, дабы помочь русским студентам, то Генкель все деньги, присылаемые из Петербурга, клал в свой карман и при этом мелочно, как базарный торгаш, доказывал барону Корфу, что русские с их гомерическим аппетитом его разорили. Однако во Фрейберге хлеб, масло и сыр только снились студентам.

— Ешьте суп, — убеждал их Генкель. — Суп — это великое изобретение германской кухни, и суп заменит вам все...

Ломоносов известил самого Шумахера. «Мы принуждены были раз по десяти к нему ходить, чтобы хоть что-нибудь себе выклянчить. При этом он каждый раз по полчаса читал нам проповеди, с кислым

лицом говоря, что у него нет денег... а сам (как я узнал) на наши же деньги покупал пай в рудниках и получал барыши», богатея с рудничных доходов и спекуляций. Ломоносов, отказывая себе даже в супе, платил еще по два гроша городскому магистру, чтобы позволил читать «Галльскую газету». Магистр видел его нищету и голь, но даром читать газету не давал:

— Сначала плати гроши, а потом читай...

Конфликт с Генкелем был неизбежен. Чтобы смирить непокорного Ломоносова, Генкель все чаще заставлял его растирать сулему, вонища которой была невыносима. Когда подмастерья растирали краски для Тициана или Рафаэля, то они гордились своей работой, ибо служили гениям, а дышать зловонием во славу Генкеля?

— Нет уж! — сказал Ломоносов. — Пусть он сам нюхает...

Два гроша за чтение французской газеты Ломоносов платил не напрасно: в сентябре 1739 года вся Европа бурлила, взволнованная известием: русские войска взяли неприступную крепость Хотин, их боевые трофеи неисчислимы: сам трехбунчужный Колчак-паша сложил саблю к ботфортам Миниха, признав свое поражение.

Михайла Васильевич испытал внезапный восторг...

Задумавшись, он резко отодвинул от себя ненавистную сулему. В проеме окна ему виделся чужой город. Большие рыжие кошки шлялись по крутым черепичным крышам Фрейберга и не боялись свалиться. Ломоносов смотрел на них, но думал о своем. Он отлично понимал, что значит для России геройское взятие Хотина.

Сами собой, будто нечаянно, сложились первые строки:

Восторг внезапный ум пленил —
Ведет наверх горы высокой,
Где ветер в лесах шуметь забыл...

— Мишка, ты куда? — окликнул его Виноградов.

— Мне сейчас не мешай. Пойду...

На улицах он рассеянно задевал прохожих и лотки торговок, с которых местные девицы раскупали сверкающие минералы для украшений. Только бы не расплескать восторг понапрасну в толпе горожан. Ломоносов был углублен в самого себя:

Не Пинд ли под ногами зрю?
Я слышу чистых сестр музыку!
Пермесским жаром я горю,
Теку поспешно к оных лику...

Лишь бы не угасли в памяти эти строчки. Только бы донести сосуд поэзии, уже переполненный, до своего стола:

Златой уже денницы перст
Завесу света вскрыл с звездами;
От востока скачет по сту верст,
Пуская искры, конь ноздрями...

Дома его ожидала недописанная диссертация на тему о физике, но Ломоносов отодвинул ее — с такой же легкостью, с какой отбросил от себя и банку с сулемой. Сейчас не до физики! Его пленял восторг внезапный — восторг поэтический!

Виделись ему горы под Ставучанами, на которые ломались несокрушимые каре непобедимой российской армии... Славянское солнце стояло в этом году высоко! Выше... выше — выше! Чтобы рвать цветы в облаках... Ломоносов штурмовал высоты парнасские, как солдаты штурмовали стены хотинские. Он писал оду — «Оду на взятие Хотина», но писал ее совсем не так, как писали стихи до него другие поэты.

Отныне зачиналась новая поэзия России:

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук славянской оды
Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.

Через воинскую победу, гордый за свое отечество Михаила Ломоносов выковал для себя победу поэтическую. Он прочел стихи академику Юнкеру, и тот сразу же сказал:

— Давайте мне свою оду. Я отъезжаю в Петербург...

На курьерских лошадях ода Ломоносова мчалась в Россию. Вместе с одой в столицу пришло и письмо Ломоносова «О правилах российского стихотворства». В этом письме молодой поэт бросал рыцарскую перчатку Тредиаковскому, вызывая его для поединка на турнире поэтическом...

А вскоре из Марбурга пришло известие: Елизавета-Христина Цильх, его тайная жена, принесла ему девочку.

Ломоносов в волнении небывалом выбежал на площадь Фрейберга, близкую к часу вечернему. Молчаливые женщины наполняли водою кувшины из фонтанов. Из-под Донатских ворот, от шахты «Божье благословение», возвращались в свои предместья измученные рудокопы. Они снимали шляпы, приветствуя прохожих, и те отвечали им обычным поздравлением.

— Глюкауф! — говорил шахтерам и Ломоносов...

Он желал им благополучных подъемов из недр к солнцу. И они отвечали ему тем же словом, как бы советуя подняться еще выше.

Высокие горы окружали старинный Фрейберг. Высокие горы окружали и Хотинскую крепость. Высокие истины предстояло еще доказывать. Приходилось штурмовать. Иначе нельзя.

Будем учиться побеждать!

Люди, хоть изредка вспоминайте о Хотине...

Вот уж не думал Ломоносов, что, сочинив свою оду, подрубит сук, на котором сидел, распевая вдохновенно, Василий Тредиаковский...

Молния, сверкнувшая под Хотинном, блеснула над Фрейбергом, а в Петербурге она жарко опалила крылья Третьяковского. Начиная закат его славы — так солнце, восходя, всегда свет луны затмевает. Ломоносовские стихи были написаны ямбом четырехстопным, и это казалось столь необычно для привычного слуха, что стихи Ломоносова стали в копиях по рукам ходить.

Третьяковский к чужой славе горячо ревновал.

— Чему радуется, глупни? — говорил он. — Ямб четырехстопный противен слуху российскому. А мой способ писания есть самый лучший. Я же и утвердил его в поэтике русской...

Сначала, как и водится среди поэтов, Третьяковский накатил на Ломоносова злодейскую эпиграмму. Малость отлегло от сердца. Затем он принес на Ломоносова «жалобу» в Академию наук:

— Кто знает вашего Ломоносова? Он делам горным учится, а в поэзии я самый главный, и поношение чести не потерплю...

Скупердяй — тот за одну копейку удавится.

Поэт — согласен удавиться за единое слово.

Но тут в судьбу поэта вмешался Данила Шумахер:

— Ода-то Ломоносова на имя государыни представлена. Ты сам-то соображаешь, к чему твои возражения привести могут? Или позабыл, каков кнут имеет Андрей Иванович Ушаков...

Оду Ломоносова в Академии изучали. «Мы, — писал академик Штелин, — были очень удивлены таким еще небывалым в русском языке размером стихов... все читали ее, удивлялись». Напрасно Третьяковский умолял принять ею «жалобу». Шумахер ответил:

— А куда нам ее? Или отправить самому Ломоносову во Фрейберг? Так денег на почтовые расходы в Академии нету...

А события во Фрейберге шли своим чередом. Ломоносов, потеряв терпение, начал бушевать, требуя от Генкеля сущей ерунды — честности! Генкель бестрепетно отписывал в Петербург, что Ломоносов опять скандалит. Отчитываясь перед Академией, Ломоносов не щадил Генкеля: «Я же не хотел бы променять на его свои, хотя и

малые, но основательные знания, и не вижу причины, почему мне его почитать путеводной звездой...»

Была уже весна 1740 года, когда вся русская троица явилась на дом к Генкелю. Ломоносов не за себя просил, а за Райзера и Виноградова, чтобы Генкель не скрывал от них жалованья. На это достопочтенный профессор показал им фигу.

— Даже если на улицах попрошайничать станете, — были его слова, — я ни единого грошика вам не уступлю...

После такого посула он набросился на студентов с кулаками. При этом кричал, что все русские — рабители:

— Разорили меня совсем! Ваша царица богата, и мне известно, что она может платить за вас, дураков, еще больше... А тебя, Ломоносов, ждет прямая дорога — в солдаты!

У себя дома Ломоносов впал в бешенство. Окно на улицу было открыто, даже прохожие останавливались, чтобы послушать, как русский студент обзывает Генкеля «собачьей ногой».

— Ломоносов, — жаловался Генкель, — столь дерзостен, что ругал меня именно в тот момент, когда по улице проходил капрал, а из окна соседнего дома выглядывал ветеран-полковник...

Ломоносов в ключья разодрал все «научные» труды Генкеля, а сам без гроша в кармане покинул Фрейберг, унося с собой только пробирные весы с гирьками, ибо без таких весов немислимо заниматься химией. Он надеялся застать русского посла на ярмарке в Лейпциге, но посол выехал в Кассель. Делать нечего, а в ногах тоже есть правда: пошагал Ломоносов в Кассель, где посла тоже не мог сыскать. Давно и обостренно тосковал он по родине, но все-таки завернул в Марбург, где оформил тайный брак с Елизаветой-Христиной. Семья пивовара не обладала достатком, сидеть же на хлебах своей тещи Ломоносов не пожелал. Решил вернуться в Россию, а там... что будет, того не миновать! И пошел через всю Германию в Гаагу, опять пешком — так птица-дергач, когда другие летят, пешком возвращается в места родимых гнездовий.

В пути ему встретился калека — без ушей и без носа. Ломоносов разломил краюху хлеба, поделившись с несчастным:

— Отчего тебя так обкорнали? Уж не вор ли ты?

Инвалид сказал, что невольно служил королям прусским, заодно преподавал Ломоносову толковый урок осторожности:

— Ты парень здоровый, за такими-то в Германии охотятся. По землям немецким ходи с опаскою, и сам не заметишь, как проснешься в Потсдаме от палки капрала... Глянь на меня!

— Да вижу, что уродом оставили.

— Это в Потсдаме! За частые побеги мои. Отрезали нос и уши, двадцать лет в тюрьме Шпандау сидел. А когда кровью ходить стал, меня выпустили — иди, мол, куда знаешь...

Где пешком, а где присаживаясь на запятки карет, даже на барке по течению Рейна — так Ломоносов добрался до Гааги, где и заявил послу графу Головкину, что желает вернуться на родину. Головкин, вельможа знатный, свысока ему ответил:

— Премного наслышан о ваших дерзостях! Да будет вам ведомо, что барона Корфа ныне в Академии уже нет, его заместили Карлом фон Бреверном, который указал вас сыскивать...

«Граф совсем отказал мне в помощи, — вспоминал Ломоносов. — Затем я отправился в Амстердам и нашел здесь несколько знакомых купцов из Архангельска, которые мне совершенно отсоветовали без приказанья в Петербург возвращаться... потому я опять должен был возвратиться в Германию». По дороге в Дюссельдорф Ломоносов остановился ради ночлега на постоялом дворе; был он голоден, но грошей хватало только на одну кружку пива. За соседним же столом весело пировали люди в компании офицера. Этот офицер сначала внимательно оглядел могучую статью Ломоносова, затем сам подошел с улыбкой, пригласил поужинать.

— Да у меня и грошей нету, — отвечал Ломоносов.

— Не беда! — хохотал офицер. — Зато у нас полно талеров, есть даже саксонские гульдены. Иди к нам ради веселья!

Ломоносова встретили за столом, как друга, от души потчевали, подливали ему вина. Очнулся Ломоносов в казарме, а на шее у него болтался красный галстук прусского новобранца. Невольно вспомнил калеку без ушей и без носа, стал галстук отвязывать. Но тут вошел вчерашний офицер — с поздравлением:

— Ты молодец, что от службы королям Пруссии не отказываешься. И пяти лет не пройдет, как станешь капралом.

— Да я русский, я берлинским королям не слуга!

— Тогда, — отвечал офицер, — пошарь в своих карманах...

Из карманов вдруг посыпались прусские талеры.

— Что? Попался, свинья худая? Или забыл, что вчера задаток брал и пил за честь полка королевских гусар?

Тут Ломоносов понял, что надо спасаться.

— Вот какая удача мне выпала! — заорал он. — Да я и не мечтал о такой чести, чтобы гусаром в Потсдаме быть...

Всех рекрутов под конвоем отвезли в крепость Везель. Многие новобранцы рыдали, а Ломоносов больше всех радовался, внешне показывая капралам, как он доволен судьбой солдата. Однако немецких рекрутов разместили в Везеле по частным квартирам, а его, русского, оставили в караульне крепости — ради присмотра. Днями, когда стражи играли в карты, Ломоносов приучил себя спать, чтобы к вечеру бывать бодрым. Промашки в таком деле допустить нельзя, ибо без ушей и без носа жить плохо... Однажды после полуночи он тихо встал. Караульня крепости была наполнена храпением спящих. Дымно чадил фитиль в плошке, освещая грязные стены, по которым маршировали отважные легионы непобедимых прусских клопов. Ломоносов вылез через окно, ползком, как ящерица, миновал дремлющих часовых. Перемахнул через крепостной вал, а там — ров, наполненный затхлой водой. Переплыл его! Перед ним чернел высокий частокол гласиса. Перемахнул через него! Впереди лежало чистое поле... Он еще не успел удалиться от Везеля, когда со стороны крепости бабахнула сигнальная пушка.

— Господи, помоги. — И Ломоносов побежал...

Бежал всю ночь, бежал из Пруссии до самой границы Вестфалии, а за ним, преследуя его, стучали копыта лошадей: погоня! Ломоносов укрылся в лесу, и только в Вестфалии выбрался на дорогу. У шлагбаума его окликнули недреманные стражники:

— Эй! Кто такой? Куда путь держишь?

— Да студент я бедный, — отвечал Ломоносов. — Загулял по трактирам. Вишь, и галстука нет, все с себя пропил.

— Ну иди, коли так. Учись далее, будь умнее...

Скоро Академия наук в Петербурге получила от него письмо. «В настоящее время, — писал Ломоносов, — я живу инкогнито в Марбурге у своих приятелей и упражняюсь в алгебре, намереваясь одну к теоретической химии и физике применить. Утешаю себя пока тем, что мне удалось в знаменитых городах побывать». Карл Бреверн, глава Академии, вызвал секретаря Шумахера:

— Послушайте, сколько же будет Ломоносов болтаться по Германии как неприкаянный? Составьте отношение для наших послов в Европе, чтобы помогли ему. Наконец сыщите для него толику денег, дабы он мог домой выбраться.

Через Христиана Вольфа, жившего в Галле, был получен вексель на сто рублей, и Ломоносову было велено плыть в Петербург — сразу же, как откроется навигация на морях. Ломоносов расквитался с долгами в Марбурге, а жене своей наказал:

— Не плачь! Не бегу я от тебя, а лишь покидаю на время. Ты даже не пиши мне, пока не устрою своего будущего, ибо одной коркой хлеба мы, дорогая, сыты не будем.

Был жаркий июль 1741 года, когда Ломоносов вернулся на родину, с замиранием сердца ступил на родную землю. Петербург его досыпал утренние часы, за крышами Двенадцати коллегий крутились крылья ветряных мельниц, паслись козы на травке, а зевающие кавалеристы вели коней к невшскому водопою.

— Здравствуй, родина! — И очень хотелось плакать...

В это время на Руси случилось критическое «междоусобице», на престоле Романовых оказался ребенок Иоанн, при нем кое-как правила страной беспутная мать, принцесса Анна Леопольдовна, но Академия наук, как и вся Россия, тоже оставалась бесхозной, ибо Бреверна, бывшего приятеля Бирона, удалили, власть над Академией полностью оказалась в руках секретаря Данилы Шумахера. Ломоносову он объявил, что у него уже имеется прочная слава одописца, за что его возведут в звание адъюнкта.

— А для житья выделим тебе две каморки в доме генерала Бона, что на Васильевском острове, где давно живут разные служители от ботаники. Но жалованья ты от меня не жди.

— Вот те раз! — удивился Михайла Васильевич.

— Удивляться не советую. Двор Анны Леопольдовны все деньги себе побрал на забавы, возьми книги в лавке академической, а потом на базаре продай их с выгодой... Все так делают!

Иначе говоря, советовал жить, спекулируя.

Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти,
Их речь полна тщеты, напасти,
Рука их в нас наводит лук...

При Академии встретился ему напыщенный господин.

— Кто он таков, что важнее самого Ньютона?

— Наш коллега Ле-Руа, учивший азбуке детей герцога Бирона, а ныне он вполне научно доказал, что могилу Адама, прародителя нашего, следует искать на острове Цейлон...

Ломоносову для начала поручили разобрать коллекцию минералов. Все разобрал, только один камень был непонятен ему своим происхождением. Об этом он и спросил Шумахера:

— Из какой глубокой шахты его раздобыли?

— О! — закатил глаза Шумахер. — Этот минерал самый драгоценный в собрании Академии. Его обнаружили там, куда ни

один шахтер не рискнет забираться со своей киркой и лопатой. Минерал был удален из правой почки польского короля Яна Собеского...

Ломоносову хотелось выбросить его на помойку:

— Вижу, что наши ученые далеко не чудотворцы...

На престол взошла Елизавета Петровна, не любившая немцев, и, когда Шумахера вывели из Академии под конвоем солдат, яко вора и преступника, Ломоносов не скрывал радости:

— Теперь заживем вольно, всласть поработаем...

Елизавета считала пришлых людей «эmissарями дьявола» и, встретив в бумагах немецкое имя, сразу его вымарывала:

— Впредь на все важные места сажать токмо русских...

Но в карцер посадили самого Ломоносова, а виноватым он себя не считал. Просто в Боновом доме стало ему невмоготу. Там царил особый мир — ботаников и садовников, которые жили меж собою дружной семьей, сообща громили русские квартиры, оскверняли в домах иконы, а заправлял этим разбоем староста евангелической церкви Иоганн Штурм (тоже садовник). Ломоносов осатанел, когда у него с вешалки украли новый камзол, и пошел объясняться с этим вот Штурмом, чтобы его балбесы вернули украденное... Пришел, а там — дым коромыслом, все пьяные; имена их уцелели для русской истории, вот они: Люрсениус, Брашке, Граве, Шмидт, Прейссер, Битнер, какой-то копиист Альбом, а столяр Фриш стал орать:

— Эй, бейте этого дурака, что камзол ищет...

Ломоносов схватил «болван», на котором мастера парики свои распяливали, и пошел этим «болваном» работать справа налево, все гости были им враз повержены, а сам Штурм звал караул:

— Спасите! Моя жена с большим брюхом из окна выскочила...

Ломоносова посадили под арест, но скоро и выпустили, а императрица Елизавета даже обозлилась:

— По мне, так вернее Ягана Штурма выдрать, чтобы камзол Ломоносову вернул, а столяру Фришу и копиисту Альбому надобно всыпать как следует, чтобы себя не забывали...

Ломоносов перевел с немецкого на русский язык пышную оду Юнкера о коронации Елизаветы; на возвращение ее из Москвы в столицу он сам сочинил оду. Но в мае 1743 года Ломоносова снова томили под арестом, лишили его половины жалованья. Ломоносов буйствовал за честь науки, а невежество мстило ему, злобствуя.

— Ученость высоко чту, — утверждал Ломоносов, — но шарлатанов с дураками в науке бил, бью и буду бить...

На теле Ломоносова сохранились следы ранений.

— Меня ведь тоже бивали, — рассказывал он друзьям.

Ломоносов никому спуска не давал, ибо признавал свое превосходство над копошившейся в науке мелюзгой, он буянил ради свершения великих дел, которые предстояло сделать, и он всегда хотел честно трудиться, а эта мелюзга только мешала ему...

Чересчур горько складывались его стихи:

Счастлива жизнь моих врагов!

...То, что Ломоносов свершил для науки, для нас с вами, читатель, слишком известно, и перечислять его труды нет необходимости. Пушкин писал о нем: «Он создал первый университет, он, лучше сказать, сам был первым русским университетом».

Ломоносов — еще до Пушкина — переводил из Горация:

Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди ..
Не вовсе я умру; но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю.

«Рвать цветы в облаках» — это редко кому дается!

Шедевры села Рузаевки

За месяц до Первой мировой войны в Лейпциге открылась всемирная выставка книгопечатного искусства... Сначала я попал в мрачную пещеру, где люди каменного века при свете факелов вырубали на скале сцену охоты на бизона — вернее, *рассказ* об охоте на него, — и мне хотелось снять шляпу: передо мною *первые* писатели нашей планеты. Весело кружилась бумажная мельница Средневековья, все детали в ней (и даже гвозди) собраны из дерева; примитивная машина безжалостно рвала и перемешивала кучу нищенского тряпья, а по ее лотку стекала плотная высокосортная бумага — гораздо лучше той, на которой я сейчас пишу вам... Читатель, надеюсь, уже догадался, что я гуляю по Лейпцигской выставке 1914 года с путеводителем в руках — на то они и существуют, чтобы выставки не умирали в памяти человечества. Ага, вот и русский отдел! Я нашел здесь именно то, что искал. В числе ценнейших уникамов упомянуты и издания Рузаевской типографии.

Теперь закроем каталог и оставим Лейпциг!

Чтобы ощутить привкус эпохи, сразу же пересядем в карету князя Ивана Михайловича Долгорукого, поэта и мемуариста, известного в свете под прозвищем Балкон, который при Екатерине II был пензенским губернатором... Колеса кареты ерзали в колеях проселочных дорог, жена губернатора изнывала от непомерной духоты.

— Ох, как пить хочется... мне бы бокал лимонатису!

Иван Михайлович, завидев мужиков, открывал окошко:

— Эй, люди, чьи это владения?

— Барина нашего — Николая Еремеевича Струйского...

Всюду пасущиеся стада, церкви на косогорах, возделанные пашни, босоногие дети на околицах... И наступил полдень.

— Эй, скажите, чья это деревня? — спрашивал Долгорукий.

— Барина нашего — господина Струйского...

Жара пошла на убыль, жена вздремнула на пышных диванах кареты, а губернатор все окликал встречных:

— Эй, чей там лес темнеет вдали?

— Барина нашего — Николая Еремеевича Струйского...

Будто в сказке, весь день проезжали они через владения рузаевского «курфюршества», и лишь под вечер усталые кони всхрапнули у переезда через реку; на другом берегу, за укрытием крепостного вала, высились белые дворцы и службы, золотом горели купола храмов, какое-то знамя реяло на башне господского дома... Это была Рузаевка — имение Струйского, находившееся в Инсарском уезде Пензенской губернии. И сейчас мало кто знает, что здесь во второй половине XVIII столетия находилась лучшая в мире типография, — потому-то рузаевские издания и попали на международную выставку печатного дела в Лейпциге. Здесь, в Рузаевке, проживал бездарный бард России, умудрявшийся отбивать поклоны и Вольтеру и Екатерине II, за что профессор Ключевский назвал его «отвратительным цветом русско-французской цивилизации XVIII века».

Почти все историки, словно сговорившись, утверждают, что сведений о Струйском не сохранилось. Но если несколько лет порыскать по старинным журналам и книгам, то найдешь массу разрозненных заметок, статей, эпиграмм, портретов, оговорок, воспоминаний и поправок, — из этой архивной пыли нечаянно получается сплав, из которого уже можно формировать образ человека, оставившего немалый след в истории книжного дела на Руси...

Емельян Пугачев уничтожил его сородичей, что пошло Струйскому на пользу, ибо он стал богачом, объединившим в своих руках все владения рода. Из Преображенского полка он вышел в отставку прапорщиком и навсегда осел в рузаевской вотчине. Струйский был изрядно начитан, сведущ в науках; проект рузаевского дворца он заказал Растрелли; среди его друзей были стихотворцы Сумароков

и Державин; живописец Федор Рокотов писал портреты членов его семьи.

...Паром уже перевез нас на другой берег реки Сумы, и карета пензенского губернатора покатила через широкие ворота рузаевской усадьбы... Ого! Нас встречает сам хозяин поместья. На нем поверх фрака накинут камзол из дорогой парчи, подпоясанный розовым кушаком, на башмаках — бантики, он в белых чулках; длинные волосы поэта разлетелись по плечам, осыпая перхоть, а на затылке трясется длинная коса на прусский манер.

Итак, читатель, внимание: не станем ничему удивляться!

Первое впечатление таково, что перед нами возник сумасшедший. Сами глаза выдают безумную натуру Струйского: беспокойный, ищущий и в то же время очень пристальный взор. Поражают асимметрия в разлете бровей и несуразность ломаных жестов...

Выкрикивая свои стихи:

Пронзайся треском днесь несносным ты, мой слух!
Разись ты, грудь моя! Терзайся весь мой дух! —

Струйский кинулся на шею губернатора, которого чтит как собрата по перу. Затем последовал жеманный поклон его жене, и поэт вдруг... исчез! Но буквально через три минуты Струйский возник снова и, торжественно завывая, прочел губернаторше мадригал, посвященный ее «возвышенным» прелестям... Долгоорукий — человек серьезный, к поэзии относился вдумчиво и сейчас был поражен:

— Николай Еремеич, когда же вы успели сочинить это?

Но Струйский снова исчез, а из подвала его дома послышалось тяжелое вздыхание машин, стуки и лязги, после чего поэт преподнес княгине свой мадригал, уже отпечатанный на атласе, с виньетками и золотым обрамлением.

— Как? — воскликнул Иван Михайлович. — Вы, сударь, не только успели сочинить, но успели и отпечатать?

Все было так. Но мадригал был написан бездарными стихами. Содержание не стоило этой драгоценной оправы... Забегая впереди гостей, Струйский провел их в «авантажную» залу, потолок которой украшал живописный плафон с удивительным сюжетом: Екатерина II в образе Минервы сидела поверх облаков в окружении гениев, а под нею плавали в грозовых тучах мешки с деньгами, паслись бараны и коровы, проносились, как метеоры, фунтовые головы сахару...

Николай Еремеевич с маниакальным упорством не уставал терроризировать гостей Рузаевки своими дрянными стихами:

Смертью лишь тоску избуду,
Я прелестною сражен.
А владеть я ей не буду?
Я ударом поражен.
Чувства млеют, каменеют...
От любви ея зараз
Вскрылась бездна,
Мне любезна
Сеть раскинула из глаз.
Ты вспомянешь,
Как уж свянешь
От мороза в лютый час.
Ты мной вздохнешь,
Как заблекнешь,
Не познав любви глас...

Угрюмый лакей провел гостей умыться после дороги.

— Дурак какой-то, — шепнул Долгорукий жене через занавеску. — Сочинения его рассмешат и дохлую лягушку. До чего же несносен! Щеголять же имеет право более тиснением стихов, нежели их складом. Но зато, смотри, как богат... Нам и не снилось такое!

Ближе к ночи, когда по улицам Рузаевки стали ходить сторожа с колотушками, Струйский увлек Долгорукого на верхний этаж.

— Там у меня... Парнас! — сообщил он. — Непосвященные туда не допускаются. Но вы же, друг мой, сами служитель муз...

На рузаевском «парнасе» Долгорукий не знал, куда сесть, на что облокотиться, ибо повсюду густейшим слоем лежала пыль такая, что была похожа на толстое шерстяное одеяло.

— Сия пыль — мой лучший сторож, — пояснил Струйский. — По отпечаткам чужих пальцев я могу сразу определить — заходил ли кто на Парнас кроме меня?

Девять улыбчивых муз окружали мраморную фигуру прекрасного Аполлона, который с трогательной гримасой взирал на чудовищный кавардак рузаевского «парнаса»: бриллиантовый перстень валялся подле полоски оплывшего сургуча, а возле хрустального бокала лежал старый башмак с оторванной напрочь подошвой.

— Башмак-то, — спросил Долгорукий, — к чему держите?

— Из него тоже черпаю вдохновение, — отвечал хозяин...

Струйский долго рассуждал о законах оптики, но губернатор так и не понял, какая связь между стеклянной линзой и... читателем. Декламируя стихи, Струйский больно шипал Долгорукого, и когда Иван Михайлович спустился в спальню к жене, то ужаснулся:

— Ты посмотри, любезная... я весь в синяках!

— Непокойно здесь как-то, — зевнула жена.

Тут губернатор вспомнил, что весь «парнас» рузаевской усадьбы обвешан оружием — уже заряженным, уже отточенным. На вопрос Долгорукого — к чему такой богатый арсенал, Струйский отвечал, что крепостные мужики давно грозятся его порешить...

— А я строг! — сказал бард. — Спуску им не даю!

Что правда, то правда: этот иступленный графоман-строчкогон был отвратительным крепостником. Вряд ли кто догадывался, что, пока хозяин Рузаевки общался с музами наверху дома, глубоко в подвалах работали пытошные камеры, оборудованные столь ухищренно, что орудиям пытки могли позавидовать даже испанские инквизиторы. Вырвав у человека признание, Струйский устраивал потом комедию «всенародного» судилища по всем правилам западной юриспруденции (с прокурорами и адвокатами)... Иван Михайлович

Долгорукий записал в своем дневнике: «От этого волосы вздымаются! Какой удивительный переход от страсти самой зверской, от хищных таких произволений к самым кротким и любезным трудам, к сочинению стихов, к нежной и вселобзающей литературе... Все это непостижимо!» — восклицал губернатор, сам из цеха поэтов.

Кто сейчас читает стихи Николая Струйского?

Никто, и не надобно иметь охоты к их чтению. Для вас важно другое — более насущное для истории.

Россия XVIII века имела частные типографии. Н.И. Новиков, известный просветитель, открыл свою типографию в селе Пехлеце Ряжского уезда; капитан П.П. Сумароков печатал себя и своих друзей в селе Корцево Костромской губернии; убежденный вольнодумец, предок композитора Рахманинова, бригадир И.Г. Рахманинов, ради пропаганды идей Вольтера завел типографию в селе Казинке Тамбовской губернии; великий А.Н. Радищев держал свою тайную типографию в сельце Немцове Калужской губернии...

Но более всех прославилась рузаевская типография!

Не тем, что там напечатано, а тем, как напечатано...

Струйский был автором громадного букета элегий, од, эротоид, эпиталам и эпитафий — все это с вершины пыльного «парнаса» нескончаемым каскадом низвергалось в подвальные этажи дворца, где денно и ночью стучали типографские машины. Мы знаем, что многие баре на Руси вконец разоряли себя на домашние театры, больше похожие на гаремы, на изобретение каких-то особых бульонов из порошков или шампанского из капустных кочерыжек, на покупки «красноподпалых» борзых или кровных рысаков, обгонявших ветер. Струйский все свои доходы от вотчины вкладывал в типографию!

Историкам непонятно только одно: откуда могла возникнуть в этом самодуре неугасимая страсть к печатному делу и где Струйский приобрел опыт и знания в столь сложном производстве? Очевидно, это была *первая* в России крепостная типография, выпускавшая

истинные шедевры машинного тиснения. Лучшие русские граверы резали для Рузаевки на медных досках виньетки, заставки, узоры и рамки, чтобы украсить ими бездарные стихи богатого заказчика. Крепостные мужики, обученные барином-графоманом, печатали книги на превосходной александрийской бумаге, иногда даже на атласе, на шелках и на тафте, используя высококачественные краски, набирая тексты уникальными шрифтами. Переплетчики обертывали книги в глазет, в сафьян, в пергамент...

Корыстных целей в издании книг у Струйского никогда не было — он их никому не продавал, а лишь раздабривал: печатал только себя или тех поэтов, которые ему нравились. Рузаевские издания по своему изяществу и добротности работы смело соперничали с лучшими изданиями европейских типографий — голландскими. Екатерина II одаривала рузаевскими книгами иностранных послов, и когда они выражали неподдельный восторг, русская императрица проводила свою «политику»:

— Вы ошибаетесь, если думаете, что это тиснуто в столице. Россия под моим скипетром столь благодетельствована, что подобные издания тискают в самой глухой провинции...

Однако похвальная «любовь к изящному» поэта-помещика самым тяжким образом отзывалась на тех, кто создавал красивую оправу для его бездарной галиматши. История не сохранила имен наборщиков, верстальщиков, печатников, красковаров — история сохранила лишь имя феодала, владевшего ими, как рабами. Струйский, подобно всем графomanам, строчил стихи в жару и стужу, писал днем и ночью, держа типографию в адском напряжении, ибо все написанное моментально должно было быть напечатано. А потому в страдную пору крестьяне были вынуждены бросать в полях неубранными плоды трудов своих и становиться к типографскому станку.

Эта страшная, ненормальная жизнь закончилась лишь со смертью Екатерины II, дарившей рузаевскому поэту алмазные перстни. Струйский, узнав о кончине своей покровительницы, лишился дара

речи, впал в горячку и в возрасте сорока семи лет отошел в загробный мир. Гаврила Державин, всегда критически относившийся к Струйскому, проводил его на тот свет колючей эпиграммой, в которой очень ловко обыграл стиль самого Струйского:

Средь мшистого сего и влажного столь грота,
Пожалуй, мне скажи — могила это чья?
Поэт тут погребен: по имени — *струя*.
А по стихам — *болото*.

После кончины вдовы Струйского прекрасный тенистый парк извели под корень, а дворец Рузаевки мужики разнесли по кирпичу. Разгром Рузаевки полностью завершился, когда она стала узловой станцией Казанской железной дороги. Типография была разорена, а ее великолепные шрифты забрала губернская типография Симбирска; здесь они продолжали служить людям, но уже с гораздо большей пользой.

Струйский печатал себя лишь в нескольких экземплярах, и поэтому издания его стихов уже в XVIII веке были библиографической редкостью. Сказать, сколько они стоят сейчас, дело немыслимое, ибо их попросту нельзя купить ни за какие деньги, а считанные экземпляры рузаевских изданий находятся лишь в собраниях центральных книгохранилищ СССР.

Художественные ценности из дома Струйских еще до революции были вывезены, проданы и перепроданы, а ныне часть их собрана в главных музеях нашей страны. Последний из рода Струйских умер в 1911 году девяноста двух лет от роду в страшной бедности, похожей уже на нищенство, и подле него не было ни одного близкого человека, который бы подал ему стакан воды...

Таков естественный конец!

...Ничтожный и жестокий графоман Струйский был прав в одном: «Книга создана, чтобы сначала поразить взор, а уж затем очаровать разум». Разума он не очаровал, но поразить взор оказался способен.

Из пантеона славы

Однажды мне попалась фотография балтийского эсминца «Капитан Белли», которым в 1917 году командовал В.А. Белли, впоследствии контр-адмирал советского флота, профессор, историк, и сразу я вспомнил его деда Г.Г. Белли. В 1799 году он с русскими матросами вступил в разоренный Неаполь, именно тогда Павел I сказал: «Белли хотел меня удивить, так я удивлю его тоже!» — и дал офицеру орден, какой имели не все адмиралы... Генератор памяти заработал на всех оборотах: я вспомнил повешенных на кораблях британской эскадры, увидел жуткую темницу, в которой ожидал казни прославленный маэстро... Фотографию эсминца, пенящего волну, отложил в сторону. Она уже сыграла свою роль и больше не пригодится. Начнем сразу с музыки.

Веселой, яркой, брызжущей радостью!

После того как Джованни Паизиелло покинул Петербург, а другого композитора — Джузеппе Сарти — забрал для своего оркестра светлейший князь Потемкин Таврический, на русскую службу был приглашен Доменико Чимароза... Паизиелло отговаривал коллегу от этой далекой поездки.

— Ужасная страна! — вздыхал он. — На улицах русской столицы днем и ночью пылают громадные костры из бревен. Если не успеешь добежать от одного костра до другого, сразу падаешь за смертью от нестерпимой стужи... Жена нашего посла, дюшесса Серра-Каприола, вечно плачет от холода, а ее слезы моментально превращаются в ледяные кристаллы.

Князь Франческо Караччиоли (адмирал флота в Королевстве обеих Сицилий) советовал не доверять Паизиелло:

— Не он ли вывез из России такие пышные меха, каких не имеет даже наша королева? Паизиелло при мне хвастал сэру Уильяму

Гамильтону, что у него целый портфель новых партитур, и все это он сочинил именно в морозные ночи Петербурга.

Королевой в Неаполе была развратная и безобразная Каролина (родная сестра казненной во Франции Марии-Антуанетты); она проводила Чимарозу в дальний путь чуть ли не плевком:

— Моим псам надо бы любить только мои ошейники!

Зимой 1787 года Чимароза достиг Петербурга, где и поселился на Исаакиевской улице; его слуга Маркезини быстро оценил достоинства русских печей. Дров не жалели! Екатерина Великая пожелала видеть нового капельмейстера своей придворной капеллы и встретила композитора любезно. Смолоду склонная ко всяческим дурачествам, она приняла к уху Чимарозы, шепнув ему:

— Надеюсь, вы меня не предадите?

— Как можно, Ваше Величество!

— Так я вам скажу честно, что для меня любая музыка — только противный шум, мешающий мне беседовать с умными мужчинами. Но любой шум я переношу терпеливо, дабы доставить удовольствие тем, которые находят в музыке что-то еще — помимо шума... Впрочем, остаюсь к вам благосклонна, а вы, маэстро, можете делать что вам хочется, мешать вам не стану!

В декабре умерла от нервного истощения дюшесса Серра-Каприола, и великолепный «Реквием», исполненный над ее могилой, был едва ли не первой музыкой Чимарозы, с которой познакомились петербуржцы. Да, на кладбище было очень холодно... А вдовец, посол Неаполя, кажется, не слишком-то унывал:

— Едем ко мне — пить шампанское. Я получил письмо от Джузеппе Сарти, сейчас Потемкин требует от него, чтобы удары в литавры он заменял выстрелами из осадных мортир. Русские еще не знают кастаньет, зато они играют на деревянных ложках... В этой стране многое выглядит забавно!

Придворная капелла вполне устраивала Чимарозу — мощностью хора, артистизмом певцов. Композитор быстро освоился в русской

жизни, хотя резкая перемена климата все же сказалась на его здоровье. Он плодотворно трудился, заполняя русскую сцену операми, кантатами и хорами. Либретто для его опер сочинял итальянский поэт Фернандо Моретти, прижившийся в России.

Чимароза не мог пожаловаться, что обижен вниманием публики, но Екатерина более жаловала барона Ванжуру, который, предвосхищая музыкальных эксцентриков, умел играть головой, пятками и даже носом. Музыковед Т. Крунтяева пишет, что Чимароза «не сделал блестящей карьеры... его музыка, лишенная парадности и блеска, не удовлетворяла придворные вкусы» русских вельмож. На беду композитора, Екатерина сама сочинила либретто оперы «Начальное управление Олега», где поучительная дидактика переплеталась с политикой ее времени, «...иначе, — писал историк Н. Финдейзен, — трудно объяснить причины особого внимания, которое выказывала Екатерина при сочинении и постановке именно этой оперы». Чимароза болел простудой, а его инструментовка никак не могла подладиться к «политическим» инверсиям Екатерины... Авторское самолюбие императрицы страдало, она передала свою оперу в руки ловкого Джузеппе Сарти.

— Я не сержусь, — сказала она Чимарозе. — И пришлю к вам своего лейб-медика Роджерсона, пусть он вас подлечит...

Роджерсон сказал, что в его силах прописать любое лекарство, но он не в силах изменить организм человека, рожденного под солнцем Италии; врач советовал вернуться на родину... Екатерина Великая простилась с композитором словами:

— Стоит ли покидать Россию, где полно дров и печек? Неужели близ вулкана Везувия вам будет жить спокойнее?

Летом 1791 года «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили читателей об отъезде Доменико Чимарозы с женою, двумя дочерьми и слугою. По дороге в Неаполь нельзя было миновать Вену; среди композиторов давно сложилась традиция — проездом через Вену следовало порадовать ее жителей своей музыкой. Император Лео-

польд II был родным братом неаполитанской королевы, поэтому он хорошо знал творческие возможности Чимарозы:

— Без новой оперы я не выпущу вас за кордоны своей империи.

Сезон 1792 года Чимароза открыл комической оперой «Тайный брак»; когда отзвучали ее последние аккорды, публика не покинула театра, требуя повторения. Неслыханно! Опера была прослушана вторично, и Чимароза вернулся домой лишь на рассвете.

— Кажется, только сейчас пришла ко мне слава...

Да, это была слава. Он возвратился в Неаполь окрыленным, столицы Европы в жестоком соперничестве пытались заполучить его самого или его музыку. Паизиелло корчился от зависти, он, кажется, что-то насплетничал королеве, потому что ее наглая наперсница Эмма Гамильтон сказала однажды:

— Вот видите, маэстро! Стоило вам избавить свою шею от колючего ошейника Екатерины, и вы сразу стали великим...

Молодая Эмма Гамильтон была женою престарелого английского посла. «У нее, — писала современница, — колоссальная фигура, но за исключением ног, которые просто ужасны, она хорошо сложена. Она ширококостна и очень полная... внешний вид ее грубый!»

Сейчас она ждала эскадру Нельсона — героя ее сердца.

Королевство обеих Сицилий — под таким несуразным названием существовало государство, вобравшее в свои пределы Южную Италию и остров Сицилию, а Неаполь считался столицей. Король Фридрих IV жил под каблуком Каролины; с ножом в руках, как мясник на базаре, он свеживал туши животных, доверив управление королевством жене, избравшей Эмму Гамильтон в свои интимные подруги. В августе 1798 года Неаполь был извещен о победе Нельсона при Абукире, но армия французов еще находилась в Риме...

Все итальянцы жили тогда приятными надеждами!

В театре «Сан-Карло» звучала музыка Чимарозы; композитор заметил беспокойство в королевской ложе, где, прикрыв рты веерами, взволнованно перешептывались Каролина и Эмма.

— Я, — сказал Чимароза, — согласен выбросить из оперы лучшие свои арии, только бы знать, что встревожило этих фурий!

Он вернулся домой — к своим старинным клавишечкам. Нежно трогал матовые клавиши инструмента, почти обожествленного им, а музыка не мешала ему беседовать с князем Караччиоли. Аристократ по рождению, этот человек презирал двор Неаполя, ему казалось, что революция во Франции поможет итальянцам обрести свободу. Наполеон (тогда еще генерал Бонапарт) пропал в Египте, а положение в Европе оставалось напряженным... Российский престол занимал Павел I, которого Чимароза не раз встречал на концертах в петербургском Эрмитаже и в Павловске.

— Мне кажется, — рассуждал Чимароза, — этот курносый властелин Севера способен на любые повороты в политике своего кабинета. Он больше других монархов хлопочет о мире для России, но дела сейчас таковы, что Россия вряд ли останется последней скрипкой в этом громяющем европейском концерте.

— Россия от нас очень далека, — ответил старый Караччиоли, — а эскадра адмирала Нельсона болтается возле Мальты...

Но через Дарданеллы в Средиземное море уже входила черноморская эскадра под флагом адмирала Ушакова; говорили, что Суворов двинет войска в Северную Италию... Был конец сентября, когда в бухту Неаполя втащили на веслах флагманский корабль Горацио Нельсона, сильно потрепанный, с переломанными мачтами. Королевская чета устроила ему триумфальную встречу, а Эмма Гамильтон, не стыдясь мужа, с громким плачем упала в объятия одноглазого и однорукого адмирала. Корабельные оркестры не переставая наигрывали мелодию «Правь, Британия, морями!».

— Что может быть слаще этих минут? — говорил Нельсон.

В роскошном палаццо Сесса его чествовали праздничным обедом, а Эмма отпаивала тщедушного победителя жирным ослиным молоком. Скоро составилось поэтическое трио: Каролина, Нельсон и леди Гамильтон, на совести которых лежала трагическая судьба Неаполя... Леопольд II прислал на помощь сестре генерала Макка, Фердинанд устроил парад своих голодранцев, и Нельсон парад принял.

— По-моему, — заявил он, — это лучшая армия мира.

Макк был солидарен с мнением адмирала:

— Не стоит и ждать, пока французы расшевелются. Мы сами пойдем на Рим, где и всыпем этим поганым республиканцам...

Английские историки цитируют слова Нельсона, обращенные к королю Фердинанду: «Вам остается либо идти вперед, доверившись Божьему благословиению правого дела, либо быть вышвырнутым из своих владений». Подле адмирала, произносящего эти слова, могучая Эмма Гамильтон казалась богатырем... Фердинанд заплакал:

— Вы не знаете моих неаполитанцев. Все они — первейшие в мире трусы, а я среди них — главный и коронованный трус!

Оркестры заиграли, и «лучшая армия мира» пошла отвоевывать Рим у французов. Сэр Уильям сказал, что скоро они увидят короля в авангарде дезертиров; дальновидный политик, он сразу просил у Нельсона корабль, дабы заранее погрузить на него свои антики — для отправки их в Англию.

— Поход на Рим кончится революцией в Неаполе... Эти босяки не станут воевать ради предначертаний нашего Питта!

В декабре Неаполь увидел своего короля.

— Мои войки разбежались кто куда... Французы скоро будут в Неаполе! Спасите нас, — умолял он Нельсона.

Королевские сокровища спешно погрузили на корабли британской эскадры.

Фердинанд умолил адмирала Караччиоли следовать в конвое эскадры. Была страшная буря. Флагманский корабль Нельсона чуть

не погиб. Зато неаполитанские корабли легко преодолевали волну, у их не было ни аварий, ни поломок рангоута. Фердинанд, страдая, сделал Нельсону выговор:

— Мой адмирал лучше вас, англичан, знает свое дело... Мне бы следовало плыть не с вами, а с Караччиоли. Вы показали себя мастером сражений на море, но перед стихией вы жалкий ученик...

Нельсон это запомнил! Эскадра наконец достигла Палермо; придворные сразу раскинули карточные столы, началась игра, Эмма и Нельсон швыряли золото горстями. Капитан Трубридж, флаг-офицер Нельсона, заметил своему адмиралу:

— Милорд, неужели вы испытываете удовольствие от азарта в этом гнезде королевского позора? Англия, знайте это, уже извещена, когда и с кем вы проводите время.

— Трубридж, еще одно слово, и вас ждет отставка...

К удивлению всех, Караччиоли покидал Палермо — он пожелал вернуться в Неаполь. Нельсон осудил его за это:

— Король считает вас своим другом, а вы бросаете Его Величество ради неаполитанских голодранцев. Мне не стоит труда доломать и дожечь остатки вашего полудохлого флота.

— Прощайте! — отвечал Караччиоли. — Мой неаполитанский патриотизм дороже любой королевской благосклонности...

Неаполь он застал встревоженным, все ждали прихода французов, а Чимароза ожидал их даже с нетерпением:

— Я родился в грязном подвале прачечной, где стирала моя мать. Моим отцом был каменщик, упавший с высоты храма на мостовую... Мне ли, сыну прачки и каменщика, отворачиваться от идей свободы, равенства и братства!

— Bravo, маэстро, bravo! — отвечал князь Караччиоли. — После бегства Бурбонов в Палермо я, как и вы, уже не считаю себя связанным с ними былою присягой...

Театр «Сан-Карло», поражавший помпезным великолепием, уже огласился революционным гимном Доменико Чимарозы:

Народ, не знай порабошенья,
Освобождайся от цепей,
В огонь бросай изображенья
Тиранов гнусных — королей...

Перед дворцом в пламени костров корчились королевские портеты, сгорали их знамена, здесь Чимароза встретил Паизиелло:

— Как я рад, что ты остался с нами, Джованни!

— С вами? Я остался со своей музыкой и своей женой...

В январе 1799 года на обломках Королевства обеих Сицилий французы образовали Партенопейскую республику. Народ ожидал райской жизни, но получил от пришельцев грабежи, мародерство, насилие... Даже нищие лаццарони были растеряны:

— Французы посадили «деревья свободы», но деревья не успели прижиться к земле, как у нас отняли даже остатки свободы...

Чимароза не терял веры в торжество новых идеалов:

— Эскадра адмирала Ушакова образумит этих грубых невеж, русские люди всегда справедливы.

Караччиоли сомневался в помощи русских:

— Ушаков сражается на Корфу, а Нельсон торчит в Палермо, и он всегда может вернуться в Неаполь раньше Ушакова. Вы забываете, маэстро, что эскадра Нельсона сейчас союзна эскадре Ушакова, они обязаны действовать заодно — п р о т и в н а с!

— Но что меж ними общего? — не уступал Чимароза. — Нельсон из Палермо угрожает Неаполю, поддерживая королей, а Ушаков создает для греков демократическую республику...

Весною в Неаполь ворвались банды кардинала Руффо — личная гвардия Каролины, набранная из подонков и религиозных фанатиков. С моря их прикрывали английские корабли под флагом капитана

Фу́та... Началась страшная резня! Французский гарнизон затворился в крепости. Неаполитанский флот, неся штандарт князя Караччиоли, помогал осажденным корабельными пушками. В эти дни были умерщвлены лучшие люди Италии — поэты и врачи, мыслители и художники. Бандиты ворвались и в дом Доменико Чимарозы, который в ужасе закрыл глаза, чтобы не видеть, как его волшебные клавишембало вылетали из окон на мостовую. Ему было сказано:

— Теперь запоешь другие гимны... Пошли, пес!

Адмирал Ушаков высадил близ Неаполя матросский десант во главе с капитан-лейтенантом Г.Г. Белли: этот десант на юге страны смыкался с войсками Суворова в Италии Северной. С боями двигаясь от Портичи, Белли вступил в Неаполь — уже растерзанный, полумертвый. Павел I извещал Суворова: «Сделанное Белли в Италии доказывает, что русские люди на войне всех прочих бить будут...» Но кого бить тут?

Средь улиц несчастного Неаполя лежали неубранные груды тел, и над ними роились мириады гудящих мух.

— Что делать-то нам? — оторопело спрашивали матросы.

— Людей спасать, — отвечал им Белли...

«Русские, — сообщал очевидец, — одни охраняли спокойствие в Неаполе и общим голосом народа провозглашены спасителями города». Дома в Неаполе, занятые ими, стали единственным прибежищем для республиканцев — французов и жителей Неаполя; Белли никого не выдавал на расправу, а его матросы без лишних разговоров били бандитов в морду:

— Иди, иди... Бог подаст! А я добавлю...

Появление русских ускорило капитуляцию. Французы сложили оружие перед капитаном Футом, который и обещал им:

— Клянусь честью джентльмена и честью короля Англии, что все вы и ваши семьи будете отпущены в Тулон...

Но кардинал Руффо арестовал Караччиоли:

— Князь! Вас высоко чтит мой король, потому я дарую вам жизнь, которую вы и закончите в тюрьме на соломе...

Только теперь синеву Неаполитанской бухты возмутили якоря, брошенные кораблями Нельсона; с берега видели, как ветер раздувает широченное платье леди Гамильтон, стоявшей на палубе подле адмирала. Нельсон пребывал в ярости — русские опередили его в Неаполе; теперь ни он сам, ни его Трубридж, ни даже кардинал Руффо ничего не могли с ними поделать.

Белли подчинился только Ушакову:

— Я имею приказ своего адмирала — избавить несчастных от истязаний, после чего мой десант пойдет на Рим...

Руффо поднес в презент Трубриджу отрубленную голову французского офицера. Эмма Гамильтон была возмущена:

— Как вы осмелились принять ее, если этот великолепный сувенир по праву принадлежит Нельсону... только Нельсону!

Нельсон сказал, что милосердие можно оставить за кормою.

— Всем пленным сразу же отрубайте головы!

— Но я поручился честью джентльмена, — возразил Фут.

— Этот товар мало чего стоит на войне.

— Я поручился и честью короля Англии! — негодовал Фут.

— В Неаполе один король — я, — отвечал Нельсон. Он велел вытащить из темницы адмирала Караччиоли. — Вы собирались там отсидеться, но вам предстоит повисеть. Смотрите, какие высокие мачты, а их длинные реи — это готовые виселицы...

Даже злодей и мерзавец Руффо вступился за адмирала:

— Оставьте старого человека в покое, он помрет и без вас. Или судите его, но приговор пусть подтверждает сам король.

— Мне некогда ждать вашего короля, — огрызнулся Нельсон...

Франческо Караччиоли было семьдесят лет. Он не хотел умирать, умоляя о пощаде не адмирала, а Эмму Гамильтон:

— Ваше нежное женское сердце доступнее жалости...

— У меня нет сердца! — отвечала ему красавица.

Эмма Гамильтон закрылась в каюте, из которой вышла на палубу только затем, чтобы насладиться сценой повешения. Когда адмирал-

республиканец с безумным воем взвился на веревке под самые небеса, все услышали рукоплескания женщины:

— Прекрасно, Горацио! Благодарю за такое зрелище...

Англичане боготворят память о Нельсоне, но даже они не оправдывают кровожадность своего идола. Они поставили ему в Лондоне памятник, о котором лучше всего сказано у Герцена: «Дурной памятник — дурному человеку!»

Чтобы королю не возиться с устройством эшафота, Нельсон любезно предоставил к услугам Бурбонов мачты и реи кораблей своей эскадры. Сорок тысяч человек были приговорены к смерти, и столько же было посажено в тюрьмы...

Изувеченный страшными пытками Доменико Чимароза ожидал в темнице смертного часа, смерть была избавлением от ярости палачей. Треск его клавишембало, выброшенных на улицу, иногда казался ему хрустом собственных костей...

К нему вошел молодой офицер в белом мундире:

— Я — капитан русского флота Белли. Вы, маэстро, наверное, и не знаете, что после вашего отъезда весь Петербург был переполнен вашими чудесными ариями.

— Мои арии... Жив ли Паизиелло? — спросил Чимароза.

— Да! Он сумел вернуть себе милость королевы, горячо заверив ее, что именно вы насильно удержали его в Неаполе.

— Иезуит... Адмирал был прав! А что ждет меня?

Белли с лязгом обнажил клинок боевой шпаги:

— А вас ждет бессмертие... Следуйте за мной.

Двери узилища растворились, и Белли вывел на свободу не Чимарозу... нет, его т е н ь! Еще недавно веселый толстяк, блиставший остроумием, превратился после пыток в калеку, почти урод, и даже блеск солнца не мог оживить его страдальческих глаз.

Вдали тихо курился Везувий...

Белли довез композитора до его дома.

Он вложил шпагу в ножны со словами:

— Благодарите не меня, а русский кабинет, выступивший с протестом в вашу защиту. Но лучше вам уехать отсюда, маэстро! Неаполь не для вас...

Чимароза удалился в изгнание. Многие тогда полагали, что он вернется в Петербург. Но сил хватило лишь на то, чтобы добраться до Венеции, где он и поселился на канале Гранде в гостинице «Три звезды». Как писал позже Стендаль, «упоминать о Чимарозе в Неаполе не годилось». И не только в Неаполе — полиция всюду преследовала это знаменитое имя, из книг и партитур вырывались его портреты... Смерть композитора была внезапной, и никто не мог рассеять слухов о том, что Доменико Чимароза был отравлен по приказу Каролины.

Скульптор Антонио Канова исполнил его бюст — в мраморе.

Этот бюст был установлен в Пантеоне и через несколько лет перенесен в галерею Капитолия, где и находится сейчас рядом с другими скульптурными портретами бессмертных сынов Италии.

...А эсминец «Капитан Белли» был переименован в «Карла Либкнехта», и я хорошо помню его стремительные, благородные очертания. Дело в том, что во время войны мой «Грозный» проводил в океане боевые операции совместно с «Карлом Либкнехтом». Но я — юнга! — не мог тогда знать, что рядом с нами вспарывает форштевнем крутую волну бывший «Капитан Белли».

Впрочем, я много тогда не знал.

Не знал, кто такой Белли и кто такой Чимароза...

Понимание приходит с годами.

Иногда даже слишком поздно!

Бесплатный могильщик

Ох, нелегко бывает раскапывать прошлое... Иной раз даже возникает необъяснимое ощущение, будто люди, жившие прежде нас, сопротивляются моему к ним вниманию, нарочно скрывая от потомков не только дурное, что они оставили в этом мире, но утаивают от нас даже хорошее, похвал достойное.

Для начала раскрываю симпатичный томик Б.Л. Модзалевского, набранный убористым петитом, — «Список членов императорской Академии Наук», изданный в 1908 году, на 79-й странице нахожу нужного человека... Вот он! Александр Иванович Лужков, почетный член, библиотекарь и хранитель резных камней в Эрмитаже, избран в сентябре 1789 года, умер...

Когда? Речь пойдет о человеке настолько забытом, что раньше именовали его Иваном или Алексеем Федоровичем, а теперь называют Александром Ивановичем... Кому верить?

Не странен ли этот почетный член Академии? Много лет подряд вижу его в рубище, заросшего волосами, как он, поплевав на руки, копает лопатой могилу поглубже — не для себя, бедного, а для тех, что его беднее...

Пожалуй, лучше довериться Модзалевскому, а тогда и дата смерти Лужкова в 1808 году, надо полагать, справедлива.

Но Боже, как трудно подступиться к этому человеку!

Известно, как не хотел М.В. Ломоносов отдавать единственную дочь Елену за хитрого грека Алексея Константинова, который зачастил в дом ученого, желая стать его зятем. Но Ломоносов умер — и прыга достиг желаемого, полудив за невестой немалое приданое. Не это суть, главное то, что Константинов выгодною женитьбою обеспечил себе карьеру — стал библиотекарем императрицы Екатерины...

Вот уж настрадалась она с ним! Сама великая книжница, женщина не терпела лентяя, который запустил ее личную библиотеку,

и она не знала, как избавиться от такого горе-библиотекаря. Потемкин тогда был в могуществе своего фавора, и она тишком, огласки лишней не делая, просила его подыскать для Эрмитажа надежного и грамотного человека:

— Сыщи мне такого, чтобы сора из избы не выносил, чтобы языки ведал, грамотного, да чтобы трудов не устрашался.

— Матушка, а разве пиит Петров негож для дел книжных?

— Годен и мил. Но он с музами каждую ночь якшается, да и занят горазд частными поручениями моего Кабинета...

Однажды ехали они в Царское или из Царского, кони — как звери, молотили копытами, несли карету, словно в пропасть, Екатерина хваталась за ремни, чтобы с диванов ее не сбросило.

— Отчего так? — говорила она. — Нигде столь скоро не ездят, как в России, и нигде так не опаздывают, как в России?

— Дороги-то худы, матушка.

— Ах, дороги! Держи меня, Гриша, крепче, у меня ажю зуб на зуб не попадает... это на рессорах-то, а какво без рессор кататься? Чаю, мне в жизни за всем не поспеть, так при внуках моих или правнуках обретет Россия дороги благопристойные... Кстати, ты о наказе-то моем не забыл ли?

Потемкин ответил, что нужного человека сыскал, прозывается он Лужковым, сам из дворян, а чином невелик — вахмистр лейб-кирасирский, четыре языка ведает, а до книг великий охотник.

— Где ж ты с ним познакомился?

— Да где ж, матушка, на Руси святой хорошие люди знакомятся? Вестимо, только в трактире...

Лужков был ей представлен. Екатерина умела людей очаровывать, и минуты не прошло, как они хохотали, будто друзья старые, вахмистр не отказался от чашки кофе, сваренного самой императрицей, она дала шлепка обезьяне, чтобы по головам не прыгала, она согнала с канапе злющую кошку, дабы присел подле нее Лужков...

Вахмистр ей понравился. Екатерина начертала две цифры «750» и «1200» — показала их гостю.

— Я небогата, — сказала она. — Устроит ли вас первая сумма жалованья, а вторую я потом обещаю, когда бездельников всех прогоню, и будете довольны. Мы с вами поладим...

От Константинова она, слава богу, избавилась, а «карманный поэт» Петров не мешал Лужкову наводить порядок в эрмитажной библиотеке, где он расставлял книги не по ранжиру, словно солдат, а старался сортировать их по темам, для чего и каталог составил. Лужков трудился и в Минц-кабинете, где хранились драгоценные камни, древние геммы, камеи, монеты и эстампы. Ключи от Минц-кабинета всегда находились у Лужкова, а Екатерина любой бриллиант отдавала ему без расписки, доверяя вахмистру больше, чем кому-либо.

— Умен Лужков, посеум и честен, — говорила она. — Уж на что свой человек Марья Саввишна Перекусихина, и та абрикосы со стола моего под подолом уносит, а Лужков, хоть сажай его в бочку с золотом, все едино — нагишом из бочки той вылезет. К нему и полушка чужая не прилипнет...

Но однажды, пребывая в задумчивой рассеянности, Екатерина взяла да и сунула в карман ключи от библиотеки. И дня не минуло, как Лужков запросил у нее отставки.

— В уме ли ты, Иваныч? Или обидел кто тебя?

— Я, государыня, более не слуга вам, ибо вы ключи в свой карман сунули, выказав этим жестом свою подозрительность. Мне от вас и пенсии не надобно... Прощайте!

Императрица несколько дней ходила за вахмистром словно неприкаянная, умоляла ключи забрать, клялась и божилась, что по ошибке в карман их спрятала. Наконец даже заплакала.

— Черт такой! — сказала она всхлипнув. — Как будто у меня других дел нету, только с тобой лаяться... Так не прикажешь ли, чтобы я перед тобой, дураком, на коленях стояла?

Кое-как поладили. Заодно уж, пользуясь женской слабостью, Лужков выговорил у Екатерины право расширить библиотеку, освободив для нее лишние комнаты в Эрмитаже, ибо книги уже «задыхались» в теснотище немислимой, шкафов не хватало.

— А когда, матушка, книги в два ряда стоят, так считай, что второго ряда у тебя нету: надобно, чтобы корешки каждой из книг напоказ являлись, как бы говоря: вот я, не забудьте!..

Между императрицей и библиотекарем возникли отношения, которые я хотел бы назвать «дружескими». Совместно они разбирали старые дворцовые бумаги с резолюциями Петра I, над которыми и смеялись до слез; будучи скуп, царь писал: «Бадам, сколь сладкова не давай, все пожрут, и потому не давать». Екатерина хохотала до упаду, потешаясь решением Петра I отказать фрейлинам в чае и в сахаре: «Оне чаю ишо не знают, про сахар не слышали, и приучать их к тому не надобно...»

Екатерина поощряла Лужкова в переводе философских и научных статей из «Энциклопедии» Дидро, просила ничего не искажать:

— Даже в том случае, ежели что-либо мне и неприятно. Сам знаешь, Иваныч, что всем бадам на свете не угодишь!

Великий Пушкин писал о ней: «Если царствовать значит знать слабости души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ея великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты ея привязывали...» Помнится, что граф Луи Сегюр, французский посол при дворе Екатерины, тоже не переставал удивляться:

«Царствование этой женщины парадоксально! Не смысля ничего в музыке и устраивая в доме Нарышкина “кошачьи концерты”, она завела оперу, лучшие музыканты мира съезжаются в Россию, как мусульмане в Мекку. Бестолковая в вопросах живописи, она создала в Эрмитаже лучшую в мире картинную галерею. Наконец, вы посмотрите на нее в церкви, где она молится усерднее своих верноподданных. Вы думаете, она верит в Бога? Нисколько. Она

даже с Богом кокетничает, словно с мужчиной, который когда-нибудь может ей пригодиться...»

Было при Екатерине в России такое «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг», тиражировавшее переводы в триста экземпляров, — над этими переводами трудился целый сонм тогдашней «интеллигенции» (беру это слово в кавычки, ибо слово «интеллигенция» тогда не употреблялось). Для этого собрания утруждался и наш Лужков, переведивший статью Руссо «О политической экономии, или государственном благоустройстве». Екатерина сама и подсказала ему статью для перевода.

Была она в ту пору крайне любезна с библиотекарем:

— Так и быть, покажу я тебе висячие сады Семирамиды... Пришло время вспомнить добрым словом Александра Михайловича Тургенева (мемуариста и дальнего сородича Ивана Сергеевича). Отлично знавший многие придворные тайны, этот Тургенев писал, что Лужкова императрица «уважала, даже, можно сказать, б о я л а с ь, но нельзя подумать, чтобы она его любила...».

Странная фраза, верно? Между тем в ней затаилось нечто злое — весьма опасное для Лужкова...

С шести часов утра Лужков каждый день как заведенный работал в библиотеке Эрмитажа, и с шести же часов утра неизменно бодрствовала императрица, иногда спрашивая у него ту или иную книгу... Однажды, поставив на место томик Франсуа Рабле, которого всегда почитала, женщина подмигнула ему приятельски:

— Поднимемся, Иваныч, в сады мои ароматные...

Под крышею Зимнего дворца росли прекрасные березы, почти лесные тропинки — с мохом и ягодами — уводили в интимную сень тропических растений, там клекотали клювами попугаи, скакали кролики, резвились нахальные обезьяны, а под защиту бюста Вольтера убегал хвостатый павлин, недовольно крича...

— Присядем, — сказала Екатерина библиотекарю.

Развернула она перевод «О политической экономии» и спросила Лужкова, почему нет у него веры в монархию добрую.

— Единовластие, — был ответ, — закону естественному не соответствует, а при самодержавном правлении где сыскать свободы для вольности мышления, где сыскать защиты от произвола персоны, единовластной и сильной... как вы, к примеру?!

Екатерина не привыкла, чтобы ее вот так приводили на бойню и оглушали в лоб — обухом. Она сказала:

— Сами же философы утвердили свой довод о том, что чем обширнее государство, тем более оно склонно к правлению деспотическому. Смотри, Иваныч, сколь необъятна Русь-матушка, и для просторов ее гомерических пригодна власть только самодержавная, а демократия вредна для нее станется.

Лужков резал ей правду-матку в глаза, и стали они спорить, но Екатерина, сама великая спорщица, правление общенародное отвергала, и на то у нее были свои доводы:

— Да посади-ка Фильку в Иркутск, а Еремея в Саратов, так они там таких дел натворят, что потом и через сотню лет не распутаеть. Дай народным избранникам волю республиканскую, так за дальностью расстояния, от властей подальше, они вмиг все растащат, все пропьют, все разворуют. Лишь одна я, самодержица российская, и способна свой же народ от алчности защитить. А разве ты, Иваныч, и в меня не веришь?

— Верю в добро помыслов ваших, но чужды мне принципы единовластия, кои вы столь талантливо перед Европой утверждаете.

— Опасный ты человек, — заключила разговор Екатерина. — Но ты не надейся, что я тебя в Сибирь сошлю или в отставку выгоню... Не-ет, миленький, ты от меня эдак просто не отделаешься. Я тебя нарочно при себе держать стану, чтобы в спорах с тобою моя правота утвердилась... На! — вернула она Лужкову статью зловредную. — Вели в типографию слать, чтобы печатали, и возражать не стану: пушай дураки читают...

С тех пор и начались меж ними очень странные отношения, какие бывают между врагами, обязанными уважать один другого. По-моему, еще никто из историков не задавался вопросом — в чем сила правления Екатерины Великой? Отвечу, как я сам этот вопрос понимаю. Сила императрицы покоится на том, что она окружала себя не льстецами, а именно людьми из оппозиции своему царствованию; она не отвергала, а, напротив, привлекала к сотрудничеству тех людей, о которых заведомо знала, что они не любят ее, но в этом-то как раз и заключался большой политический смысл; если ее личный враг умен и способен принести пользу своему Государству, то ей надобно не сажать его в крепость, где от него никакой пользы не будет, — нет, наоборот, надобно его награждать, возвышать, возвеличивать, чтобы (под ее же надзором!) он всегда оставался полезным слугою Отечества.

— А то, что он меня не любит, — говорила она, посмеиваясь, — так мне с ним детей не крестить. Пушай даже ненавидит — лишь бы Россия выгоду от его мыслей и деяний имела...

По утрам она очень ласково привечала Лужкова:

— Добрый день, Иваныч, уже работаешь? Молодец ты... Что новенького? Какие книги достал для меня в Германии вездесущий барон Николай? Что слышать о продаже библиотеки Дени Дидро?

Оба начинали миролюбиво, но постепенно возбуждались в спорах, переходили на крик; Лужков уже давно получал 1200 рублей в год от щедрот императрицы, но продажным не был и свою правоту доказывал, иногда даже кулаком постукивая на императрицу. Дворцовые служители не раз видели, как Екатерина Великая, красная от возмущения, покидала библиотеку в раздражении:

— С тобой не сговоришься... Упрям как черт!

— Упрям, да зато прав, — слышался голос Лужкова...

Александр Михайлович Тургенев писал, что Лужков даже не делал попыток отворить двери императрице, он «спокойно опустился в кресло, ворчал сквозь зубы, принимаясь за прерванную ее

посещением работу». Каждый Божий день у них повторялась одна и та же история — поздороваются, поговорят о том о сем, тихо и мирно, а в конце беседы так разгорячатся по вопросам политики и философии, что только кулаками не машут, только книгами еще не швыряются... Но однажды пришла в библиотеку ласковая, нежная.

— Ну, хватит нам лаяться! — сказала она. — Я вот тут пьесу сочинила «Федул и его дети», оцени мое доверие, что тебе первому до бенефиса показываю...

Стал Лужков читать «Федула», а императрица, сложив ручки на коленях, сидела как паинька и только вздыхала протяжно. Лужков дочитал ее сочинение и вернул... молча.

Недобрый знак. Екатерина похвал от него ожидала:

— Ну что скажешь, Иваныч, нешто я такая бездарная?

Лужков ее авторского самолюбия не пощадил:

— Да что тут сказать, государыня? Наверное, хорошо...

«С этим сказанным х о р о ш о лицо Лужкова никак не сообразывалось, показывая мину насмешливого сожаления». Конечно, императрица поняла цену его «похвалы» и вскочила:

— Философ несчастный! Смейся, смейся, кривляй рожу свою, а вот погоди, как театр откроется да поставят пьесу мою с актерами, так небось мой «Федул» будет от публики аплодирован.

Лужков против этого не возражал:

— В этом нисколько не сомневаюсь, Ваше Величество. Публика будет даже рыдать от восторга, ибо автор-то ей известен. Кто ж осмелится сомневаться в таланте своей императрицы?

— Да пропади ты пропадом! — И Екатерина удалилась...

В конце января 1793 года женщина рано утром пришла в библиотеку, молча протянула Лужкову пакет из Франции, и он прочел донесение посла о том, что Людовик XVI гильотирован. Лужков вернул пакет обратно — со словами:

— В этом, что произошло, не усматриваю ничего странного.

— Как? Свершилось ужасное злодеяние, а ты... спокоен?

Лужков, понимая волнение женщины, услужливо придвинул для нее кресло, сам уселся напротив и сказал так:

— Ваше Императорское Величество, чему же мне удивляться, если в с е отрубили голову о д н о м у? Напротив, вызывает большее удивление именно то, что один облечен правом отрубать головы в с е м, и я не перестану дивиться тому, с какой готовностью люди протягивают под топор свои шеи...

Екатерина вскочила, в дверях разразившись бранью:

— Да чтоб ты треснул, проклятый! Я ему деньги плачу немалые, словно генералу, он в моем же дворце ест-пьет, да еще смеет радоваться, когда монархам головы рубят... Тьфу ты! Недаром «светлейший» тебя в трактире отыскал. Жаль, что умер «светлейший», а то бы я вас обоих обратно в трактир отправила!

Две недели они после этого случая не разговаривали. Потом встретились и посматривали один на другого косо. Екатерина все-таки не выдержала и улыбнулась. Лужков тихо спросил ее:

— Ваше Величество обиделись на меня?

— А ты на меня? — спросила она его в ответ.

И их отношения вернулись на прежнюю жизненную колею.

Впрочем, жить ей оставалось совсем немного.

Павел I, вступив на престол после смерти матери, грохоча ботфортами, сразу навестил библиотеку Эрмитажа, поговорил с Лужковым о книгах, потом напрямик спросил библиотекаря — желает ли он и далее служить при Его Величестве?

— Если служба моя будет угодна Вашему Величеству.

— Да ведь все знают, что я горяч... Не боишься?

— Нет, не боюсь я вас — даже «горячего».

Разом взметнулась трость в руке императора:

— Как ты смеешь не бояться своего законного государя?

— Не боюсь, ибо уповаю на справедливость...

Трость опустилась, ударив по голенищу ботфорта:

— Хвалю! Молодец. Хорошо мне ответил... Я достаточно извещен от матери, что ты человек добрый и умный, я всегда уважал тебя, — сказал Павел, — но... Нам с тобой под одною крышею не ужиться. Проси у меня что хочешь. Я ни в чем не откажу тебе, а жить вместе нам будет трудно...

Далее случилось невероятное — такое, чем очень редко может похвастать российская история: Лужков вернул в казну государства более 200 000 рублей — серебром и золотом, которое не было даже оприходовано в конторских журналах, об этой сумме никто и не знал, и он, титулярный советник, мог бы спокойно присвоить эти деньги себе... Павел I был поражен:

— Скажи, Лужков, чего желаешь в награду за сей подвиг?

— Едино лишь отставки себе желаю.

Павел I указал — быть Лужкову в чине коллежского советника.

— Говори, чего бы хотел еще кроме пенсии?

— Хочу места на кладбище, что на Охте, дабы мне там клочок земли отвели, я жильё себе выстрою.

— Никак помирать собрался?

— Нет, жить буду. Чтобы помочь всем убогим...

Павел отвел для него двести сажен земли кладбищенской, на Охте же был выстроен для Лужкова домик, в нем он приютил двух отставных солдат, у которых никого близких на свете не осталось. Сколько бы ни собралось нищих возле ворот кладбищенских, Лужков ни одного из них не обделял милостыней — из своей пенсии. Сам же он с солдатами кормился в ближайшей простонародной харчевне. Каждый день по три часа он писал, а написанное солдатам не читал и никому не показывал...

Пережил он и Павла I, а в царствование его сына Лужков — день за днем — копал на Охтенском кладбище могилы для бедняков, ни гроша за свой труд не требуя. С отрывания могил Лужков начинал Божий день — с лопатой в руках его и заканчивал.

В этом он усматривал «философию» своей жизни.

Он умер, а записки его бесследно исчезли.

Упомянув о пропаже лужковских мемуаров, А.М. Тургенев заключал: «Потеря эта весьма важна для летописи нашей».

Мне остается только печально вздохнуть, присоединившись к мнению летописца той эпохи, весьма странной для понимания моих современников, живущих в конце XX века.

Досуги любителя муз

Вдали остался древний Торжок — с его душистою тишиной провинции, с угасшей славой пожарских котлет, воспетых Пушкиным. Бежали поляны в синих васильках, сухо шелестели серебряные овсы — поля, поля, поля... Над разливами хлебов показались кущи старого парка — это село Никольское на реке Овсуге; за кулисами юной поросли укрылись остатки былой усадьбы. «Минувшее предстало предо мною!» Отсверкали молнии давних времен, войны чередовались с недородами, эпидемии с восстаниями, но здесь до наших дней выстояли могучие вязы и липы, веками цветет неутомимый жасмин, вспыхивают яркие созвездия шиповников. Вот и ротонда мавзолея-усыпальницы, где опочил сам создатель этой красоты, когда-то писавший: «Я думал выстроить храм солнцу... чтобы в лучшую часть лета солнце садилось или сходило в дом свой покоиться. Такой храм должен быть сквозным... с обеих сторон его лес. Но где время? И где случай?»

Время вспомнить о Николае Александровиче Львове. Выпал случай начать рассказ с Гаврилы Державина, ибо имя Львова неотделимо от имени великого русского барда.

Смолоду парил высоко, но земных радостей не избегал. Катерина Урусова, некрасивая тихонькая поэтесса, была влюблена в этого

крепкого, добротного человека, хотя Гаврила Романыч от брачных уз с вдохновенной княжной уклонился.

— Я мараю стихи, да еще она марасть станет, эдак-то и щей некому в доме будет сварить, — говаривал он себе в оправдание.

А на празднике водосвятия, глядя на суету народную из окошек дома Козодавлевых, заметил он в толпе девицу Катерину Яковлевну, и она ему полюбилась. Нанес визит ее матушке; босая девка светила поэту сальной свечкой, воткнутой в медный подсвечник; пили чай в горницах; избранница поэтического сердца вязала чулок и отвечала лишь тогда, когда ее спросят; улучив момент, Державин с прямою солдатом заявил красавице:

— Уж ты не мучь меня, скажи — каков я тебе кажусь-то?

— Да не противны, сударь...

В апреле 1778 года сыграли свадьбу, и поэт надолго погрузился в семейное блаженство, никогда не забывая воспеть в стихах свою волшебную «Плениру». В одно же время с женою обрел Державин и друга себе — Николеньку Львова, а этот замечательный человек вошел не только в быт, но и в поэзию Державина... Историки признают, что «в поэзии Львов выше всего ставил простоту и естественность, он знал цену народного языка и сказочных преданий. Львов надолго остался главным эстетическим советником Державина».

— Опять ты, Романыч, под облака залетел, — выговаривал он поэту. — На что тебе писать «потомком Аттилы, жителем реки Ра»? Не проще ли сказать эдак: сам я из Казани, урожден на раздолье волжском. Отвяжись от символов классических, от коих ни тепло, ни знобко, — стань босиком на землю русскую! Давеча за ужином нахваливал ты пирог с грибами да квасы с погребца...

— Ой, Николка, друг мой, што говоришь-то? Неужто мне, пииту, пироги с квасами воспевать?

— А разве не слышал, как девки в хороводе поют: «Я с комариком плясала»? Простонародье и комара смело в поэзию погружает.

Пироги да квасы — суть приметы жизни народной. Вот и пиши, что любо всем нам, и станешь велик, яко Гомер... Воспарить к славе можно ведь и от румяной корочки пирога!

Из подражателя классикам Державин вырос в дерзкого разрушителя классики, а советы Львова даром не пропали:

Я озреваю стол — и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором;
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером
Там щука пестрая — прекрасны!

Так не мог бы писать ни Тредиаковский, ни Ломоносов! Так мог писать только Державин — певец радостей бытия.

Как никто другой, он умел брать слова, подобно живописцу, берущему на кисть краски, и писать словами стихи, похожие на живописные полотна... Смотрите, какие он создавал картины:

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна:
В серебряной своей порфире,
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.

Именно так: не читайте, а — *смотрите*, ибо это уже не столько поэзия слов, сколько совершенства живописных красок. Впрочем, Державин не всегда подчинялся редактору — Львову:

— А кто сказал, что речь должна без ошибок быть? Скушно мне от слов, кои вылизаны, как мутовка старая. Нет, друг мой! Это чиновнику ошибаться нельзя, а творцу даже полезно...

Да и сам Львов не чтит литературных канонов:

Анапеста, Спондеи, Дактили
Не аршином нашим меряны,
Не по свойству слова русского
Были за морем заказаны.
И глагол славян обильнейший,
Звучный, сильный, плавный, значущий...

— Этот глагол, — утверждал Львов, — чтобы в заморскую рамку
втиснуться, ныне принужден корчиться... а Русь размашиста!

Поэты редко следуют по избитым в жизни путям.

Однако случилась самая банальная история...

Петербург был прекрасен! Прямые перспективы еще терялись
тогда на козьих выгонах столичных окраин; трепеща веслами, как
стрекозы прозрачными крыльями, плыли по Неве красочные, убран-
ные серебром и коврами галеры и гондолы, и свежая невяская вода
обрызгивала нагие спины молодых загорелых гребцов...

На одной из линий Васильевского острова проживал сенатский
овер-прокурор Алексей Афанасьевич Дьяков, и никто бы о нем в
истории не вспомнил, если бы не имел он пятерых дочерей-красавиц.
Так уж случилось, что девиц Дьяковых облюбовали поэты. Стихотво-
рец Василий Капнист женился на Сашеньке Дьяковой, а Хемницер и
Львов влюбились в Марьюшку; она из двух поэтов сердцем избрала
Львова, после чего Хемницер уехал консулом в Смирну, где вскоре
и сгинул в нищете и одиночестве. Державин, когда скончалась его
волшебная «Пленира», тоже явился в дом Дьяковых, где избрал под-
ругу для старости — Дашеньку, но это случилось гораздо позже...
А сейчас прокурор Дьяков мешал браку Маши со Львовым, который
положения в свете еще не обрел, а богатства не нажил.

— Что у него и есть-то? Одно убогое сельцо Никольское под
Торжком, а там, сказывают, болото киснет по берегам Овсути, коровы
осокой кормятся... Да и чин у него велик ли?

— Николенька, — отвечала Маша, — уже причислен к посольству нашему в Испании, а в Мадриде, чай, чины выслужит.

— Вот и пушай в Мадрид убирается, — рассудил непокорный прокурор. — С глаз долой — из сердца вон...

Не так думали влюбленные, и Львов предложил Маше бежать в Испанию, где и венчаться; но все случилось иначе. Была зима — хорошая и ядреная, солнце светило ярчайше, сизые дымы лениво уплывали в небо над крышами российской столицы. Сунув руки в муфту, Маша Дьякова уселась в санки.

— Вези к сестрице, — велела кучеру.

Но едва тронулись, как в сани заскочил друг жениха Васенька Свечин, гвардейский повеса и гуляка лихой, любитель трепетных сердечных приключений. Кучеру он сказал:

— Езжай в Галерную гавань, прямо к церкви. Там уже все готово и нас ждут. Будешь молчать — детишкам на пряники дам...

В тихой церквушке Галерной гавани Львов тайно обручился с Машей, которую Свечин тем же порядком и отвез обратно под родительский кров. Молодые люди дали клятву скрывать свой брак от людей и несколько лет прожили в разлуке, храня верность друг другу. А родители, не зная, что их дочь замужем, все еще подыскивали для нее богатых женихов; в доме Дьяковых гремели балы, ревели трубы крепостного оркестра, блестящие уланы и гусары крутили усы...

— Неужто, — спрашивали отец с матерью, — золотко наше, ни один из них не люб твоему сердцу?

— Дорогие папенька и маменька, видеть их не могу!

— Да ведь годы-то идут... Гляди, так и засохнешь.

Прошло три года, и суровый отец уступил дочери:

— Ладно, ты победила, ступай за Николку своего...

В канун свадьбы молодые объявили, что они давно обручены. Дьякова чуть удар не хватил... Благородный Львов вывел перед гостями за руки лакея Ивашку и горничную Аксинью:

— Чтобы свадьба не порушилась, вот вам жених с невестой. Сколь любят они друг друга и страдают, Алексей Афанасьич, от того, что вы согласья на брак своим людям не даете. Сделаем же их сегодня счастливыми, а я с Марьюшкой и без того счастлив...

После чего Львов привез Машу в свое Никольское под Торжком, а там было все так, как говорил дочери отец: кисло древнее болото, тощие коровенки глодали жалкую осоку.

— Вот из сего скудного места я сделаю... *рай!*

Мечтать о красоте еще мало, красоту надобно создать, и только сделанное имеет ценность. Львов «рай» создал — и парк в селе Никольском сохранился до наших дней, как сказочный оазис. А в музеях висят портреты кисти Левицкого и Боровиковского, на которых изображены молодые супруги Львовы, и экскурсоводы никогда не забывают напомнить:

— Обратите внимание на эту женщину, Марию Алексеевну Дьякову, которая отмечена в истории тайным браком с Николаем Львовым, что в те времена казалось неслыханной дерзостью по отношению к сложившимся нравам... Они были образцовой супружеской парой!

Львов скромнейше называл себя лишь «любителем муз», но муз-то всего девять, а Николай Александрович — поэт и архитектор, дипломат и песенник, балетмейстер и механик, музыкант и фольклорист, садовод и художник, гравер и скульптор, конструктор машин и гидротехник, иллюстратор и редактор книг. Наконец, он и прекрасный... печник! Не слишком ли много занятий для одного человека? Немало, но зато жизнь насыщена до предела, и труд всегда радостен, как досуг, а досуги свои Львов опять-таки посвящал трудам праведным. XVIII век вообще не баловал людей профессиональным обучением, и это бурное столетие (время войн, философии и открытий) можно назвать эпохой, сработанной руками гениальных самоучек.

Львов всю жизнь прошел рука об руку с Державиным; поэт расшатывал устои омертвелога классицизма, неспособного согреть душу русскую, а Львов намечал будущие пути русской музыки и поэзии — к народности! До оперы Глинки «Иван Сусанин» было еще далеко, когда Николай Александрович сочинил простонародный текст к опере Фомина «Ямщики на подставе», которую тогдашняя критика разнесла в пух и прах именно по тем причинам, по каким позже оперу Глинки называли «мужицкой» оперой.

— Но так и будет! — вещал Львов. — В русскую землю надобно сажать русские деревья, а пальмы и пинии в ней не приживутся. Мой грех: люблю наши березы да елки, ольху да осинничек...

В 1790 году Львов напечатал «Собрание народных русских песен». Сборник надолго пережил создателя и часто переиздавался; не только русские музыканты, но даже Бетховен и Россини черпали для себя вдохновение из этой книги, используя мотивы народных песен, собранных Николаем Александровичем в своей деревне.

Он любил Русь, любил ее народ и природу, обожал русские праздники, шумные торжища ярмарок, гам и веселье балаганов, расписные дуги с валдайскими звонами, варенные на меду калачи да пряники; ему хотелось видеть страну красивой, и он ездил по родной земле, всюду украшая ее, как украшают перед свадьбой невесту. Львов поставил в Торжке и в Могилеве два прекрасных собора, расписанные изнутри кистью Боровиковского. За Невской заставой столицы соорудил уникальнейшую по форме церковь «Кулич и пасха»; Невские ворота Петропавловской крепости — тоже его работы. Но... что же главное? Я думаю, что здание Главпочтамта в Ленинграде, сооруженное Львовым, и есть главная его постройка. Вдумайтесь: сколько лет прошло с 1782 года, когда Почтамт был заложен, а здание до сих пор служит нам, удобное и просторное, теплое зимой и прохладное летом, в нем все торжественно и в то же время нет ничего лишнего, мешающего; все рационально и все здесь к месту!

От зодчества Львов естественно пришел к поискам новых материалов. Что вечно, что нетленно и что дешевле всего на свете? И он нашел такой материал — *землю!* Бери обычную землю — и строй сколько хочешь, лишь слегка укрепи ее раствором извести да утрамбуй как следует. Случилось так, что император Павел I, путешествуя по России, невольно обратил внимание на бедность крестьянских жилищ и решил улучшить вид русских деревень.

— Но из чего строить дешевле? — спросил он.

— Из... земли, — подсказал ему Львов.

Павел I был человек горячий, с воображением пылким, и увлечь его новизной было совсем нетрудно. На родине Львова, в селе Никольском, в 1797 году открыли первое на Руси «Государственное училище Земляного битаго строения» (так оно называлось). Учить землебитному делу обязали самого Львова, а в статусе училища было сказано, что оно организовано ради «доставления сельским жителям здоровых, безопасных (в пожарном отношении), прочных и дешевых жилищ и соблюдения (то есть сбережения) лесов в государстве». В школу поступали исключительно дети крестьян из безлесных районов страны, по два мальчика от каждой губернии...

Павел I очень любил «Гатчинскую мызу», свою резиденцию, а Львов тоже любил Гатчину, ибо немало смекалки вложил в устройство парковых «руин», каскадов и водоспусков. Когда император стал гроссмейстером Мальтийского ордена, он сказал:

— Львов! Построй же для меня в Гатчине здание приората, где бы я мог с достоинством играть роль мальтийского приора. Мне не нужен мрамор — это обычно, сооруди, как ты умеешь, землебитное строение. А место для приората избери сам...

Но у Львова было немало завистников, желавших навредить ему, и среди них — генерал-прокурор империи П.Х. Оболянинов, который места для строительства приората не отводил. Львову он так прискучил своей вредностью, что он сказал:

— Петр Хрисанфыч, тогда сам избери мне место...

Генерал-прокурор отвел зодчего на южный берег Черного озера, где в болоте увязали даже гатчинские собаки, а кошки туда вообще не наведывались. Встав на кочку, Обольянинов объявил:

— Хошь, бери это миленько местечко! А другого нету...

Львов собрал своих землебитчиков и спросил:

— Как быть?

Глядя на болото, которое пузырилось гнилостью, мужики отвечали:

— Никола Ляксандрыч, тока не пужайся сам и не пужай брата нашего! Верь, сударь ласковый, что лицом в грязь не ударим... А ударим по рукам на уговоре: ты нам ведро белого поставь и сам сиди в кустиках — смотри, как мы чертей из болота погоним!

Осушили они болото, а изъятую при осушке почву подняли над озером, и на холме стали возводить здание. Приорат вырастал над водой, похожий на старинный рыцарский замок с башнею; мастера-землебитчики не подвели архитектора — сооружение из земли встало на земле, словно в землю вкопанное. Во время Великой Отечественной войны возле гатчинского приората рвались авиабомбы страшной разрушительной силы, вокруг сметало постройки, ломало столетние деревья, но стены львовского приората не осели, не треснули. Землебитное строение выдержало самое трудное испытание — временем, и сбылись пророческие слова Державина:

Хоть взят он от земли и в землю он войдет,
Но в зданях земляных он вечно проживет...

Теперь в приорате — Дом пионеров и школьников Гатчины.

В наше время расходуется множество строительных материалов — кирпич, бетон, камень, алюминий, железо, стекло, пластики... Николай Александрович нагнулся и взял землю из-под ног своих.

Получилось дешево и прочно! А я иногда думаю: может, мы слишком рано забыли о земле?

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Пожалуй, это самые могучие строчки Державина, который своего друга Николенку Львова пережил на целых одиннадцать лет.

Державинская «река времен» размыла берега прошлого...

Но мне думается, что уничтожить «все дела людей» она все-таки неспособна. Львов остался понятен своим потомкам.

Сейчас его изучают — историки, литературоведы, музыканты, архитекторы, планировщики парков и садов отдыха.

Академик А.А. Сидоров в своем капитальном труде «Рисунок старых русских мастеров» пишет, что уже настала пора для создания солидной монографии о творчестве Львова...

Архивы еще не подняты! Пока что Львов живет в мемуарах, в записках современников, в трудах краеведов, в каталогах...

Николай Александрович умер в 1803 году. Дарование к живописи унаследовал от него правнук — замечательный русский художник Василий Дмитриевич Поленов.

Он был *первым* в СССР живописцем, которому присвоили звание народного художника республики...

В элегии декабриста Одоевского сказано:

Но вечен род! Едва слетят потомков новых поколенья,
Иные звенья заменят из цепи выпавшие звенья.

Есиповский театр

На этот раз я приглашаю своего читателя в... театр.

Только не в московский или петербургский, которые подробно описаны в наших солидных монографиях, — нет, я заманиваю вас в глухомань старой русской провинции, где в конце XVIII столетия насчитывалось около двухсот частных театров с крепостными Анютками и Тимохами, которые по вечерам, подоив коров или наколов дровишек, дружно входили в благородные роли Эвридик и Дидон, Эдипов и Фемистоклов. В конце самых кровавых трагедий публика, естественно, требовала развлечений.

«...тута наш Эдип горящую паклю голым ртом жевать приметца и при сем ужасном опыте не токмо рта не испортит, в чем всяк любопытный опосля убедитца, в рот ему заглянув, но и грустного вида не выкажет. За сим уважаемые гости с фамилиями (семьями, говоря иначе) почтительнейше просюютца к ужину в конец липовой аллеи, туды, где моя аранжирея...» — здесь, читатель, я процитировал театральную афишу села Сурьянино Орловской губернии.

Боже мой, как давно это было, и если уцелело Сурьянино до наших времен, то колхозники вряд ли посещают местный театр, где актеры без боязни жуют горящую паклю, после чего «фамильно» гуляют в оранжереях, поспешая к веселому ужину. Между прочим, я давно заметил: каждый раз, когда речь заходит о крепостном театре (именно таким он и был в русской провинции), сразу же вспоминают знаменитую Парашу Жемчугову:

— Вот вам! Крепостная девка, а стала «ея сиятельством», пролив род графов Шереметевых до самой революции...

Но случай с Парашей исключительный, недаром же о ней так много написано. Спасибо и Герцену за его «Сороку-воровку», Лескову за «Тупейного художника», князю Кутушеву за его «Корнета Отлетаева», они задолго до нас распахнули пыльные кулисы крепостного театра, расписанные доморощенными Рафаэлями,

— те самые кулисы, за которыми скрывались любовь и ненависть, коварство и искренность. История таких дворянских театров имела немало летописцев, но из прискорбно-героической летописи я, читатель, безжалостно вырву для вас только одну старинную страницу...

Слушайте! Я буду рассказывать то, что известно из стародавних воспоминаний, а заодно расскажу о том, что ускользнуло от пристального внимания наших историков-театроведов.

В самый канун прошлого века среди множества частных театров когда-то славился и театр помещика Петра Васильевича Есипова в его селе Юматово, что находилось в сорока верстах от Казани. Место глухое, в стороне от больших дорог, а театр все-таки существовал, хотя владелец его ни титулом, ни чином не блистал — всего-то лишь отставной прапорщик. Кстати, холостяк!

Отыграв летний сезон в Юматове для гостей и заезжих, Есипов на зиму вывозил труппу в Казань, где он выстроил городской театр, постепенно разоряясь на музыкантах и декорациях, отчего денег ему хватало только на освещение сцены, а зал тонул в кромешном мраке, почему публика ездила к Есипову со своими свечками, губернаторша привозила в свою ложу домашнюю лампу. Петр Васильевич допускал в театр не только горожан, но и местных татар, для которых однажды поставил оперу «Магомет». Когда же на сцену вынесли чалму Магомета, «среди татар возникло смятение: торопливо скинули с ног своих туфли, попадали ниц для молитвы и, наконец, всей толпой хлынули вон из театральной залы, оглашая спящую Казань возгласами «А л л а...».

По словам знаменитого Филиппа Вигеля, этот Есипов был «ушиблен» Мельпоменой и своим же театром. Мельпомене услужая, он от «ушибов» лечился. Вигель сам бывал у него в Юматове — в самый разгар летнего сезона. «Хозяин встречал нас с музыкой и пением... это был добрый и пустой человек, рано состарившийся, который не умел ни в чем себе отказывать, а чувственным наслаждениям он не

знал ни меры, ни границ, — вспоминал Вигель. — Через полчаса мы были уже за ужином...»

Тогда бытовал такой порядок: женщины садились по одну сторону стола, мужчины — по другую. Но каково же было удивление Вигеля, когда он оказался между двумя красавицами, а вся столовая наполнилась нарядными женщинами, которые вели себя чересчур свободно, призывно распевая перед гостями:

Обнимай, сосед, соседа,
Поцелуй, сосед, соседку...

Только теперь до Вигеля дошло, что это не окрестные барыни, а крепостные артистки Есипова; хозяйски руководя застольем, они подливали Вигелю пенную чашу. «Не знаю, — писал он в мемуарах, — какое название можно было дать этим отравленным помоям. Это было какое-то дичайшее смешение водок, вин и домашних настоек с примесью, кажется, деревенского пива, и все это было подкрашено отвратительным сандалом...»

Мне все понятно: не хватало денег на освещение театра — не было их и для закупки хорошего вина, и Вигель тогда же отметил, что село Юматово, кажется, было уже последним имением Есипова — все остальные давно проданы или заложены. Но театр процветал! Ушибленный им, Есипов им же и лечился.

Писатель Аксаков, тоже знакомый с труппой Есипова, отличал в ней красавицу Феклушу Аникиеву, к ногам которой казанская публика не раз швыряла кошельки с золотом, а Филипп Вигель, думаю, не мог не заметить и Г р у н ю... тихую и красивую Груню Мешкову, которая за господским столом вела себя с почти царственным величием примадонны.

Из глубин века XVIII мы, читатель, уже вторглись в следующее столетие, и здесь, на переломе эпох, сразу же сообщая, что театр П.В. Есипова просуществовал до 1814 года, и виновато в этом не

только оскудение его владельца — в этом повинно и нечто такое, о чем наши ученые еще не имеют определенного представления, не в силах объяснить таинственные явления. Те самые явления, которые наши легковверные пращурь извечно приписывали к серии чудес «загробного мира».

А в наше повествование уже вторгается смелая женщина.

Точнее — не только смелая, но отчаянно-храбрая.

О таких, как она, принято говорить — «сорвиголова»!

С детства нам памятно хрестоматийное: «Коня на скаку оставит, в горящую избу войдет...» Да, в старое время, как и поныне, немало водилось женщин, которым лучше бы родиться мужчинами. Кажется, они и сами сознавали это, не расставаясь с пистолетами, многие носили мужской костюм (вспомним, наконец, императрицу Елизавету, которая не стыдилась танцевать с дамами и фрейлинами в гусарских штанах). «Девушка-кавалерист» Надежда Дурова или же лихая партизанка Василиса Кожина вошли в отечественную историю, и даже на эскадре адмирала Рождественского, плывущей в пекло Цусимы, обнаружился матрос, при тщательной ревизии оказавшийся девушкой. Ох, многое мы позабыли!

Конечно, Александра Федоровна Каховская, урожденная Желтухина, дворянка Казанской губернии, никак не годится для помещения ее имени в учебник истории. Однако, по свидетельству современника, «природа ошибкой создала Каховскую женщиной, наделив ее всеми качествами мужчины. Она была смелая и отважная до безумия: для нее совсем не существовало чувство страха. Каховская просто не понимала — как можно чего-то бояться!»

Словно в насмешку, судьба одарила ее таким мужем, жизнь с которым напоминала боевые испытания на воинском полигоне. Когда супруги открывали огонь из пистолетов, то все жители деревни спасались за околицей от шальных пуль, кружившихся над ними, словно шмели над медом. Кончилась эта семейная идиллия одним

удачным броском кинжала, пронзившим ногу Каховской, после чего она всю жизнь не могла избавиться от хромоты. Подхватив грудного младенца, прижитого ею в краткие перерывы между баталиями, Александра Федоровна вскочила в седло и, выстрелив на прощание в своего драгоценного мужа, крикнула:

— Больше ты меня никогда не увидишь...

Александра Федоровна уже не пыталась найти утешение в браке, всю свою жизнь посвятив воспитанию сына. Как она воспитала его — этого я не знаю. Но мне известно, что юный Каховский, служивший потом в кирасирах Петербурга, редко промахивался на дуэлях, за что и был посажен в Петропавловскую крепость. Александре Федоровне было тогда под сорок лет. Прослышав о беде с сыном, она помчалась в столицу — верхом!

Семьсот пятьдесят верст от Казани при тогдашнем бездорожье, да еще в осеннюю слякоть, без провожатых и слуг, Александра Федоровна проскакала одна, и Александр I выпустил ее сына из заточения, говоря приближенным:

— А разве можно отказать такой женщине?..

Николай Иванович Мамаев, казанский старожил, с детства знавший Каховскую, писал в мемуарах, что не только опасности искали Каховскую, но и сама Каховская как будто нарочно выискивала опасности. Лучшим развлечением для нее была перестрелка в ночном лесу с разбойниками, она отчаянно кидалась наперерез взбесившейся тройке лошадей, удерживая их на самом краю оврага. Но из любых приключений женщина выходила даже без единого синяка, очень довольная испытанным ею риском.

— Если жить, так лучше всего на полном скаку, чтобы ветер свистел в ушах, — говорила она. — Не танцевать же мне... Да и кому я нужна такая? До утра подержат, а утром выгонят!

Каховская была некрасива, волосы ее очень рано поседели, и, будто предвосхищая моду будущих нигилистов, она стригла их очень коротко; при этом была близорука и не расставалась с лорне-

том, «рукою, которому служило кольцо, которое она вздевала на свой указательный палец». Наконец, все в Казанской губернии знали Каховскую как человека удивительно доброй души, она никому и никогда зла не сделала, все ее любили и уважали...

Однажды летом, в истомляющий зноем день, Александра Федоровна собралась навестить своего брата в его именице Базяково, что лежало в закамских лесах. Дорога предстояла дальняя. Шестерик лошадей, заранее откормленных овсом, был впряжен в старинную развалюху-карету со слюдяными окошками. Песчаная дорога и несносная жарыща очень скоро истомили лошадей, а за лесом уже начиналась гроза, все разом потемнело, зигзагами вспыхивали в отдалении молнии, ветер раскачивал и валил наземь гигантские сосны, пошел дождь, а ямщик забеспокоился.

— Барыня, — сказал он Каховской, — как хошь, гляди сама, экие деревья поперек дороги падают, да и лошадушки из сил выбились. Уж ты будь добра — повели назад поворачивать.

Распахнув дверцу кареты, Каховская огляделась:

— Заворачивай направо в проселок, отселе, кажись, версты три, не более, до есиповского Юматово, а я чаю, что Петр Василич Есипов будет рад меня видеть...

Лошадей завернули («вместе с тем, гром и молния, как бы довольные тем, что принудили ее переменить свой путь, начали удаляться»), и вскоре за лесом забрезжили теплые лучинные огни в окошках деревни. Юматовский староста, хорошо знавший Каховскую, встретил ее с поклоном на пороге своей избы, сообщив, что Есипов давно не живет в деревне, а дом господский пустует:

— Все беды начались с того, как сбежала Груня Мешкова, которую барин почитал главным украшением своего театра, после чего Петр Василич и сам отъехал в Казань на житие. Не знаю, правда ли, но люди пришлые сказывали, что болеть стал почасту...

Каховская сказала, что ей надобно переночевать:

— Гроза-то прошла, но, может, другая к ночи собирается.

— Милости просим, — радушно отвечал староста. — Но боюсь, что несвычайно вам будет в избе нашей. Но моя семья на полатах потеснится, а вашу милость на лавке уладим...

Александра Федоровна удивилась:

— Будто ты, Антипыч, впервой меня видишь! Да я сколько раз у барина твоего гостила — так вели отворить дом господский, не обворую же я его хоромы. Опять же и неловко мне, ежели стану детишек твоих в избе беспокоить.

— Не смею, сударыня, — вдруг отвечал ей староста.

Тут Каховская даже обзлилась на него:

— Так тебе же и попадет от барина, ежели Петр Василич проведает, что ты меня в его же дом ночевать не пустил.

— Эх, барыня, не страшай ты меня гневом господским! — отвечал Антипыч. — И совсем не того я боюсь — и н о г о.

— Так чего ж ты боишься?

Антипыч пугливо огляделся по сторонам и сказал:

— С той поры, как барин отъехал, нечисто там стало.

— Эка беда! — отмахнулась Каховская, глянув на проясневшее небо. — Ежели и не прибрано, так мне все равно.

— Я о другом, сударыня, — тихо произнес староста. — В дому господском даже лакеи жить отказались, потому как уже не раз люди прислужные видали в дому привидение.

— Так на ловца и зверь бежит! — обрадовалась Каховская, даже подпрыгнув от радости, словно шаловливая девочка. — Уж сколько бак разных про нечистую силу слыхивала, а вот видеть еще не доводилось... Отворяй дом господский. Не лишай меня, Антипыч, такого великого удовольствия... веди!

— Воля ваша, — согласился староста; он зажег фонарь, взял ключи и сказал: — Ну, пойдемте... отворю вам. Только на меня потом не пеняйте, ежели што случится...

Дождь кончился. С листьев падали тяжелые капли.

В природе наступило успокоение.

Двери в господскую домовину с тяжким скрипом отворились.

Изнутри пахло нежилой сыростью и запустением.

— Прикажете сразу отвести в опочивальню? — спросил староста.

— Нет, — отвечала Каховская, — веди прямо туда, где являлось вам привидение. Страсть как желаю с ним познакомиться!

Юматовский староста, горничная и лакей Есипова, сопровождавшие Каховскую, явно тряслись от ужаса, и Александра Федоровна, заметив их страх, распорядилась:

— Невольно никого не стану. Принесите мне из кареты пистолет, французский роман, который не дочитала в дороге, две подушки, распалите свечу и... можете уходить.

Оставшись одна-одинешенька в пустом, гулком и скрипучем доме, женщина предварительно осмотрелась. Это была «ломберная» комната, из которой застекленная веранда выводила в старинный сад, таинственно почерневший к ночи. Каховская с пистолетом в руке обошла и соседние комнаты, ничего подозрительного в них не обнаружив. Затем придвинула «ломберный» столик к дивану, положила возле свечи пистолет и легла, чтобы наслаждаться любовной интригой французского романа.

— Какой ужас! — однажды воскликнула она, дочитав до того места, где герой романа объявил героине, что страсть его иссякла, он полюбил другую...

Конечно, нервы у Каховской немного пошаливали, и на каждый шорох она быстро реагировала взведением курка пистолета.

Но пока все было спокойно, уже начал одолевать сон, время близилось к полуночи, взошла луна... Зевнув, Каховская отложила роман и решила уснуть, но случайный взгляд, брошенный на окна веранды, заставил ее невольно ужаснуться.

— Кто ты? — шепотом спросила она.

При этом вскинула руку, поднося лорнет к глазам.

Сомнений не было — нет, староста ее не обманывал.

В дверном проеме веранды стояла женская фигура, вся в белом, при ярком лунном свете она излучала какое-то небесное сияние. Но тут Каховская заметила, что призрак женщины слабым движением головы как бы призывает ее следовать за собой.

— Хорошо... я иду, — согласилась Каховская.

Она поднялась с дивана, левой рукой взяла шандал со свечой, в правой держала пистолет — и тронулась следом за призраком, невольно покоряясь явственному призыву. В саду ветер сразу задул свечу. Было жутковато во мраке ночного сада, но Каховская шла следом за белой фигурой женщины, которая время от времени мановением руки увлекала ее за собой в глубину садовой аллеи.

Наконец привидение остановилось, словно указывая цель пути, и... тут же исчезло. Александра Федоровна оставила на этом месте шандал с погасшей свечой, вернулась в есиповский дом, легла и сразу очень крепко уснула.

Конечно, юматовские крестьяне уже известились, что отчаянная барыня ночевала в доме Есипова, и, когда Каховская воспрянула ото сна, возле крыльца ее уже поджидал староста.

— Антипыч, — повелела ему Каховская, — скликай всех юматовских мужиков и баб даже с детишками, пусть и священник с причтом своим ко мне явится немедленно.

— А что случилось-то, хосподи?

— Сама не знаю. Но распорядись взять лопаты...

Большая толпа крестьян сопровождала ее вдоль того же пути, который она проделала ночью — следом за привидением. Детвора даже радовалась, мужики поглядывали с опаской, бабы чего-то пригорюнились, а старый попик часто восклицал:

— Молитесь, православные! С нами сила небесная...

Вот и этот шандал, оставленный ночью на земле.

— Копайте здесь, — указала Каховская.

Глубоко копать не пришлось. Людским взорам открылся полуистлевший скелет, козловые башмаки с бронзовыми застежками, нитка бус, обвивавшая ребра, уцелела нетленная русая коса.

— Груня! — раздался вопль из толпы.

Это узнала свою дочь старуха Мешкова — узнала по косе и по бусам, и тут все разом заговорили, что Груня-то Мешкова не бежала от актерской неволи, как не раз утверждал их барин, горюя, а вот же она... вот, вот, перед нами!

Каховская не выдержала — разрыдалась.

— Отец, — сказала она священнику, — вели собрать эти кости да погреби их по христианскому обряду, чтобы Груня более не блуждала по ночам, людей пугая, а я... я более не могу!

Отдохнувшие за ночь лошади уже были впряжены в карету, кучер еще раз подтянул упряжь, расправил в руках вожжи.

— Ну, барыня, так в Базяково едем? — спросил он.

— Нет, — отвечала Каховская, кладя слева от себя французский роман, а справа заряженный пистолет. — Мой братец обождет. Разворачивай лошадей обратно... мы едем в Казань!

Казанский дом П.В. Есипова располагался на углу Покровской улицы и Театральной площади (не знаю, как они сейчас называются). Лошади громко всхрапнули у подъезда, но никто из дома не выбежал, встречая, никто даже из окон не выглянул. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, где находились покои Есипова, Каховская — лицом к лицу — столкнулась со священником, который спускался вниз, неся «святые дары».

— Вы к нему? — многозначительно спросил он женщину. — Так поспешите. Уже кончается.

— Как? — обомлела Каховская.

— А так... на все воля Господня.

Александра Федоровна одним махом миновала последние ступени и, отодвинув врача, который не пускал ее далее, заявила:

— Не мешайте мне. Он еще не все сказал.

— Все сказал, все! — разом загалдели домашние лакеи. — Исповедь-то была, все сказал и уже отходит.

— Прочь от дверей... я сама его исповедую!

И, войдя, она двери за собой плотно затворила. Есипов лежал на смертном одре, но, кажется, нисколько не удивился появлению Каховской, вопрос его прозвучал вполне разумно и внятно:

— Чем обязан вашему визиту, сударыня?

Каховская решила не шадить умирающего.

— Петр Василий, — сказала она, — ты сейчас предстанешь перед судьей вышним, а потому говори правду... едино лишь правду желаю от тебя слышать. Скажи: ЗАЧЕМ ТЫ УБИЛ ГРУНЮ МЕШКОВУ?

Глаза Есипова, уже померкшие, глядевшие чуть ли не с того света, вдруг яростно блеснули, и казалось, вылезут из орбит.

— Кто, кто, кто сказал? Откуда сие стало известно? — захрипел он, силясь подняться с подушек на локтях.

— Мне об этом сказала... она.

— Кто?

— Сама Груня...

Старый театрал рухнул на подушки, и казалось, что умер.

Но затем все тело Есипова содрогнулось в рыданиях.

— Я думал унести свой грех в могилу, но ты... вы и Груня... Ладно! Пусть так. Скажу все... мне уже ничего не страшно!

Есипов вдруг горячо заговорил о своей мучительной страсти к театру, разорившему его, он сознался, что Груня Мешкова, самая талантливая актриса на свете, была его последней усладой, он даже помышлял на старости лет жениться на ней.

— Это был драгоценный перл моей сцены и алмаз души моей. Ничего не жалел для нее! — выхрипывал из себя умирающий. — Я сапожки ей хорошие справил, я бусами ее одарил, а она...

Навзрыд плачущий, Есипов вдруг стал метаться, речь делалась бессвязной, но Каховская все же понимала его. Оказывается, кто-то из лакеев наушничал барину, что Груня неверна ему, собираясь бежать в Москву с одним из крепостных же актеров. В один из вечеров Есипову нашептали, что убедиться в измене он сам может — ночью у нее свидание с любовником в самом конце липовой аллеи. Есипов

не стерпел, что крепостная актриса предпочла его, дворянина, крепостному же актеру, и действительно он в самом конце аллеи застал Груню Мешкову.

— Я так любил ее, я так не хотел этого...

— Разве она была не одна? — спросила Каховская.

— Одна, — сознался Есипов.

— Так что же?

— Но я уже не мог слышать никаких ее оправданий. А потом...

Умирующий замолк с открытыми глазами. Каховская напомнила:

— Так что же потом?

— Потом я своими же руками и закопал ее под клумбой в конце той же аллеи. Вот теперь знаете все. Прощайте...

«Затем с ним началась предсмертная агония. Каховская вскричала людей, и Есипов на ее же руках и скончался...»

А далее что-то непонятное случилось с самой Александрой Федоровной. Всегда энергичная и бодрая женщина, экспансивная в разговорах и поступках, она разом поникла, быстро состарилась, неожиданно ее разбил паралич. Глаза, прежде столь ясные и выразительные, потускнели... Именно такой застал ее Н.И. Мамаев, навещавший Каховскую с матушкой, и рассказ о встрече Каховской с ночным привидением он слышал из ее же уст.

— Как все странно! — не переставала удивляться Александра Федоровна. — Ехала я к братцу, ни о чем ином не думая, но гроза вынудила меня изменить путь. Порою кажется, само Провидение заставило меня ночевать в пустом доме, всеми заброшенном и проклятом, а тень Груни Мешковой выбрала не кого-нибудь, а именно меня, женщину с мужским характером, которая не побоялась следовать в сад за этой же тенью. Наконец что-то, для меня так и не объяснимое, увлекло меня прямо к Есипову, которого смерть на миг отпустила из своих объятий, дабы я услышала его откровенную исповедь... Все это вряд ли случайно, — заключила Каховская. — Во всем, что со мною

случилось, я вижу какое-то преднамеренное сцепление странных и загадочных обстоятельств...

Прощаясь с Мамаевыми, она тихо заплакала:

— Что ж, огненные очереди за мной. Увижу ль я вас? Одного никак не пойму — чем я провинилась в этой жизни?..

Александра Федоровна долго еще страдала, прикованная к постели, и скончалась только в 1829 году.

На старости лет, пребывая в почетной, но бедной отставке, Николай Иванович Мамаев писал свои мемуары, временами ликуя иль плача от нахлынувших воспоминаний. Касаясь судьбы театрала Есипова и Каховской с тенью крепостной актрисы Груни Мешковой, мемуарист пришел к очень разумному выводу:

«Явление это, по своему свойству выдающееся из ряда обыкновенных и, по-видимому, находящееся в ясном противоречии с общеизвестными законами природы, заслуживает самого серьезного изучения, и, вероятно, при дальнейшем старательном анализе подобных фактов и рядом опытов будет объяснено следующими за нами поколениями, и тогда из области сверхъестественного и чудесного перейдет в сферу научных исследований. В НАСТОЯЩЕЕ ЖЕ ВРЕМЯ ТАКИЕ СЛУЧАИ ОСТАЮТСЯ ДЛЯ НАС ПОКА ЧТО ЗАГАДКОЙ...»

Мне думается, что это мнение образованного человека прошлого столетия никак не расходится с авторитетным мнением ученых и философов нашего беспокойного и даже сумбурного времени.

Возле нас — необъяснимое, пугающее, волнующее...

Полет и капризы гения

Москва 1836 года... Жаркое летнее лето.

Елизавета Ивановна открыла двери и всплеснула пухлыми руками, такими плавными, и на каждой ладони — розовая ямочка.

— Ваня, — певуче позвала она мужа, — смотри-ка, гость у нас севодни акой приятной.

Из комнат выбежал Иван Дурнов, весь в радости: сам великий маэстро навестил жилище скромного московского живописца.

— Карл Палыч! — воскликнул он. — Дорогой вы наш...

Да, это был он. Короткое сильное туловище с животиком, выпиравшим из-под белого жилета, а руки маленькие и нежные, как у избалованной женщины. Но в пожатии они сильные, эти руки.

— Не ждал, Ванюшка? А я запросто... Не разбудил?

— Да нет, что вы! Мы рано встаем...

Брюллов снял шляпу, волосы золотым венцом распались над его массивною, но прекрасною головой. Он поцеловал руку хозяйке, и юная Елизавета Ивановна, кутаясь в старенький платок, невольно смутилась:

— Карл Палыч, что вы... Я по утрам такая некрасивая бываю, сама себе не нравлюсь.

— Синьора, — ответил Брюллов, — все мы, как правило, всегда некрасивы по утрам. Но вы... Вы даже не знаете, как вы божественны сегодня. Ванюшка, почему ты не напишешь портрета жены?

И этим он окончательно смутил женщину... Дурнов забегал перед создателем «Последнего дня Помпеи», услужливо отворял двери.

— Ваня, — сказала ему жена, — пойду приберу себя малость.

— Нет, нет! — властно удержал ее Брюллов. — Этот платок, поверьте, вам к лицу. Он украшает вашу прелесть.

— Еще бабушкин.

— Это ничего не значит...

Брюллов прошел в гостиную. Сел плотно, как хозяин.

— Ну что, Ванюшка, стоишь? Давай хвастай...

Дурнов, краснея, предъявлял свои последние работы:

— Мазочек вот тут не удался. А так-то ничего вроде...

Брюллов недовольно взмахивал короткой рукой:

— Дрянь! Мусор! Выбрось!

Солнечный луч замер на лице юной хозяйки.

Брюллов засопел, будто его обидели.

— Карл Палыч, — снова заробела женщина, — уж вы так на меня севодни смотрите. Право, и неудобно даже... Ведь неприбрана я!

Брюллов молчал, сосредоточенный. Неожиданно крикнул:

— Ванька! Палитру волоки. Ставь холст.

Дурнов одеревенело застыл — в растерянности:

— Зачем?

— Тебя не спрашивают зачем. Ставь, коли велю.

— Мигом... есть холсток. Для вас... мигом!

Перед мольбертом Карл Павлович Брюллов не спеша, со вкусом выбрал для себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони.

— Так и сидите, — сказал хозяйке, пронизывая ее взглядом...

Собрались домочадцы, пришли знакомцы из соседних домов по Никитской улице. Стояли в дверях, недвижимые, наблюдали. Имя Брюллова гремело тогда не только в России, но и во всем мире. Как же не повидать великого человека?

— Господи, — переживала, вертясь на стуле, Елизавета Ивановна, — да некрасивая я севодни. Дозвольте хоть приодеться мне!

— Синьора, уже некогда, — отвечал ей Брюллов,

— Лиза, — вступился муж наставительным тоном, — ты гению не перечь. Карл Палыч без тебя лучше все знает...

Стало тихо. Проснулась и зажужжала муха.

— Коли меня не уважаешь, — бубнил Дурнов, — так хоть гения уважь. Или не слыхала, что такое вдохновение?

— Слыхала... застращал ты меня словом этим.

— Помолчи хоть ты, Ванька, — строго потребовал Брюллов.

В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца.

— Вообще-то... дрянь! — неожиданно произнес маэстро.

— Что, что? — спросил хозяин. — Какая дрянь?

— Дрянь, говорю... вдохновение — дрянь! Порыв к работе важнее. На одном вдохновении далеко не ускачешь. Гений — это лишь

талант, который работает, работает... пока не сдохнет. Разве не так, Ванюшка? Корпеть надо — тогда получится.

Дурнов вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет за погрудный портрет с бар иногда по 10 000 рублей, да еще кривится при этом. Ивану Трофимовичу стало не по себе...

— Между прочим, — пожаловался в потолок, — нуждишка у нас, с хлеба на квас перебиваемся...

Брюллов пасмурно и недовольно глянул на него:

— И я, брат, нуждаюсь... сильно задолжал на Москве!

Величавым жестом он взялся за палитру.

Дурнов предложил ему уголек для разметки холста:

— Уголек-то... держите. Вот он.

Брюллов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения Елизавету Ивановну. Боясь, что угодил не так, как нужно, Дурнов отбросил уголь и протянул взамен кусок мелу:

— Может, мелком фигуру очертите, как и водится?

— Зачем? — спросил Брюллов отвлеченно.

— Все живописцы так-то мудро поступают.

— А я, прости, не мудрец, — отвечал Брюллов.

И вдруг... о ужас! Кисть его полезла прямо в раствор красного масла. Рука выбросила кисть вперед — и в самом центре девственного холста бутоном пышным расцвела ярчайшая точка.

Никто ничего не понимал, в дверях зашумелись.

— Эй, вы! Потише там... — крикнул хозяин.

Брюллов утомленно, словно проделан адский труд, откинулся на спинку стула. Минуты три он с удовольствием любовался этой красивой точкой, возникшей посреди холста по его желанию.

— А что же это? — осторожно спросил Дурнов.

— Губы.

— Впервые вижу.

— Дурак! Или губ никогда не видел?

— Да нет, кто ж так делает, чтобы с губ начинать?

— Я так делаю. Могу и с уха начать... Чем плохо?

Елизавета Ивановна чуть привстала со стула:

— Можно и мне посмотреть?

— Сиди уж, — придержал ее муж.

Брюллов, ограничив себя написанием губ, резко отшвырнул кисть.

При этом он брезгливо сказал хозяину:

— М а ж ь...

Дурнов с робостью перенял кисть:

— Карл Палыч, а что мазать-то мне?

— Платок мажь!

— Как мазать?

— Как хочешь, так и мажь. Что ты меня спрашиваешь?

Хозяин начал «мазать». Иногда спрашивал: так ли?

— Мне все равно, — отвечал Брюллов, даже не глядя...

Когда платок был закончен, Карл Павлович от чайного стола всем корпусом, порывисто и живо, обратился к мольберту:

— Ванька, ты — гений... Теперь дай кисть.

Уверенно стал выписывать вокруг губ овал женского лица.

— Чуть-чуть глаза... вот так, — велел он.

Елизавета Ивановна, малость кокетничая, подняла взор. В этот момент она напомнила Брюллову одну из тех римлянок, которых он изображал в картине разрушения Помпеи.

— Так, так! — обрадовался он. — Благодарю, синьора...

И замолчал. Работал рьяно. Потом стал зевать:

— Не выспался... Пойду-ка я.

— Карл Палыч, — взмолился Дурнов, — не бросайте, закончите!

— Ах, брат! Дальше как-то неинтересно.

— Христом Богом прошу... все просим. Закончите!

— Бери и заканчивай сам, — сказал Брюллов, поднимаясь.

— Да не могу я так, как вы это можете.

Брюллов пошел к двери, явно недовольный собой; издали глянул на портрет и звонко выкрикнул:

— Дрянь! Мусор! Выбрось!

И его тут же не стало... Великий человек удалился.

Иван Трофимович Дурнов был художник маленький, но человек добросовестный. Он понимал, что нельзя править и дописывать начатое гением. Портрет остался незавершенным шедевром...

В таких портретах таится особая прелесть. Как много надо было сказать! И как много еще не сказано! В таких случаях мы додумаем портрет сами...

День именин Петра и Павла

Данзас — зрение военных острое — первым заметил его, когда он завернул с Конюшенной на Мойку, еще издали снимая цилиндр. Полковник вернулся в номер, распустил крючки тугого воротника на вспотевшей шее.

— Спешит, — сообщил друзьям. — И тростью машет.

Павел Воинович Нащокин, выпитив брюшко и оттопырив сочную губу, присмотрелся к стрелкам своего «брегета»:

— Ай да Сашка! Небось опять пешком с Черной речки... Ну-ну, ходкий он! Шампазея-то, чай, подмерзла?

И побежал навстречу, заранее распахнув объятия. Пушкин вошел в номер. Расшвырял куда попало свои цилиндр, перчатки, трость. Сразу от порога Нащокин потянул с него узенький сюртучишко.

— Ну и жарница! А у нас ночью на даче гроза была... Вы тоже слышали? — спросил Пушкин.

Нащокин широким жестом обвел своих гостей.

— Этих поросят ты и сам знаешь, — показал он на князя Эристова и Данзаса. — А вот сей молодой пиит, должно быть, еще незнаком тебе... Пожалуй: поэт и артист Куликов!

Артист, заезжий из Москвы, почтительно склонился:

— Так-с... Только Павел Воинович напрасно меня поэтом величают. Высокого звания сего, увы, не достоин-с.

Нащокин был нетерпелив, и за спиною Пушкина разом дружно захлопали пробки. Перехватив бутылку из рук лакея, Павел Воинович деловито и со вкусом сам наполнил бокалы.

— «В известной Демута отели, — читал он, шепелявя, — берут с нас пятьдесят рублей. И то за мягкие постели. За кофе же, обед и чай...» Как дальше?

— «Особой платой отмечай», — смущенно закончил за него Куликов. — Произведение пера моего. Но это я так... балуюсь.

Бокалы сдвинулись, расплескивая пену.

— Воинович! — попросил Пушкин. — Отвори окна, жарко.

— Изволь, душа моя, изволь...

Нащокин распахнул окна, и в номера гостиницы Демута ворвался со двора оглушительный гомон рабочей артели.

— Шумно ж, брат, — поморщился князь Эристов.

— Неужели мы мужиков не перекричим?..

И началось — посреди дружеского пиршества — негласное соревнование господ в гостинице и мастеровых во дворе Демута. Друзья рассыпали каламбуры и анекдоты, а снизу, из прожаренной солнцем котловины двора, била кверху фонтаном, взрывая их тонкие речи, крепкая разноголосица мужиков.

— Это как понимать? — долетело в номер. — Кирпич от положения красу обретаает. Ты его вот так ложи — не глядится. Фасона нет. А бочком оберни — он тебе и зафорсил...

— Закройте же окна, — рассердился Данзас. — Слова не дают сказать... мммерзззавцы!

Пушкин поднялся из-за стола с бокалом в руке:

— А я их отлично понял... Кирпич, как и слово, пронизанное рифмой, тоже можно складывать в дивные поэмы.

Нащокин поднял бутылку — солнечно и радостно она отразила в прохладной глубине яркое сияние летнего дня.

— Сашка, — заорал он, — черт такой, пей! Будешь ты пить или нет сегодня?

— Погоди, цыган. — Пушкин облокотился на подоконник и свесился наружу, болтнув ногами...

Внутри двора броско краснел кирпич, сваленный грудой. А поверх ее восседала компания каменщиков — босых и радостных. Тут же стояло ведро с вином да ходила по рукам громадная миска с крошеной говядиной.

— Тоже гуляют, — блеснули из-за плеча зубы Пушкина.

Здоровенный каменщик с рыжими (под масть кирпича) волосами, что были перехвачены ремешком поперек черного от загара лба, горланил больше других.

— Ты меня тока не огорчай, — раздавалось во дворе, — и я тебя тоже всегда уважу...

Пушкин с ногами взобрался на подоконник:

— А ведь сегодня день Петра и Павла... Теперь я точно знаю, что там — именинники... Вон, орет рыжий!

И, высунувшись в глубину двора, Пушкин окликнул рыжего:

— Петра! Здравствуй же...

Мужик заерзал глазами по демутовским окнам. Заметил Пушкина в окне, и лицо его расцвело в хмельной доброте.

— Ты меня, што ли, барин? — спросил он гулко.

Пушкин приподнял бокал:

— Тебя... с ангелом твоим!

Мужик с радости схватил ведро, запрокинув его над бородатой пастью. На смуглом животе его заголилась рубаха. Обнажился средь

мускулов пупок. Пушкин тоже пригубил бокал, поглядывая с хитрецей на друзей в комнате.

— Твое здоровье, Петра, — сказал он.

Каменщик смахнул по губам рукавом рубахи:

— Во, мы каки, барин... А за поздравку — спасибо!

— Постой, — остановил его Пушкин, — а где же Павел?

Задрав головы, охотно загалдели все каменщики:

— Здесь! Отлучился Павел-то наш... недалече туточки. Сейчас, барин, вернется и Павел.

— А куда же он делся?

— Да вестимо, куда — в кабак! — загоготал Петр, тряся над собой пустое ведро. — Вишь, посуда-то вся обсохла...

И вдруг он пристально всмотрелся в резкие черты поэта.

— Барин, — окликнул он Пушкина снизу двора, а в голосе его проступила какая-то душевная тревога.

— Эй, — отозвался ему Пушкин с высоты.

— А почем ты меня знаешь-то?

Пушкин сделал друзьям знак рукою, чтобы ему не мешали, и сложил возле темных губ ладони:

— Петра, Петра! Я ведь и матушку твою знаю...

Мужик сбежал с груди кирпичей, встал под самую стенкою.

— Да ну? — спросил тихонько.

— Батюшка-то ведь твой помер, — сказал ему Пушкин, не то спрашивая, не то утверждая.

Каменщик истово перекрестился:

— Царствие небесное... помер. Правда...

Неожиданно мужики воспрянули с груди кирпичей:

— А вот и наш Павел идет!

Петр подмигнул Пушкину снизу двора:

— Сейчас мы вместе за помин отца мово выпьем!

Из подворотни Демута вбежал на двор молодой парень. У самой груди его плескалась большая бутылка с вином.

— Павел, — сказал ему сверху Пушкин, — неси скорее. Мы тебя тут заждались. Да и с ангелом тебя — прими, брат..

Павел в полном обалдении усталился на незнакомого господина в окне. Вскарabalкался босыми пятками на кучу кирпичей, и, не сводя с Пушкина глаз, он зубами выдернул из бутылки пробку.

Было слышно, как он спросил каменщиков:

— Это кто ж такой будет? Барин? Али еще как?

Мужики, сбившись в кружок головами и часто кивая в сторону Пушкина, что-то растолковывали ему.

Снова пошла по рукам миска с говядиной. Опять поднялся во весь рост рыжий гигант Петр, и ярким солнцем вспыхнула его голова на фоне золотистых, как буханки хлеба, кирпичей.

— Эй, барин! Стал быть, ты и наше Киково знаешь?

За спиною Пушкина раздался хохот друзей, и Нащокин потянул поэта прочь от окна — обратно за стол:

— Не позорься, Сашка! Врать ты хотя и горазд, но в Киково-то не бывал ведь, друг любезный, и не бывать тебе..

Но Пушкин снова крикнул в гулкий колодец двора:

— Киково-то? Еще бы не знать... у самой речки!

— Верно, у речки, — обрадовался Петр.

— А ваша изба, почитай, крайняя!

И даже заплясал внизу Петр, крайне счастливый, что встретил в столице земляка:

— Третья от околицы, барин... верно! Уж ты окажи милость, откедова ты все про меня знаешь-то?

— Чудак! — отвечал Пушкин. — Был я с твоим барином на охоте недавно, уток славно стреляли..

— Так, так, так, — закивал каменщик.

— Ну и дождь пошел. Гроза! Вот и зашли мы с ним в избу к старушке твоей..

Даже с высоты было видно, как изменилось лицо Петра:

— И ты, барин, выходит, старуху-то мою видел?

— Видел, Петра. Разговаривал.

— Ну и, выходит, что... жива она?

Пушкин, опечалась, поставил бокал на подоконник:

— Жива. Да вот на тебя, Петра, она жаловалась.

— Жалилась? Господи, да за што ж так?

Пушкин сверху указал на громадную бутыль с вином:

— Сам видишь небось. Ты винище здесь пьешь, а у матки твоей крыша совсем прохудилась. Чтоб тебе не выпить разок, а денег послать на деревню с оказией? Ведь стара она у тебя стала, Петра... совсем стара!

Каменщик опустил плечи. Вышел из-под тени стены. Медленно побрел через весь двор — в подворотню. Его позвали — он отмахнулся...

Пушкин соскочил с подоконника, но был он уже какой-то не такой, каким пришел сегодня к Демуту.

Провел он ладонью по лицу, словно смахивая нечаянную тоску, и протянул Нащокину свой опустевший бокал:

— Плесни мне, цыган! Если у вас осталось...

А над Петербургом плавилась ужасная жара. Над манежами и плацами висла белая мучнистая пыль. Вдали пересыпалась копытная дробь кавалерии, без песен ехавшей на Марсово поле...

И был самый разгар дня — дня 29 июня 1833 года.

День обычный, каких много.

Поэту осталось жить всего четыре года...

Свеча жизни Егорова

Недавно, просматривая «Старые годы», я снова перечитал статью о художнике Федоре Калмыке, который в Карлсруэ сделался придворным живописцем баденских герцогов. И захотелось рассказать о другом калмыке — он мог бы стать личным живописцем папы

римского, а при русском дворе императора Николая I его лишили громкого титула «русского Рафаэля».

Окунемся в старину. Однажды калмыцкая орда, населявшая приволжские степи, вдруг стронулась со своих кочевий в сторону далекой страны Джунгарии. Екатерина II послала за ордой погоню, и в 1776 году казаки нашли в покинутом улусе плачущего мальчика в желтых сапожках. Кто он такой, не выяснили. Сироту отправили в Московский Воспитательный дом, где его крестили, он стал писаться Алексеем Егоровичем Егоровым. Мальчик подрос, а тогда не было дурной привычки спрашивать: кем, миленький, стать хочешь? Детей, воспитанных на казенный счет, строили по ранжиру: ты — в музыканты, тебя — в сапожники, ты ступай в балет, а тебя — в повара... Алеше Егорову выпала доля:

— Сбирайся в Питерсбурх — быть тебе живописцем!

Быть — и никаких разговоров: повинуйся.

Академия художеств любила опекать сирот, становясь для них родимой семьей, но режим был суров; в пять утра (еще тьма-тьмущая на дворе) уже поднимали детишек, прикармливая их скудно: на завтрак — бобы, вместо чая — стакан шалфея с бубликом. В аудиториях — холод собачий, а рабочий день для мальчиков кончался в семь часов вечера гречневой кашей с молитвой, после чего — спать! И так — год за годом... Не это меня удивляет, а другое: на такой незавидной пище Егоров развился в Геркулеса, завивавшего кочергу в «восьмерку», легко рвавшего пальцами колоду карт. У него не было избранной судьбы — он взял ту, которую ему дали, и случилось чудо: проявился не просто талант, а талантище!

Скуластого подростка иногда спрашивали: «Откуда ты взялся? Что помнишь с детства?»

А в памяти уцелел дым кизяка, пестрые халаты, бег коней да шатры на степном приволье — и все. Зрелость наступила в 1797 году:

академия, признав талант Егорова, обеспечила его жалованьем, дала казенную квартиру с дровами и свечками, чтобы мог читать вечерами. Егоров обрел первых учеников. В характеристике его было начертано: «Свойства веселого и шутливого, трудолюбив, опрятности и учтивости мало наблюдает... сложения здорового». В изображении человеческого тела, играющего мышцами, он стал виртуозом. Анатомию изучил лучше врача. А знание «антиков» было таково, что любую статую рисовал наизусть.

— Рисунок — это наука. Точная, как и алгебра. Но умеете соблюдать античную красоту тела, — внушал он ученикам.

В 1803 году его послали пенсионером в Рим — ради совершенствования. Итальянский язык он освоил поразительно скоро. А появление «русского медведя» (так прозвали Егорова) было необычно. Он пришел в натурный класс, где все лучшие места были уже заняты. Егоров скромно пристроился где-то сбоку, быстро схватив карандашом натуру в самом неудобном для него ракурсе, после чего с ленцою прохаживался между мольбертами, бесцеремонно заглядывая в чужие листы.

— Вам, я вижу, нечего делать, — заметил профессор.

— Я уже закончил... Можете взглянуть, вот!

Профессор был удивлен, но выразил сомнение: русские, по его мнению, неспособны к рисунку, как итальянцы.

— А вот так они могут? — воскликнул Егоров. Схватив уголь, он прямо на стене начал обводить контур человеческой фигуры, ведя линию с большого пальца левой ноги, и, не допустив ни одного промаха в рисунке, закончил его мизинцем правой ноги. — Нет, вы так не можете! — сказал Егоров и удалился...

Один из учеников кинулся к стене с тряпкою, чтобы стереть «мазню русского дикаря», но профессор удержал его прыть:

— Оставьте! Это — шедевр гения...

Егоров был всецело поглощен изучением Рафаэля.

— Подражать великому мастеру — профанация, — утверждал он. — Но когда долго и пристально созерцаешь его шедевры, помимо воли проникаешься его же манерою...

Знаменитый Винченцо Камуччини, лучший живописец Италии, использовал рисунки Егорова для своих исторических композиций. Гениальный Антонио Казанова принимал «русского медведя» у себя в мастерской; пьедестал, на котором позировала обнаженная красавица Елиза Биози, был украшен девизом: «Memento mori». Казанова лепил, а Егоров рисовал; за работой они беседовали о соблюдении гармонической простоты древних классиков — это был странный разговор для артистов, живших в веке париков и мушек, жеманности модных Психей, подражавших элегическим пастушкам. Казанова, ревностный католик, осуждал Егорова за то, что он не желает припасть к престолу папы Пия VII:

— При Ватикане вас ждет судьба всеобщего баловня!

— Но я создан для России, — отвечал Егоров. — Вы же, маэстро, тоже отказались быть сенатором при дворе Наполеона...

Алексей Егорович всегда был чутким патриотом. И однажды, когда честь России была задета, он взял оскорбителя за штаны и легко выставил в окно третьего этажа, встряхивая в руке над улицей, пока обидчик не взмолился о пощаде. А с натурщиком Егоров работал так. Клал на стол монету и говорил:

— Твоя! Если сумеешь меня к стенке прижать...

Добродушный и славный, он сделался известен в Риме самому последнему нищему лаццарони. У него были и враги. По ночам на Егорова нападали наемные убийцы с кинжалами. Егоров побивал их всех, а стилеты переламывал, словно щепки. Слава переплеснула границы Италии, и «русский медведь» превратился в «русского Рафаэля». На Егорова возникла в Европе мода, коллекционеры и богачи охотно скупали его рисунки, стоимость которых определялась так: весь лист бумаги сплошь покрывался золотыми монетами — это и была цена рисунка! Между тем для Наполеона, шагавшего очень

широко, уже взошло пресловутое «солнце Аустерлица», обстановка в Европе была политически неустойчивая, и в 1806 году Академия художеств отозвала Егорова на родину.

Дома его ожидало назначение в адъюнкт-профессоры, вскоре Егоров стал и академиком. Его тянуло к исторической теме из библейской истории, ибо в ней можно было полнее всего выразить человеческое тело — в его радостях и страданиях. А в знании истории религии Егоров мог бы соперничать с любым митрополитом... Александр I назвал его «знаменитым» после написания им аллегии «Благоденствие мира»: за двадцать восемь дней работы Егоров создал гигантское полотно, в котором около сотни фигур были представлены в натуральную величину. Егоров стал легендарен!

А когда в академии вешали картину в столь тяжелой раме, что свита служителей, истопников и дворников не могла с ней справиться, Алексей Егорович сам взбежал по стремянке.

— А ну! — сказал. — Давайте-ка ее сюда...

И одной рукой богатырь укрепил картину на крюк.

По вечерам, сидя перед раскрытым окошком с видом на Неву, заставленную кораблями, Алексей Егорович — академик! — тихо брел на балалайке, напевая частушки о самом себе:

Ах ты сын — Егоров сын,
Всероссийский дворянин...

Конечно, такой богатырь один не заживется: для укрепления творческой мощи необходима жена! Егоров посмеивался:

— На мою-то калмыцкую рожу... какая польстится?

1812 год вызвал в русском обществе небывалый подъем патриотических чувств. Скульптор Мартос на барельефах, украшающих его памятник Минину и Пожарскому, сознательно увековечил себя, старца в античном хитоне, жертвующего отечеству двух своих сыновей, ушедших тогда в ряды народного ополчения.

У скульптора был еще выводок красивых дочерей.

— Ума не приложу: куда девать всю эту телятину? — говорил Мартос. — Хорошо бы распахать по рукам художников.

— Мне твоя Верочка мила, — намекнул Егоров...

Верный себе, он взялся за тему «Истязание Спасителя». Мы, живущие в XX веке, не поймем этого, а современники понимали, что егоровский Христос, подверженный бичеванию от палачей, олицетворяет идею России 1812 года, стойко вынесшей поругание от неприятеля. Три года, а то и больше заняла работа над этим полотном, выписанным с особым тщанием. Теперь наши искусствоведы пишут: «Егоров понимает героизм не как поединок с врагом, а как стоическое терпение, отрешение от собственных страданий во имя счастья грядущих поколений...» Слухи об этом полотне разнеслись по всей Европе, и даже взыскательная Англия пожелала приобрести егоровскую картину.

Цена на нее росла! Предлагали немислимые деньги.

— Я барышничать не стану, — говорил Егоров Мартосу. — Паче того: нежелательно мне, чтобы «Спаситель» из России уехал...

Одновременно с «Истязанием» создал он и «Сусанну» — одну из первых в России картин, исполненную с обнаженной натуры. Егоров не боялся ни «Сусанн», ни «Натурщиц», ни «Купальщиц» — их тела округло-пленительны, наполнены розовым соком жизни на фоне волшебной-чарующей зелени. А вот скульптор Мартос, которому сам Господь Бог, кажется, велел любить тело в первозданной его простоте, терпеть не мог обнаженной натуры, и любую наготу, даже мужскую, он стыдливо прятал под складками драпировок, выделять которые он был большой мастер. Посетив с дочерьми театр, где танцевала несравненная и воздушная Истомина, Мартос всю дорогу до дома плевался.

— У-у, коровища какая! Оголилась, да еще пляшет...

Егоров просил Ивана Петровича, чтобы третью дочку, Веру Ивановну, не выдавал на сторону, а оставил за ним.

— Да на что она тебе? — фыркнул Мартос. — Дура ведь! Сидит днями в окне и на корнетов прохожих пялится.

— А я с нее «Богородицу» писать стану...

Уже не раз к Егорову обращались с просьбою писать портреты, но мастер отнекивался, говоря:

— Да где уж мне? Не умею я их делать...

Умел, да не всегда хотел — так будет точнее! Вера Ивановна Мартос, на которой он женился, стала отличной «богородицей», позируя ему для образов, и тысячи верующих отбивали перед женой Егорова поклоны, ставили ей свечки, припадали к ней губами... Егоров не был уже молод, но его «богоматерь» исправно беременела. В суете быта супруги опростились, полюбили носить затасканные халаты. Оба они — трогательно нежные:

— Ах, друг мой сердешный, Алексей Егорович!

— Благодарю за ласку, милейшая Вера Ивановна...

Так и жили! Ученики-академисты окружали мастера с патриархальным почтением. К началу занятий уже стояли возле дверей квартиры, встречая его появление поклоном. Егоров носил старомодную шинель, имея в руках трость и фонарь. Ученики сопровождали его до классов, принимая шинель с тростью, гасили фонарь. Подхалимства в этом не было — едино лишь уважение к заслугам профессора, к его таланту. А среди учеников был страшный лентяй — Карлушка Брюллов, которого утром было не добудиться.

— Карлушка-то дрыхнет, чай? — спрашивал Егоров по утрам. — Ну что с него взять-то? Лодырь, но... умеет, умеет! Да-с. Как бы не обскакал всех вас, давно проснувшихся...

Егоров натягивал на голову замасленную ермолку из кожи, не спеша двигался среди мольбертов, учил больше показом, желая видеть красоту даже там, где ее не доставало. Был у него и домашний ученик, итальянец Скотти, которого Егоров кормил и одевал как родного сына... За работой иногда слышалось:

— Миша, а ты сапоги-то мне почистил ли?

— Сейчас.

— Может, и самоварчик поставишь?

— Сейчас.

— С барышнями моими не хочешь ли погулять?

— Сейчас.

И вот Скотти, славный в будущем мастер картин, выводит на прогулку дочек Егорова — Наденьку, Дунечку, Сонечку, за ними плетется, ковыряя в носу, Евдокимушка... М.Ф. Каменская, дочь художника Федора Толстого, писала, что в квартире Егорова неурядица и беспорядок! Сам он вечно в замызганном халате, уже с брюшком. «Около него на кресле, в пунсовом ситцевом платье, прикрывая ковровым платком свой громадный живот, всегда сидела на натуре, очень еще красивая собой, жена его Вера Ивановна... Егоров писал с нее богородиц, а с дочерей своих — ангелов». Когда же подросла Сонечка, и ей нашлась работа — позировать для одалисок. Однако образовывать своих «барышень» Алексей Егорович не пожелал, он говорил:

— К чему учить эту телятину? Сколько ни учи, все позабудут. Им бы, дурехам, только замуж поскорей выйти...

В доме появился и первый жених — инженерный поручик Митя Булгаков, заглядевшийся на смущенную Наденьку.

— А ну, пошел вон из-за стола! — гаркнул Егоров.

В чем дело? Оказывается, жених нечаянно сложил крест-накрест вилку с ножиком, и Егоров сразу расшумелся:

— Мы эти масонские штучки знаем, нас не проведешь...

Обладавший смолоду почти разбойничьей славой, стал Егоров под старость бояться грозы и масонов. Нужда не стучалась в двери его дома, но Егоров делался уже скуповат:

— Вы бы, Вера Ивановна, за столом-то не сразу гостям куски накладывали. Сначала спросите: хотят ли? На што добро переводить зря, ежели они неголодные к нам приходят?

Бедя, которой он ждал, не замедлила прийти...

В тех же выпусках «Старых годов» встретилось мне письмо художника П.Е. Заболотского к известному меценату А.Р. Томилову; оно датировано как раз 1840 годом. «Кто знает Алексея Егоровича Егорова, — писал он, — каждому приятно вспомнить имя его, но кто услышит о его теперешнем положении, примет участие и выронит слезу со страдания. Алексей Егорович, наш столп академии, опора каждого художника, лишен сего титла достойного; он отрешен от должности. Ему отказано служить... мрачная завеса опустилась на Славу Его, кто поднимет ее? Его Истинный Талант и Слава Во веки незатмятся...» Не совсем грамотно писал Заболотский, зато правдиво писал и душевно!

Римские папы имели много грехов, но были достаточно умны, чтобы не вмешиваться в дела художников, отчего галереи Ватикана и оказались наполнены гениальными шедеврами. Екатерина II, грешница великая, открыто признавалась, что в искусстве не разбирается, но умела слушать советы знатоков и потому оставила после себя Эрмитаж, наполненный сокровищами. Ее же внук, Николай I, напротив, не стыдился указывать художникам, как надо работать, а собрание Эрмитажа разорял, торгуя картинами с аукциона, а иные полотна отправлял сразу в пожарную часть столицы, чтобы предать их пламени... Так ведь было!

Сначала императору не понравились образа, сделанные Егоровым для церкви Измайловского полка, и он объявил ему выговор:

— И прошу внести его в протоколы академии!

Чтобы больнее унижить мастера, Николай I велел Егорову публично расписаться в прочтении царской резолюции, а потом его заставили вернуть аванс, полученный за работу. Когда же Егоров и унизился, и остался без денег, разруганные образа царь сам и велел повесить в церкви Измайловского полка, ибо лучше образов все-таки не нашли... Егоров перекрестился:

— Даст бог, и забудет он резолюцию свою.

Все притихло. Только шумела молодая слава Брюллова!

Егоров взялся писать новые образа для церкви Святой Екатерины в Царском Селе. Николай I тут как тут, сделал «стойку».

— Эту пачкотню, — велел, — отправьте обратно в академию, и прошу выяснить: достоин ли Егоров звания профессора?..

Карл Брюллов, в блеске молодой славы, не выдал своего учителя на истязание, да и все профессора поставили Егорова в ряды живописцев с мировым именем: «Опытностью своей и советами он и теперь так же полезен, как в течение 42-летней службы его при Императорской Академии художеств». Но самодержавная воля самодура победила разумные доводы, царь распорядился:

— Егорова, в пример иным, вовсе от службы уволить...

Была осень 1840 года. Ученики зажгли фонарь, последний раз подали мастеру старомодную шинель, он взял палку, а руки тряслись. С трудом Егоров нащупал крючки на шинели.

— Старенькая, — сказал он. — Таких нынеча не носят. Еще в двенадцатом годе пошил, когда «Истязание Спасителя» писал...

С казенной квартиры, где много комнат и света, где не надобно думать о дровах и освещении, пришлось съехать на Первую линию Васильевского острова. Хорошо, что мебелью не обзавелся, — переезжать легче. На новой квартире Егоров развесил по стенкам свои картины и эскизы — сразу повеселело.

— Вы, любезная Вера Ивановна, — сказал он жене, — не должны думать, что после такой обиды я стану помирать...

Никто не видел его тайных слез. Он, которым восхищались Казанова и Камуччини, он, прозванный «русским Рафаэлем», он, который принес честь русской Академии художеств, теперь злобной волей дурака задвинут в угол жизни, словно старенький негодный шкаф... Но Егоров стойко пережил трагедию своей жизни. И в этом ему помогала молодежь, навещавшая его в новой квартире: кому нужен совет, а кому полтинник, кому поправить рисунок, а кто и просто так зашел — посидеть, послушать.

На закате жизни Егоров сыскал друга в юном художнике Лье Жемчужникове, который оставил нам добрые воспоминания. Вместе они работали, читали, гуляли, заглядывая в лавки.

— Спасибо тебе, Левушка, — сказал однажды Егоров.

— За что? — удивился Жемчужников.

— Не стыдишься старость мою приласкать. А вот Евдокимушка со мной не гуляет: ему, франту, за шинель отцовскую стыдно... Коли умирать буду, ты уж не покинь меня.

Жемчужникова не было в Петербурге, когда старый мастер умирал. Последние слова Егорова были:

— Вот и догорела свеча моей жизни...

Его отвезли на Смоленское кладбище и опустили в землю — подле могилы Ивана Петровича Мартоса.

Боюсь, что для людей, знающих историю нашего искусства, я не сказал ничего нового. Но иногда и повторение старого становится для нас новым. Итак, свеча Егорова догорела — яркая!

Жизнь кончилась, а картины остались в музеях...

Все дочери живописца вышли за достойных людей, особенно повезло Дунечке, связавшей судьбу со скульптором Терebeneвым, могучие Атланты которого до сих пор удерживают своды Эрмитажа в Ленинграде. А сын, Евдоким Егоров, тоже художник, под конец жизни поселился в Париже, где завел керамическую мастерскую; он учил расписывать фарфор новое поколение живописцев...

Это были Репин, Савицкий, Поленов.

Чувствуете, как смыкаются поколения?

Через тернии — к звездам

Ветер раскачивал старый фонарь, который надсадно скрипел, едва освещая осклизлые ступени, ведущие в подвальную таверну. Древний ганзейский Любек давно погасил огни, а здесь, в ночной

гавани Травемюнде, еще торговали трактиры — для моряков и одиноких пассажиров. Их задерживал в Любеке крепкий норд-ост, не позволявший кораблям выбраться даже за волноломы. Была ненастная осень 1837 года...

В дешевой харчевне коротал время молодой человек, просивший хозяина поджарить для него яичницу. Казалось, ему нет дела до перебранки матросов, готовых схватиться за ножи, и он со вниманием листал парижский альманах «Сален» Генриха Гейне; легенда о летучем голландце, миф о корабле-скитальце поражали воображение... Один из матросов — уже пожилой, с медной серьгой в ухе — оторвал его от чтения.

— А ветер не унимается, — сказал он. — И денег у меня не осталось. Может, ты угостишь меня, приятель?

Молодой человек достал тощенький кошелек:

— Я всего лишь бедный музыкант, но... Почему бы и не поделиться? Надеюсь, талера вам хватит?

Матрос поймал в кулак сверкнувшую монету.

— Вы добрый человек, сударь, — отвечал он. — Бог воздаст вам завтра свежим попутным ветром... А куда путь держите?

— Меня ждут в Риге, но из-за ветра опаздываю.

— Вы, наверное, тамошний житель, сударь?

— У меня нет своего дома. Я перебрался, спасаясь от долгов, из Магдебурга в Кенигсберг, где служил капельмейстером, а теперь от прусских кредиторов бегу в русскую Ригу.

Матрос швырнул монету на прилавок и сказал:

— Э! Хорошо бегать холостому, а попробовал бы драпануть от чиновников короля с женою и скарбом.

— Я... женат, — уныло отвечал музыкант. — Но моя жена не стала ждать, когда я расплачусь с долгами, и покинула меня, бедняка, ради богатого коммерсанта... Меня зовут Рихард, я — *Рихард Вагнер*...

Это имя еще не звучало мятежным набатом, бравурные триумфы Байрейтских торжеств еще не прозвучали на весь мир, но зато к утру

спасительный ветер наполнил старые штопаные паруса, и этот ветер подхватил музыканта на его пути в Россию. Вагнер дочитывал легенду о корабле-призраке, который, подобно ему, проклятый богами и обществом, стремился к новым заветным берегам и никак не мог достичь их... Только тьма, только холодный ужас людского отчаяния, и нигде не вспыхнет даже слабой искры надежды...

Там, где теперь расположена библиотека Академии наук ЛССР, ранее размещался Рижский театр, основанный еще бароном Отто-Генрихом Фиттингофом, и уж поверьте: если это здание способно в наши дни выдерживать многие тонны книжной мудрости, то оно, конечно, не дало трещин от трубных гласов, которыми Вагнер излишне усиливал звучание своего оркестра... Генрих фон Дорн, сам опытный дирижер, кричал ему:

— Опять трубы! А где же нежные скрипки, поющие о любви? Зачем вы разрушили мелодию дерзким ударом в литавры?

— А что делать? — отвечал Вагнер. — Что делать, спрашиваю я вас, если мне было суждено родиться в том проклятом году, когда пушечные громы и молнии в битве при Лейпциге устранили одного великого тирана, дабы заменить его толпою мелких коронованных злодеев?.. Да, милый Дорн, я согласен с вами, что под мою оркестровку можно строить баррикады на улицах!

— К чему вы стремитесь, несчастный?..

— Через тернии — к звездам...

Рига показалась Вагнеру гораздо приветливее опустылевшего Кенигсберга; он вспоминал, что после тяжелого опыта службы в немецких театрах «организация рижского театрального предприятия действовала на меня приятно-успокаивающе». Вагнер поселился в Старом городе на Кузнечной, среди старинных амбаров и сонных домов с конюшнями, где путались, образуя лабиринты, Малярная, Сапожная и Мясницкая, тупики которых уводили фантазию далеко-далеко — в древность. Пост директора Рижского театра тогда

занимал Карл фон Гольтей — неудачный актер, зато удачливый делец-драматург.

Он огорчился сам, заодно огорчил и Вагнера:

— Не повезло! Я выписал из Берлина примадонну с богатыми туалетами, но она, к несчастью, увлеклась одним потсдамским гусаром, и я теперь не знаю, Рихард, какой смазливой бабенке можно доверить серьезные арии?

Вагнер положил на пюпитр свою дирижерскую палочку, на конце которой была миниатюрная женская ручка, вырезанная из слоновой кости.

— Моя свояченица Амалия Планер успешно пела в Берлине, а сейчас бедствует в Дрездене без ангажемента. Уверен, эта благородная девушка способна заменить вашу влюбчивую примадонну, правда, Амалия не имеет роскошных туалетов.

— Считайте, что ангажемент за нею, — решил Дорн...

Амалия Планер предупредила Вагнера, что в Дрездене недавно появилась его Минна; брошенная и несчастная, она собиралась писать ему, чтобы вымолить прощение. Вскоре Вагнер получил покаянное письмо от жены: раскаиваясь в своем легкомыслии, Минна уповала теперь на возвращение к Рихарду, которого она, увы, ранее недооценивала. Но теперь она радуется за него, ставшего дирижером в Риге, и рассчитывает получить его приглашение. («Никогда прежде, — писал Вагнер, — я не слышал из уст Минны подобных речей... Я ответил, что меж нами не будет произнесено ни единого слова о происшедшем, что всю вину я принимаю на себя»). Между тем в Риге у него завелся добрый приятель — молодой кавалерийский ротмистр Карл фон Мекк, поклонник симфонической музыки.

— Вы слишком уступчивы, маэстро, — сказал ротмистр. — Можно ли прощать женщине такие грехи?

— Милейший Карл, — отвечал ему Вагнер, — знакомы ли вам «Житейские воззрения кота Мурра»? Вчитайтесь в то место, где

безумный капельмейстер Крейслер, обреченный на вечное страдание, взбунтовался против жалких условностей этого подлого мира... А я — тот же бунтарь Крейслер!

Наступил холодный октябрь, когда сестры Планер приехали в Ригу («на мою новую родину», записал Вагнер). Композитор ютился в тесной уютной квартирке, а суровая патина бедности уже наложила на его жилье свой незримый отпечаток. Минна расплакалась и ушла горевать в спальню.

Амалия Планер жестоко насмеялась над своей сестрой:

— Наверное, даже кошка с мартовского карнавала не возвращается такой ободранной и жалкой, какой вернулась твоя жена из объятий богатого кавалера. Неужели простишь и на этот раз?

— Я не желаю ей зла. Я уже простил.

— Простил — ладно, что ты ей скажешь?

Вагнер прошел в спальню, где сидела поникшая жена:

— Вот ключи от дома, вот мои последние деньги, а на кухне греется уют, которым я собирался гладить выстиранные простыни. Поверь, я умею делать все, но я ненавижу то, что мешает мне и моей музыке.

Минна вытерла слезы и пересчитала деньги:

— Не так уж щедро расплачиваются с тобой, могли бы платить и побольше. А у меня в ушах звон от твоей музыки.

— Не касайся моей музыки, — отвечал Вагнер, — как я не касаюсь твоего прошлого...

Появился и Карл Гольтей с цветами для женщин.

— Вагнер, ах, до чего же мила ваша женушка!

— Но я чертовски ревнив, — злобно отвечал Вагнер.

У подъезда его ожидал в коляске фон Мекк:

— Маэстро, я приехал, чтобы довести вас до театра.

— Спасибо, дружище, я не избалован вниманием.

Ротмистр засмотрелся на окна.

— Боже! Сюда смотрит удивительная красавица.

— К сожалению, — отвечал Вагнер, — это не жена смотрит на своего мужа, а бедная Амалия взирает на богатого фон Мекка!

По дороге в театр он признался ротмистру, что уже начал работу над новой оперой «Риенци»:

— Слишком часто моя музыка вызывала в публике изумление и даже издевательский смех. Но я закалился в борьбе, любое оскорбление отскакивает от меня, как чугунное ядро от неприступной фортеции. В музыке, как и в жизни, тоже существует подлость и крохоборство. Но я прокладываю гати через музыкальные болота, я хочу выстроить для народов музыкальные дворцы, хочу возвести прочные мосты в счастливые миры могучего людского духа! Только так, дружище: через тернии — к звездам...

Здесь уместно сказать: хотя музыкальная жизнь Риги складывалась самостоятельно, как бы особняком от русской, но все-таки она гармонично вписывалась в мелодию нашей общей музыкальной культуры; со времен барона Фиттингофа рижане приглашали оперные труппы из Италии и стран германских, но здесь, на подмостках Риги, пели солисты Вены и Петербурга, рижане уже знали не только Гайдна, Моцарта и Бетховена, но и музыку первых российских композиторов.

В портфеле Вагнера-дирижера лежали партитуры опер Моцарта, Беллини, Дж. Россини, Обера, Доницетти и Керубини, с оркестром оперной труппы он давал симфонические концерты. Свое знакомство с рижской публикой Вагнер начал с того, что развернул пюпитр к оркестру, встав спиной к залу. Он дирижировал в той манере, которая принята сейчас во всем мире, но тогда... Тогда это казалось неслыханной дерзостью.

На все попреки Гольтея Вагнер отвечал:

— Мне нужен контакт с музыкантами, чтобы они видели не фалды моего фрака, а мои глаза, мое лицо, мой восторг, мое вдохновение.

Ему явно не хватало силы звучания. Гольтею он жаловался:

— В оркестре лишь четыре скрипки, два альты и один контрабас...

Мне очень трудно выразить себя!

Потому-то Вагнер и любил выезжать с труппой в Митаву, бывшую столицу Курляндского герцогства, где имелась более просторная сцена и обширная оркестровая яма. Пожалуй, только два человека понимали его стремления, его размах — это был певец Иосиф Гоффман, это был второй дирижер Франц Лебман. Они знали от фон Мекка, что Вагнер создает оперу «Кола Риенци, или Последний трибун»; друзья предупреждали композитора, что его опера вряд ли будет поставлена.

— Гольтею удобнее угождать вкусам местных бюргеров, а ты, бедняга, вкатываешь свой камень на самую вершину Олимпа — он скатится обратно и раздавит тебя!

Гольтей соблазнял Вагнера к написанию водевиля.

— Я не имею склонности к легкой музыке, — отказался Вагнер, — у меня совсем иные задачи...

Гольтей начал сплетничать о Вагнере:

— Если Вагнер и гений, как уверяет меня в том ротмистр фон Мекк, то гений мне не нужен. Моя певучая лавочка способна процветать только от заурядных людей, и чем они глупее, тем выгоднее для процветания моего театра...

Мстительный, он сократил Вагнеру жалованье.

— Вы не умеете ладить с певцами! — кричал Гольтей. — Вы требуете от них дисциплины, как фельдфебель в казарме от солдата. Но если мадам Шредер вчера ужинала со мной, то она может позволить себе опоздать утром на репетицию... А ваше жалованье, помните, зависит от моих доходов!

Перебранка с Гольтеем ошутимо сказывалась на кошельке Минны, и она стала проситься на сцену:

— Если есть голос, почему бы не продать его?

Но Вагнер знал, что Минна — певица посредственная, а в театре она видит лишь средство для пополнения бюджета, и потому он сказал, что при нем она петь не будет.

— Риге вполне хватит и одной Амалии Планер.

— У меня внешность выгоднее, чем у Амалии, и с такой внешностью я бы заработала больше тебя — дирижера...

Вагнер снял новую квартиру в районе Петербургского форштадта, тогда еще только начинавшего застраиваться (дом, где жил Вагнер, стоял на углу нынешних улиц Ленина и Дзирнаву). Минна поддерживала видимость достатка и семейного благополучия. Вагнер любил бывать в семье Генриха Дорна, с которым вскоре перешел на дружеское «ты». Это время вспоминалось потом как почти благополучное, когда к ужину «стоял русский салат, двинская лососина и свежая икра... Мы втроем чувствовали себя на дальнем севере очень недурно!» Вагнеру, саксонцу по рождению, рижские широты казались уже «дальним севером». Но скоро между сестрами Планер произошел острый разлад, и они перестали разговаривать. В этой ненормальной и даже тягостной обстановке Вагнер продолжал творить музыку.

— Главное, — говорил он фон Мекку, — не расслаблять ни мышц, ни нервов, ни мозга. Надо, чтобы дело не топталось на месте, а постоянно двигалось к цели... Но, Боже, как иногда трудно Тристану пить любовный напиток из одной чаши с такой Изольдой, как моя Минна Планер!

Скоро состоялся неприятный разговор с Гольтеем.

— Я недоволен вами, Вагнер, — начал директор. — Вы привили театру характер храма с порядками монастыря, а богатая публика желает видеть в театре иное...

— Неужели вертеп? — усмехнулся Вагнер.

— Ну если не вертеп, то хотя бы место развлечения. Ваши намерения не принесут добра и лично вам. А мне нужен веселый и забавный водевиль... Водевиль и туалеты!

(«Серьезная опера, особенно же богатый музыкальный ансамбль — писал Вагнер о Гольтее, — были ему прямо ненавистны».) Гольтей считал, что в оперу ходят не ради музыки.

— Приятнее слушать певичек, дабы оценить их телесную грацию и поймать момент, когда обнажится их ножка.

Вагнер же считал музыку основой оперы.

— Голоса певцов лишь накладываются поверх музыки, как в хорошем бутерброде намазывают масло на хлеб насыщенный.

Гольтей считал разговор оконченным:

— Но ваша музыка — это как раз не то масло, чтобы мазать его на хлеб к завтраку. Спросите у жены: она подтвердит!

Франц Лебман, ближайший друг, говорил Вагнеру:

— Слушай, Рихард! Если тебе завтра сломают шею, я займу твое место дирижера. Мне бы надо радоваться тому, как ты скандалишь, но я только огорчаюсь... Ты страдал уже достаточно — и куда побежишь после Риги?

— Не знаю. На этот раз с женою и скарбом.

— Вот-вот! Серьезный сюжет твоей оперы «Риенци» сразу приведет тебя к разрыву с дирекцией.

— Возможно.

— Так пожалей, Рихард, сам себя. Тем более что Генрих Дорн уже засел как раз за такую оперу, какая нужна Гольтею...

Дорн вскоре же выступил в германской прессе со статьями о Вагнере, высмеяв его пристрастие к трубам. Это не помешало Вагнеру честно продирижировать дорновскую оперу, написанную в угоду вкусам дирекции. Успех оперы Дорн мог приписать искусству Вагнера, который из пустейшей партитуры своего коварного друга выжал все лучшее, сознательно притушив в музыке Дорна ее слабые моменты...

Стояли сильные морозы, Вагнер простудился на репетициях и слег.

Но Гольтей заставил его покинуть постель:

— Я обещал, что моя трупа будет петь в Митаве...

Эта поездка в санях до Митавы, а потом дирижирование в плохо протопленном зале свалили Вагнера окончательно. Минна всполошилась, а Гольтей уже разболтал по всей Риге:

— Со смертного одра ему не дотянуться до пюпитра. Кажется, он отмахал свое этой дурацкой палочкой...

Спасибо рижскому врачу Прутцеру — он поставил Вагнера на ноги, посулив ему долгую жизнь. Но во время болезни Гольтей улизнул из Риги в Берлин, надеясь сделать карьеру при королевском дворе. В один из дней, когда Вагнер вернулся домой из театра, Минна испуганно шепнула ему:

— У нас полиция, тебя ждут...

Это была не полиция, а лишь чиновник рижского губернаторства. Русский человек, он свободно владел немецким, а к Вагнеру испытывал даже симпатию.

— У меня не совсем-то приятное поручение, которое я обязан исполнить как должностное лицо... Дело в том, что критические статьи господина Дорна, помещенные в немецких журналах, открыли кредиторам ваше местопребывание. Теперь управление рижского губернаторства получило судебные иски к исполнению от властей городов Магдебурга и Кенигсберга... Господин Вагнер, способны ли вы расплатиться с долгами?

— Нет, — честно отвечал композитор.

Чиновник явно хотел помочь Вагнеру:

— Поймите меня правильно, я не преследую вас, я лишь желал бы облегчить положение... Но предупреждаю: если вы решитесь бежать из Риги, как ранее бежали из Магдебурга и Кенигсберга, то стоит вам пересечь границу, как вы сразу окажетесь за решеткой королевской тюрьмы в Пруссии.

— А если я останусь в Риге? — спросил Вагнер.

— Тогда я вынужден потребовать от вас, чтобы, согласно судебным искам, вы расплатились с немецкими кредиторами.

Вагнер, чуть не плача, показал ему свою партитуру:

— Видите? Это моя опера, которая сделает меня Крезом, и тогда я разом смогу выпутаться из долгов...

— Охотно верю, господин Вагнер, что с вашим талантом вы еще станете знаменитым, но... поймите же и меня! Я ведь только чиновник, требующий исполнения буквы закона.

Вагнер запахал в портфель нотные листы «Риенци».

— Так что же мне делать? — потерянно спросил он.

Чиновник оглядел скудную обстановку квартиры:

— Подумаем, что нам делать... Ведение исков поручено местным адвокатам, связанным дружбой с Гольтеем и Дорном, а эти господа, как я слышал, не слишком-то вас жалуют.

— Да! — выкрикнул Вагнер. — Гольтей, сокращая мне жалованье, хотел выжить меня из Риги... Теперь я это понял!

После ухода чиновника появилась разгневанная Минна:

— Я долго скрывала от тебя, но теперь скажу... Пока ты пропал в театре, меня усиленно соблазнял Гольтей. Тебе казалось, что он сокращает жалованье из творческих побуждений. А на самом деле наш кошелек становился все тоньше и тоньше по мере того, как росла моя неуступчивость в домогательствах этого престарелого мерзавца.

Вагнер окаменел. Минна продолжала:

— Твои доходы были бы в два или даже в три раза больше, уступи я Гольтею. Но я решила остаться честной перед тобой, и тогда этот подлец стал навязывать мне в любовники богатого рижского негодяя Бранденбурга... Теперь ты сам видишь, — заключила Минна, — каково живется, если следовать твоим идеальным представлениям о жизни!

И когда в доме Вагнеров поселилось тяжкое уныние, а нужда снова хватала за горло, появилась сияющая Амалия Планер:

— Я счастлива! Только что ротмистр фон Мекк сделал мне предложение, и я решила навсегда остаться в России.

Амалия фон Мекк прожила долгую жизнь, ее муж дослужился до чина генерала русской армии. Оба они погребены в Санкт-Петербурге — на Волковом лютеранском кладбище.

Вместо Гольтея директором театра стал Иосиф Гоффман.

— Рихард, у меня камень за пазухой, который я, как новый директор, должен запустить в твою голову...

— Что еще стряслось? — обомлел Вагнер.

Оказывается, Гольтей, покидая Ригу, уволил Вагнера, а на место первого дирижера посадил Генриха фон Дорна.

— Это уже подлость... Даже не Гольтея, а Дорна! — возмутился Вагнер. — Ведь он мой друг, и он знает, что с концертов симфонической музыки я мог бы постепенно расплачиваться с кредиторами. А теперь я лишен даже этой возможности.

Иосиф Гоффман остался благородным человеком:

— Что я могу сделать для тебя, Вагнер? Давай хоть сейчас я подпишу с тобой контракт на будущий сезон.

— А как я проживу год настоящий?..

Вагнер решил повидаться с Генрихом Дорном; он умолял своего друга отказаться от контракта, говоря ему:

— Так поступил бы любой порядочный человек.

— Порядочный... Но я вполне свободен от укоров совести, — отвечал Дорн. — Твоя опера «Риенци» еще валяется в портфеле, а моя уже имела несомненный успех. Я больше тебя заслужил место дирижера, и будь спокоен, Рихард: уж я-то не повернусь к публике задницей, как это делаешь ты...

Минну композитор застал в полном отчаянии.

— Будь оно все трижды проклято! — говорила жена. — Лучше бы я уступила Гольтею, и тогда бы ты остался дирижером в Риге, а теперь... Что делать теперь? Ты знаешь?

— Не знаю, — отвечал подавленный Вагнер. — Но я верю, что со временем, когда люди станут перелистывать энциклопедии, они не найдут там имени Гольтея или Дорна. Там будет мое имя! Потомки, я верю, будут чтить меня именно за то, что я никогда не изменял своим принципам...

Жизнь в Риге становилась невыносима. Семейные скандалы и житейские дразги, сплетни о прошлом Минны — все это выводило Вагнера из равновесия.

Пришел верный Франц Лебман и спросил Вагнера:

— Рихард, есть ли у тебя хоть искра надежды?

— Да! Я еще из Кенигсберга отослал в Париж партитуру своей оперы «Запреты любви» на имя знаменитого Скриба.

— Не верьте ему, — вмешалась Минна. — Мне уже опостылела жизнь в воздушных замках, которые строит Рихард. И что Скрибу до Вагнера, если в Париже гремит Мейербер?

— Я писал и Мейерберу, — сознался Вагнер.

— А у него только и дела, что хлопотать о каком-то жалком капельмейстере из Риги...

Лебман поставил все с головы на ноги:

— Рихард, что ответил тебе Скриб?

— Ничего не ответил.

— А что ответил тебе Мейербер?

— Тоже ничего.

— Тогда не злись на Минну: она звезд с неба не хватает.

— Она-то, может быть, и не хватает. Но я, Франц, остаюсь верен своему правилу: через тернии — к звездам...

Среди рижан, истинных ценителей искусства, нашлось немало почитателей Вагнера, и они, возмущенные несправедливостью, убеждали композитора не оставлять Ригу, обещая вознаградить его за потерю жалованья в театре частными уроками музыки, устройством любительских концертов. Вагнер был растроган сочувствием

посторонних людей, но его манили уже иные берега. Он все более убеждал себя, что в музыкальном Вавилоне — Париже скорее найдется гигантская сцена для воплощения его грандиозных оперных замыслов...

Кстати (или некстати!) в Ригу приехал кенигсбергский приятель Авраам Меллер, склонный ко всяким авантюрам.

— Париж — это не Рига! — убежденно заверял он Вагнера. — Стоит вам только появиться в Париже, и все оркестры заиграют ваши мелодии, так что этот Мейербер почернеет от зависти, и тогда... Тогда и никакие долги не страшны!

Вагнер сказал: стоит ему выехать за пределы Российской империи, как пруссаки сразу же поволокнут его в тюрьму.

— Вы наивное дитя, — возразил Меллер. — Какой же должник пересекает границу в казенном дилижансе? Конечно, на ваши паспорта сразу будет наложен арест. Порядочные же люди переходят границы по тропинкам контрабандистов...

Так и случилось! Летом 1839 года Вагнер с женою *нелегально* перешли границу с Пруссией и, тайком сев в Пиллау на купеческое судно, поплыли морем во Францию... Через много лет, когда имя Вагнера гремело повсюду, к нему в Мюнхене притащился неряшливый, жалкий старик.

— Я ваш поклонник и ваш бывший покровитель — Генрих фон Дорн... Неужели вы не помните меня, великий маэстро?

— Нет, не помню, — расплатился с ним Вагнер.

...Советский музыковед Евгений Брауде много писал о «вагнеризме». Но мое внимание заострилось на одной его примечательной фразе: «Сценические принципы, которыми он (Вагнер) сорок лет спустя руководствовался во время Байрейтских театральных празднеств, были применены им впервые в Риге...»

Если везде было плохо, то в Париже было еще хуже. Мейербер отделался от Вагнера рекомендательными письмами, которые не

имели никакой цены в театрах Парижа, а Скриб много обещал, но ничего не сделал, чтобы помочь безвестному композитору.

— Ну, хорошо, — сказали Вагнеру в театрах, чтобы раз и навсегда от него отвязаться, — мы, так и быть, принимаем от вас лишь текст оперного либретто, но мы сразу же отвергаем всю вашу музыку — как ненужную и бестолковую...

Вагнер закончил оперу «Риенци» и уже приступил к созданию «Летучего голландца». Мейербер советовал ему:

— Если вы хотите добиться в Париже хоть какого-либо успеха, ищите себе авторитетного соавтора...

Нечем было платить за квартиру. Вагнер жил впроголодь, занимаясь любой поденщиной, лишь бы не протянуть ноги. На лето он с Минной выезжал за город, чтобы собирать грибы и кормиться грибами. Рига с ее лососиной и миногами казалась теперь раем. После трех лет невыносимой нужды и унижений Вагнер покинул Париж ради Дрездена, где поставили его оперу «Риенци», после чего Вагнер стал в Саксонии придворным капельмейстером, но при этом король подчинил композитора генерал-интенданту Люттихау, который даже и не скрывал от Вагнера презрения к нему...

Вагнер пытался анализировать свои неудачи:

— Очевидно, моя музыка таит в себе угрозу революции. Она, как и любая революция, или навсегда покоряет, или сразу же отталкивает. Но можно ли доверять вкусам обывательской публики, уже развращенной «кунштюками» мейерберовщины, игрою колоратурных хитростей, за которыми не стоит ничего, кроме усилия голосовых связок... Значит, мое время еще не пришло!

Но в Германию пришла революция, а дружба с Михаилом Бакуниным укрепила Вагнера в мысли, что грядет «мировой пожар», который осветит новые горизонты, который откроет ему, композитору, новые берега... Потрясаемая львиной гривой, Бакунин горячо убеждал композитора:

— Маэстро! Если государство отвергает талант, если власть делает художника зависимым от капризов бюрократии, а любое дыхание артиста регулируют инструкциями и трафаретами, значит, такое государство должно быть разрушено...

Дрезден восстал, и на баррикады — с ружьем в руках! — поднялся композитор Рихард Вагнер, отстаивая свое право быть таким, каков он есть. Он завоевывал признание своего таланта оружием. А когда революция в Дрездене была разгромлена, Вагнер снова... бежал! Раньше он бегал как неисправный должник, преследуемый кредиторами, а теперь спасался как революционер, преследуемый полицией сразу нескольких государств. Позднее, когда Вагнера спрашивали, как же он, профессиональный музыкант, сумел скрыться, а Михаил Бакунин, профессиональный революционер, попался в руки полиции, Вагнер вполне рассудительно отвечал любопытным:

— Наверное, Мишелю Бакунину не хватало опыта побегов от кредиторов, каким в избытке обладал я...

Снова началась полоса скитаний, и не было в Европе театра, который согласился бы иметь дело с композитором-революционером. Но от тех героических времен осталась нам железная логика Вагнера:

«В ночи и в нужде... через тернии — к звездам!»

А когда же пришла к нему слава?

— *Не помню*, — отвечал Вагнер...

Наш историк музыки А.П. Коптяев писал, что слава Вагнера сравнима лишь со сказкой, «когда на открытие Байрейтского театра съехались императоры, короли и герцоги, литературные и артистические знаменитости века. Смерть в 1883 году в Венеции кажется эпилогом какого-то чудного сна, роскошной легенды, чары которой не позволяют нам верить, что все это действительно было в исторической перспективе».

Музы города Арзамаса

Никогда я не был в Арзамасе, а — ж а л ь...

В старину, приписанный к Нижегородской губернии, этот город считался «гусиной столицей» России; вокруг Арзамаса, в долине реки Теши, все было белым-бело от пасущихся там неисчислимых гусяных выводков. Большой и на диво жирный гусь считался символом города, недаром же, когда Пушкина принимали в общество «Арзамас», его во время застольных речей заставили держать в руках мороженого арзамасского гуся.

Что делать, видно, мне кибитка на Парнас,
Но строг, несправедлив ученый Арзамас...

Лежащий на Большом Московском тракте, ярко полыхающий золотыми куполами церквей, обильно изукрашенных, Арзамас был знаменит храмами, как и своими гусями. Писатель граф Соллогуб писал: «Много я видел церквей в Москве, но в Арзамасе, кроме церквей, ничего не видел». Это преувеличение! Город был интересен сам по себе, он вел торги даже с Европой, славился ремеслами обывателей, среди ампира дворянских особняков нерушимо вросли в землю тяжкие хоромы купцов, город постоянно пребывал в торговом оживлении, к услугам приезжих в Арзамасе насчитывалось около сотни гостиниц и постоянных дворов, украшенных еловыми ветками...

Кстати, в популярной пьесе того же графа Соллогуба «Тарантас» есть примечательный диалог его героев:

«— У меня в особенности замечательно собрание картин.

— Итальянской школы? — спросил Иван Васильевич.

— Арзамасской... у меня целая галерея образцовых произведений славных арзамасских живописцев».

Значит, над храмами Арзамаса взлетали не только вороны и голуби, но когда-то порхали и музы; не только чванливый Петербург, но даже русская провинция имела свою «академию».

Известно ли тебе, читатель, такое имя — Александр Васильевич Ступин? Имя, достойное нашей памяти...

Вряд ли мы дойдем до истоков происхождения Ступина, если он сам, кажется, не ведал своих родителей. Ему хотелось верить, что он — дитя неосторожной любви некоего Борисова и дочери какого-то «воеводы» из Костромы. Но, если говорить честно, я более склоняюсь к иной версии. Ступин порожден в грехе молодой игуменьей Марией, которая в одну из душевных ночей отворила свою келью для чересчур пылкого арзамасца. «Буйный был характером, — вспоминали о нем в городе. — Ночью приедет в обитель, стучит, ругается... в храме он орал на монахинь, сильно они его пугались — по углам прятались». Я пытался установить мирское имя этой игуменьи, по дневнику В.П. Шереметьевой вышел на Марию Петровну Блохину, урожденную Алмазову, но потом стал сомневаться в своих догадках...

Ладно! Пусть этим вопросом занимаются краеведы, а мое дело рассказывать то, что я знаю. Поверим на слово самому Ступину: «Мать моя скончалась во Владимире, оставив меня 3-х лет совершенным сиротою, и я был зачислен в мещанское звание...» Дитя любви пристроили в семью арзамасского мещанина Василия Ступина и его жены Анисьи Степановны. Названный отец, видно, был гулякой: он оставил семью на бобах и ушел в солдаты, следы его навсегда затерялись, и бог с ним! Безграмотная, но сердечная Анисья Степановна прижала к сердцу приемыша:

— Не горюй! Я тебя, миленький, не оставлю.

Что ожидать от темной женщины? Она слышала, что нужна «наука», но за чтение одного листа Часослова местные грамотеи просили три копейки медью. Велики деньги, где взять их? Анисья Степановна отвела приемыша к глухому пономарю:

— Уж ты научи его, батюшка, наукам всяким...

Тот выбрал из кадушки розгу подлиннее. Обещал три шкуры спустить, но читать и писать научить. Оглохший от звона колоколов, пономарь все-таки передал малолетку свою «премудрость». После чего Саша Ступин «прислуживал в церкви, читал, пел, носил дрова дьячкам в церкву, ходил с образами по домам», слава Христа, а каждую копейку отдавал матушке.

— Кормилец ты мой и поилец, — умилялась Анисья...

Кормильцу было тогда семь лет. Через три года его определили сидельцем в лавчонке, где висели хомуты и стояли бочки с патокой. Здесь он впервые потянулся к карандашу, и, заметив в нем склонность к рисованию, мать отдала приемыша на попечение какого-то богомаза. Вместе с мальчишкой он ездил по усадьбам помещиков, красил все, что надо, — где забор размалюет, где икону в храме поправит кисточкой. В 1790 году богомаз велел собираться в Темников, мать дала Саше в дорогу гривенный. Голодно было, даже побираться хотелось, к тому же богомаз обокрал своего ученика.

— Дяденька, отдай денежку, — умолял Ступин.

— Я вот тебе не тока отдам, но и своих придам, коли ишо скулить будешь. Имей уваженье ко мне, сваму мастеру, коли уж мне похмелиться пришла охота... Цыц, мелюзга!

Всяко в жизни бывало. И всюду можно учиться. Ступин много читал, много исправил окон в сельских церквях, немало золотил иконостасов. Скоро его взял к себе в услуженье арзамасский городничий Ананьин, дядька добрый. Однажды Ступин набросал пером на бумаге портреты его детишек, и так мило, так сходственно получилось, что Ананьин даже заробел.

— Гений ты, Сашка! — сказал он юноше. — Чего ж это я тебя с дубиной на плече держу при своих посылках? Тебе, милоч, не дубина, а карандаш надобен... Ишь как ворочаешь!

В ту пору дьякон Ефим Яковлев считался в Арзамасе самым искусным иконописцем, он привлек Ступина в помощники. Дьякон

учил хорошо, за подряды брал деньги немалые, и Ступин радовал Анисью Степановну своим заработком; в доме у них завелся достаток, гоняли к реке на выпас свою гусиную стаю. Но тут беда приключилась. Поехали как-то в село Тарханово, чтобы обновить образа в церкви, тамошний помещик сразу выставил шесть ведер водки (для лакировки икон спирт нужно перегнать в лак). Но дьякон Ефим не устоял перед таким изобилием, все шесть ведер зараз «перегнал» в себя, отчего и помер. Ступин очень жалел мастера, тем более что был влюблен в его дочь без памяти.

Но тут вмешалась Анисья Степановна:

— Да на што тебе, оголтелому, дочка от пьяницы? Ряба, коса, кривопуза и не плывет павою по земле, а скачет, быдто лягуха какая. Ужо вот, погоди, я тебе такую невестушку пригляжу... глаз не отвести! Она тебе красу свою явит...

Катерина Селиванова из мещан Арзамаса стала его женою. Ступин подался в Нижний Новгород, где начал служить в канцелярии губернского правления, а его начальники, зная, что он к живописи склонен, зазывали Ступина в свои именишки — кому стены цветочками расписать, а кому рамы для семейных портретов золотить, а кому взбредет в голову, чтобы крылья мельницы сделать разноцветными. Но весной 1798 года началась в губернии суeta великая, все словно помешались от ужаса — Нижний Новгород угрожал навестить сам император Павел I.

Ступина вызвал к себе губернатор Борис Ласси.

— Выручай, братец, спаси нас и помилуй, — сказал он, рыдая. — Ежели Его грозное Величество не куртизировать предметом отважным, тогда всем нам худо станет, а тебе — первому. Уж я даже Измаил штурмовал, а такого страха еще не испытывал...

Ласси велел срочно готовить для «куртизирования» императора образ Воздвиженья, и когда в мае Павел I прибыл, ему поднесли сей «предмет отважный», чему император подивился.

— Мастер хорош! — сказал он. — Выделить его...

Все перекрестились, а Ласси обласкал Ступина:

— За то, что с писанием образа не мешкал, а искусством своим избавил губернию от разоренья монаршего, жалую тебя из подканцеляристов в полные канцеляристы. Мажь и далее!

Катя родила первенца Рафаила, Ступин с женою и сыном вернулись в Арзамас; Александр Васильевич стал жить с церковных и дворянских подрядов, сам завел учеников, приобрел в городе домишко, а для услуг нанял «девку». Двоюродный брат жены Турин, учившийся живописи в Петербурге, критиковал художественные приемы Ступина, свысока поучая шурина:

— Учеников набрал, а тебе самому учиться надобно...

Весною 1800 года Ступин решил ехать в Петербург, тут заплакала Анисья, в голос завывала жена, рыдал и младенец в люльке.

— Ой, да на кого покидаешь нас, родименький? — причитали женщины. — Али мы тебя не тешили, не голубили?..

Ступин отъехал. «Цель моя была, — писал он, — не столько заняться для себя, сколько для пользы учеников моих».

Прямо скажу: в храбрости ему не откажешь. Сначала его приютил дядя по жене Степан Турин, а в Академии художеств арзамасца приняли на правах «постороннего ученика». Ступин почти ревниво наблюдал за своими товарищами — Кипренским и Варнеком, обладавшими таким хватким талантом, о каком Ступин даже помышлять не смел. Очень хотелось ему попасть в классы ректора Ивана Акимова, но тот прежде спросил его:

— Какими средствами владеешь, голубчик мой?

Ступин честно сказал, что выехал из Арзамаса, имеет 250 рублей, после чего Акимов лишь горько усмехнулся:

— Так где тебе за мое ученье расквитаться?

Катя писала из Арзамаса, что без него стало тошно: мещанская община города сочла Ступиных богачами, ибо, будучи беден, не живал бы ее муж в столице, и на этом основании обложила семью Ступина таким налогом, что скоро до разорения доведут. Но Сту-

пин Академию не покинул, рисовал с антиков и натурщиков, за свое старание получал «номера» похвальные. Однажды, работая в Античной галерее, он услышал чужое дыхание. Оглянулся — за ним стоял ректор Академии.

— А что? — сказал Акимов, присаживаясь рядом. — Вижу, что в анатомии ты успешен, да и натуру освоил порядочно. Дай-ка мне карандаш, я пальцы и пятку поправлю. Если желаешь, братец, приходи ко мне завтра. Я подумаю о твоём бесплатном ученичестве в своих классах. Приготовь паспорт...

Они встретились. Ступин передал ему паспорт арзамасского мещанина, Акимов указал ему жить в своём доме. Тут ректору стали говорить, что в доме и без того теснотища.

— А станет ещё теснее, — отвечал Акимов. — Перечить не смейте. Мне нравится умное лицо господина Ступина, и я от души надеюсь, что беру к себе доброго человека...

Александр Васильевич доверчиво рассказал учителю о своём положении, о том, что в Арзамасе жену и мать налогами притесняют, и тогда Акимов воскликнул:

— Да что за скоты у вас там живут? Ты же не в разбойники пошел учиться на атамана шайки, а художествам! Вместо того чтобы подкрепить тебя, они твою семью притесняют. Я этого дела так не оставлю. Садись и пиши прошение.

— На чье имя? — готовно спросил Ступин.

— На имя самого императора, который, чаю, не забыл имени автора, создавшего для него в Нижнем образ Воздвиженья...

С прошением на имя царя Ступин обратился к его личному камердинеру. Тот сказал, что с такой бумагой надо не к нему ползать, а ступать к Дмитрию Михайловичу Затрапезнову:

— Он как раз и сидит для принятия прошений.

— А где сидит?

— Адрес известен. Только все это бесполезно. Нешто не знаешь, что в наше время без взятки не прожить? Дмитрий Михайлович богат, берет только английским портером.

Тут Ступин чуть не расплакался.

— Да ты посмотри на меня, — сказал он камердинеру. — Я весь оборвался, кой денечек не ел досыта... Сам не пробовал портера и не знаю, на какие шиши покупать его!

— Так бы и говорил, что беден... постой здесь! По лицу ты мне нравишься, — сказал камердинер. — Не уходи. Сейчас я для тебя из царских погребов портера сворую...

Вынес он на себе громадный ящик с бутылками английского портера и перевалил его на плечи Ступина, которого даже зашатало от тяжести. Камердинер напутствовал парня:

— Тащи прямо к Затрапезнову — ни в чем не откажет...

Затрапезнов пересчитал бутылки и сказал:

— Вижу, что ты меня уважаешь. За это я тебя в люди выведу. А твое прошение сразу передам Петру Хрисанфовичу.

— А это еще кто такой? Чем берет?

— Это генерал-прокурор нашей великой империи. Он до портера не охотник, больше мадеру гишпанскую потребляет.

В это время Акимов осаждал президента Академии художеств, образованного графа Александра Строганова, большого знатока искусств, имевшего в Петербурге свою картинную галерею. Это был человек гуманный, никаких взяток никогда не брал.

— Ваше сиятельство! — доказывал ему ректор, привирая. — У меня Ступин, почитай, в нищенском рубище ходит, но из малых толик книги и эстампы скупает. Человек семейственный, детишки в неглиже по лавкам сидят, каши со слезами просят...

Мощное воздействие генерал-прокурора и президента Академии вызвали к жизни «именной» указ императора Павла I, чтобы Ступина исключили из податного состояния, «дав сим ему полную возможность на обучение свободным художествам» (так было сказано). Ступин обрадовал жену, чтобы на все придирки мещанского общества посылала всех подальше... к указу царя!

Между тем как бы ни был хорош ректор Акимов, но учеников своих он держал на голодном пайке, требуя от каждого, чтобы помогал ему по хозяйству. Он обожал свой сад, разводил в нем всякие цветы и деревья, а молодые художники с утра до ночи лопатили землю, уснащая ее навозом. Однажды Акимов послал Ступина на другой берег Невы — доставить для его сада березу; на обратном пути лодка перевернулась, Ступин не умел плавать и едва спасся, уцепившись за березу...

Вскоре он выразил желание вернуться в Арзамас.

— Твое дело, — сказали ему в Академии. — Можем за успехи дать тебе четырнадцатый класс, что по Табели о рангах равняется чину коллежского регистратора, а далее нам все равно, хоть ты в искусстве до профессора вылезай... Только лучше бы ты оставался в столице, а в Арзамас не ездил.

— Отчего так? — удивился Александр Васильевич.

— Да кому ты нужен там со своим мизерным чином?..

Ступин не скрывал, что желает устроить в Арзамасе свою «академию», двери в которую всегда будут открыты для юных провинциалов, жаждущих приобщения к миру прекрасного. Для этого, мол, и скупал книги с гравюрами, а ныне ждет помощи от своих товарищей, дабы уступили в Арзамас свои картины:

— Пусть они послужат наглядным примером тому, как надо работать в искусстве ради возвышения искусства...

Конференц-секретарь Лабзин сразу одарил его ценными изданиями, спрашивая, на какие средства будет учить юношей.

— Ведь в школу пойдут дети крепостных, сами нищие. Хотя в Арзамасе, — сказал Лабзин, — церковью множество, но под звон колоколов единою просфоркою не насытишься.

— От помещиков местных, заказы от них принимая, сам прокормлюсь, и другие с голоду не распухнут. Я все учел, — объяснил Ступин, — даже умеренность цен на питание в Арзамасе, кои никак

не сравнить с бешеными ценами в столице. Бланманже у меня не будет, одной гусятиной побалуемся...

Он отправился на родину, загруженный дарами художников, уступивших свои эскизы и картины, граф Строганов указал Академии поделиться с ним античными слепками из гипса, материалами для учения, вплоть до хорошей бумаги и карандашей. С этим Ступин и отъехал в родной Арзамас. Он знал, что ему будет трудно, но утешал себя словами народной мудрости:

— Человеку так надо: где родился, там и пригодился...

Александр Федорович Лабзин оказался прав, предрекая: школа в Арзамасе станет школою крепостных. Помещики радостно отдавали на воспитание мальчиков, дабы иметь в своих усадьбах собственных живописцев, которым платить за труды не надобно. Ступин понимал: мало умения рисовать, отроков следовало готовить в истории, арифметике, географии. По этим предметам нанимал учителей со стороны, а жена пугалась расходов:

— Где ж ты, Саша, денег на них возьмешь?

— С помещиков стану брать по двести рублей в год за учение крепостного, а свободные пусть сами платят по триста...

Ступин был деловит. С первыми учениками взялся за оформление громадного храма в имении знатного богача князя Грузинского, создал для него множество икон, сам делал лепнину и заработал три тысячи рублей. На эти деньги Александр Васильевич приобрел барский дом на углу скрещения арзамасских улиц. В этом доме разместил школу, библиотеку и спальни, а каретный сарай приспособил для галерей — картинной и античной, где выстроились гипсовые слепки и копии классических фигур. Жена укачивала на руках недавно родившуюся Клавочку, с трепетом озидала гладиатора с мечом, стыдливый жест Венеры Медицейской и лесного лешего Фавна.

— Одной и ходить тут страшно, — говорила она. — Не дай бог таковых на темной улице встретить.

Обыватели над Ступиным посмеивались:

— Не живется ему как всем! Всюду така тишь да благодать, а он для себя экую мороку придумал...

Дабы школа выделялась в ряду домов дворян и обывателей, Ступин возвел перед ее фасадом леса, с палитрою в руках сам расписывал фронтон здания. Скоро перед жителями явилась в порывистом движении фигура женщины, как бы взлетающей над Арзамасом, над его крышами и куполами церквей, взмах ее рук был почти ликующий, а улыбка казалась нескромной...

— Это кто ж такая будет? — спрашивали прохожие.

— Муза, — отвечал Ступин. — Муза города Арзамаса.

— Молитесь, — внушал Ступин, — ибо она ваша святая...

Оплеухи, розги и колотушки, полученные Ступиным от своих первых учителей, сказались на нравах его школы, и никого из своих учеников он даже пальцем не тронул:

— Я ведь для них не помещик, а учитель...

Всегда ровный, аккуратный и ласковый, Ступин вел себя с учениками, как отец с детьми. Он никогда не жалел, что избрал для жития Арзамас, а чтобы укрепить среди горожан свой авторитет, охотно заступил на должность церковного старосты. Всю душу и все умение вкладывал Ступин в уроки, правил рисунки учеников, учил их тому, что сам вынес из Академии, зато для своего творчества времени уже не оставалось... Вечерами, усталый донельзя, он отдыхал в кругу семьи. Анисья Степановна жила с ним, радуясь на своего Сашу, а Ступин только теперь, в канун ее смерти, узнал, что она ему не родная мать, и он целовал морщинистые руки старухи, за все ей благодарный:

— Спасибо тебе, матушка, за пятаки да гривны твои...

Ему было нелегко. И особенно страдал Ступин, когда помещик, забрав ученика из школы, приневоливал его служить лакеем, парикмахером или писарем, а за «художество» велел драть, чтобы не забывал своего рабского происхождения.

С тревогой наблюдал Ступин за быстрыми успехами крепостных, мрачно размышляя об их дальнейшей судьбе. Самым талантливым своим учеником он считал Ваню Горбунова и однажды сказал ему:

— Сбирайся, дружок, в Петербург едем.

— Зачем?

— Ради таланта твоего станем добывать волю...

В 1809 году Ступин отобрал лучшие работы учеников, взял с собою Горбунова и сына Рафаила, отправился в столицу. Здесь о нем и думать забыли, а потому появление Ступина стало для академиков почти праздником. Акимов расхвалил рисунки:

— Верно, что над Арзамасом музы порхают, у нас в Академии таково же рисуют, как в твоей школе... молодец!

Президент Строганов пожалел Ваню Горбунова:

— Небось дешево тебя помещик не продаст? Сколько же талантов на Руси зря пропадает... гибнут ни за что! Памятуя об этом, я своего Воронихина из своей зависимости на волю отпустил, теперь он знатным архитектором соделается.

Конференц-секретарь Лабзин более других радовался:

— За успехи школы твоей, Александр Васильевич, тебя надо вознаградить. Ты для родины граждан воспитываешь.

— Воспитываю граждан, а выходят из школы рабами...

Ступина возвели в звание академика, профессор Егоров взял под свою опеку Горбунова, а Рафаила Ступина (еще мальчика) приняли в Академию на казенный счет. Александр Васильевич возвращался в Арзамас, окрыленный успехом, ощутив великое чувство независимости: отныне он академик... С фронтона школы в свободном парении муза раскинула перед ним свои руки!

Слава об арзамасской школе Ступина вышла далеко за пределы провинции, и после изгнания Наполеона, в блаженную эпоху надежд и упований на лучшие времена, в Петербурге возникло литературное общество «Арзамас» — как остроумный отклик в ответ на создание

ступинской школы; все члены этого талантливой кружка имели смешные прозвища, а молодого Пушкина в нем прозывали «арзамасским сверчком»...

— Конечно, Катенька, — говорил Ступин жене, — не все мои школяры станут Рафаэлями, но вот сама погляди, сколь много заказов шлют отовсюду, чтобы готовил учителей рисования.

На конвертах просителей чернели почтовые штемпели городов — Серпухова, Ирбита, Чистополя, Цивильска, Перми, далекого Архангельска. Отныне лучшие работы учеников Ступин отправлял на столичные вернисажи, Академия художеств слала ему медали — для награждения лучших и талантливейших.

— Но вот беда! — жаловался Ступин жене. — У меня самые лучшие и талантливые состоят в крепостном рабстве, а из Академии наказывают, что таковым медалей не давать.

— Так не давай, коли начальство велит.

— Нарочно бы наградить крепостного, дабы помещик совестью мучился: как он художника с медалью в рабстве содержит?

Ступин не раз писал дворянам, чтобы не томили его учеников в неволе, он старался отсылать их доучиваться в Академию, дабы для них шире открывались дороги к свободе. Но внутри его семьи уже назревала беда: Рафаил, оставленный в Петербурге, вел себя безалаберно, в переписке Ступина появилась о нем роковая фраза: «вероломный сын». В 1818 году Рафаила удалили из Академии художеств за пьяную драку в трактире; полного курса учения он не осилил, изгнанный из классов с позором, и этот позор запечатлелся в первых сединах Александра Васильевича. Нерадостной была его встреча с сыном в Арзамасе.

— Вот тебя я бить стану! — сказал Ступин...

Он оставил его при школе, Рафаил взялся учить молодежь знанию перспективы, рисованию с гипсов. Был он талантлив (намного талантливее отца), но отец не видел в нем проку.

— Искусство, аки гидра алчная, целиком поглощает художника. А ежели ты, сынок, более озабочен по ярмаркам веселиться да на бильярде шары гонять, так что путного с тебя будет?

Рафаил Ступин искал себе лазейки для оправдания:

— Великий Рембрандт тоже по трактирам хаживал.

— Сравнил ты! Рембрандт пошел в трактир вино пить, когда любовь его умерла, когда у него все в жизни рухнуло, а ты... посоветись! В кого ты пошел такой?

Неожиданно в Арзамасе остановился проездом конференц-секретарь Лабзин; он дотошно осмотрел школу и учебные галереи, где ученики срисовывали контуры античных фигур, расплакался.

Ступин увел высокого гостя в свои покои:

— Александр Федорыч, отколь слезы? Куда путь держите?

— Еду в Сенгелей, чтобы умирать там.

— Так разве, кроме Сенгелея, вам и помереть негде?

— Ссылают меня. В наказание.

— Да за что же, Господи?..

Лабзин рассказал о своей вине перед царем:

— На совете профессоров Академии художеств холопы продажные решили избрать графа Аракчеева почетным членом. Я встал и спросил: «За какие успехи? Назовите мне шедевры живописи, созданные графом Аракчеевым». Мне говорят: «Никаких шедевров за графом не числится, зато Аракчеев близок к царю». Тогда я снова поднялся. «В таком случае, — сказал я, — русская Академия художеств давно нуждается в почитании лейб-кучера Ильюшки Байкова, который возит царя по городу, ибо он к царю еще ближе...» Вот за это, — договорил Лабзин, — и тащусь в Сенгелей, дабы сложить бранные кости на тамошнем погосте...

Россия переживала тяжкое время — аракчеевщину!

В это время жить в провинции, наверное, было вольготнее, нежели в столице, где даже художников выстраивали по ранжиру.

Конечно, живи Ступин в Петербурге, его музам сразу бы обкорнали крылышки, а здесь он — академик, церковный староста — всеми почитаем, даже губернатор Бахметьев из Нижнего навещался в Арзамас, хвалил школьные порядки.

— Неужто ты своих школяров никогда не сечешь?

— Одного высек, — понуро сознался Ступин.

— А кто он? Что сотворил?

— Это сын мой Рафаил, я сам его сотворил...

— Ты на Макарьевскую ярмарку приезжай, — звал его Бахметьев, — там для тебя немало работы сыщется.

Но были и враги. Богомольные святоши, заворачивая с Прогонной на Стрелецкую, даже отплевывались, как от нечистой силы, заведя на стене школы музу в ее чудесном полете.

— И куда это начальство глядит? — рассуждали обыватели. — Сколь мы жили, а такого сраму еще не видывали, чтобы нам посреди города, среди бела дня голых девок показывали.

— Это еще что! Ты бы, милоч, внутрь заглянул: там у Ступина всяких Венерок да леших понаставлено... во где срам-то! И ведь не просто глядят на них, еще и рисуют всяко...

Среди учеников Ступина появился миловидный мальчик — из мещан Пензенской губернии, звали его Колей Алексеевым, он полюбился Ступину небывалым усердием, какого учитель не мог добиться от своего сына-гуляки. Александр Васильевич с женою смотрели из окна, как в саду Коля играет с их Клавочкой, и что-то неясное вдруг растревожило душу мастера.

— Стареем мы, Катенька, стареем.

— Типун тебе на язык, Сашка, — обиделась жена...

Ученики из крепостных называли себя крепачками. Повзрослев, они впадали в печаль, ибо предстояла разлука со школой, следовало возвращаться к барину, от которого можно ожидать всего, и даже палок. Ступин понимал их нужды, но оставался бессилён помочь, сказывая жене:

— Коли даже медалей нельзя им давать за успехи в живописи, так я думаю: не отказаться ли мне от учения крепостных?..

Зато как радовались юнцы, попавшие в его школу. Иван Зайцев, тоже крепак, описывал свое счастье: «Началась новая жизнь — и какая жизнь! Не та отвратительная, подлая и грязная, нет, совсем не та. Я жил теперь между такими людьми, какими я воображал их себе, читая романы... Эх, славное было время, незабвенное, беззаботное и веселое...»

Александр Васильевич позвал Зайцева в кабинет:

— Ванюшка, помещик твой Ранцев затребовал тебя обратно, почему за учение твое перестал деньги выплачивать.

Зайцев упал на колени перед учителем:

— Удавлюсь! Зарежусь! После жития при искусствах не могу вернуться в ненавистное прозябание...

Вот оно, горе горькое! Всем остались памятны похороны талантливого Гриши Мясникова, которого барин, обучив в школе Ступина, послал на кухню супы варить, велел сапоги чистить. Гриша бежал обратно в Арзамас и покончил с собой — в окружении антиков, среди живописных полотен. Провожали его на кладбище всей школой, а Ступин даже спотыкался от горя:

— Ах, Гриша! Две тыщи рублей просил за тебя помещик, а ты не дождался, доколе соберем выкупные...

Сколько восторгов в искусстве, но сколько трагедий в жизни! Не выдержав возвращения в рабское состояние, ученики спивались, их, бунтующих, запарывали плетью на конюшнях, иные ударялись в бег, влекомые к свободе музами Арзамаса. Я снова раскрываю мемуары Ивана Зайцева, которые он писал в глубокой старости, будучи учителем рисования в Полтаве: «Скажу еще несколько слов о Клавдии Александровне, дочери нашего дорогого учителя. Она была милая, добрая и приветливая особа, хорошенькая брюнетка». Все ученики считали своим неперменным долгом пылать к ней лю-

бовью, сочиняли ей мадригалы. Но, кажется, среди многих она уже выбрала единственного...

Труппы бродячих актеров обходили Арзамас стороною:

— Нам в Арзамасе только гусей воровать, а играть нечего, ибо школяры Ступина лучше нас трагедии ставят...

Пожалуй, что верно. Ступин не забывал о любви к театру. Ученики его играли на сцене как заправские актеры, даже в женских ролях бывали столь искусны, что однажды заезжий в Арзамас поручик гвардии граф Бутурлин похитил из-за кулис прекрасную Дульцинею: каково же было его удивление, когда героиня гусарского романа оказалась пригожим парнем из школы Ступина, да еще крепостным!

В 1824 году Ступин со всей школой выезжал на Макарьевско-Нижегородскую ярмарку: на раздолье всероссийского торжища, под музыку балаганов, ученики расписывали храм по рисункам Доменикино, а над алтарем разместили «Тайную вечерю» по известным мотивам Леонардо да Винчи. Свою долю заработка Ступин потратил на приобретение новых книг и эстампов, истратив на них тысячу рублей, чем даже вызвал недовольство жены:

— Где бы тебе о приданом для Клавочки подумать, а ты на картинки этакую прорву деньжищ ухнул...

На следующий год Ступин выехал в Петербург с отчетом об успехах своей школы. «Свободные опять получили медали от совета Академии художеств, а крепаки, как всегда, довольствовались одобрением их талантов». Обратившись в Арзамас Ступин возвращался целым обозом — столь велик был багаж, собранный из мрамора и гипса, живописных полотен, гравюр и литографий. Нижегородский губернатор Бахметьев указал Ступину написать вид Арзамаса, чтобы этим видом порадовать императора:

— Заодно и меня порадуешь, ибо подносить вид Арзамаса Его Величеству, конечно, не ты, а сам я осмелюсь...

Не знаю, как наградили подносители, но царь переслал в дар Ступину бриллиантовый перстень. Вскоре пришло время прощаться

с Колей Алексеевым, уезжавшим учиться в Академию художеств, и тут Клавочка устроила в доме такие рыдания, такие стоны, что всем стало ясно, кого избрало ее сердечко.

— Ну, езжай с богом, — благословил Ступин Алексеева.

— Я вернусь в Арзамас, — обещал ему Алексеев.

— Дурак! — ответил Ступин. — О том, что вернешься в Арзамас, ты не мне, моей дочке рассказывай...

Каждую осень, после обмолота хлебов, окрестные помещики, разбогатев с продажи зерна, съезжались в Арзамас, заполняя номера в гостиницах Белянинова и Подсосова. В 1830 году Арзамас навестил и Пушкин, переживший Болдинскую осень. Ступин радушно принял его в апартаментах своей школы:

— Дивлюсь, что вы наведались в наши Палестины.

— А чему тут дивиться? — отвечал поэт. — Пушкины в Арзамасе всегда были своими людьми. Здесь жила мой предок Евстафий Пушкин, которому царь подарил село Болдино, где ныне и проживаю. Никита Пушкин был даже воеводою в Арзамасе, а Борис Пушкин служил здесь со своим полком. Так что, Александр Васильевич, я, как и вы, коренной арзамасец! А проездом в Болдино не миновать ваш город, и как не заглянуть к вам?..

Все наезжавшие в Арзамас спешили посетить музей при школе Ступина (наверное, побывал в нем тогда и Пушкин). Между тем в семье самого Ступина не все было тихо и гладко. Клавочка с нетерпением ожидала Алексеева, а с сыном отец жил в разладе. Рафаил еще со времен Петербурга возлюбил шум и гам трактиров, все осенние ночи пропадал в кругу дворян, бражничал с ними, играл в карты. «Искусство требует жертв» — пусть это выражение банально, но кто откажет ему в справедливости? Не раз отец внушал сыну, что талант и вино несовместимы, ибо вино всегда оказывается сильнее таланта.

— Всю жизнь утруждая себя заботами, — говорил Ступин, — я вправе требовать от тебя чистого служения непорочным музам. Если не исправишься, то вот тебе Бог, а вот и порог.

— Учтите, папенька, если уйду, уже не вернусь.

— Моя школа в бездельниках не нуждается.

— Ах, даже так? — вспыхнул гневом Рафаил.

— Именно так, — жестко отрезал Ступин...

За сыном хлопнула дверь, и — навсегда! Екатерина Михайловна, как мать, не могла вынести ухода сына.

— Как ты мог? — рыдала она. — Чужих детей бережешь, а своего же родимого сыночка выгнал из дому!

— Не плачь, — отвечал ей Ступин. — Искусство или берет всего человека, или отшвыривает его прочь...

— Да ведь пропадает кровинушка наша!

— Пусть пропадает, — решил Ступин...

Рафаил Ступин, уйдя из дому, бродяжил по России, менял города и клиентов, делал миниатюры и писал акварельные портреты с дворян Поволжья, нахлебничал у купцов, гулял и пил, но все-таки пропал, оставив для наших музеев столь мало, что мне до сих пор жаль его погибшего таланта...

Был год 1834-й, когда, закончив Академию художеств, в Арзамас вернулся Николай Алексеев, ставший для Ступина не только хорошим зятем, но и верным помощником, заменив старику пропавшего сына. Алексеев ревностно делил с тестем руководство школой, читал ученикам лекции, насыщая их теми знаниями, которые с мраморных берегов Невы вывез на травяные берега Тешы, заселенные полчищами гусей. Он был талантлив, что и доказал своими работами. За картину-панораму «Академик А.В. Ступин с его учениками» торжественное собрание Академии художеств избрало Алексева в академики! Его ранний автопортрет был настолько хорош, что долгие годы считался автопортретом Ореста Кипренского; позже Алексеев написал себя в романтическом духе пушкинского «Алеко». В третьем томе «Трудов Всероссийского съезда художников» опубликована речь нижегородца А.А. Карелина от 2 января 1912 года,

в которой приведен загадочный случай: в одну из веселых минут жизни Алексеев привез в Арзамас чересчур веселого Карла Брюллова, и великий маэстро кисти запечатлел приятеля на фоне города... Что это? Легенда? Неужели и прославленный Брюллов не миновал Арзамаса?

В январе 1838 года Ступин овдовел.

— Жизнь кончилась, и одна утеха в горечи — это музы. Никому зла не делал и не пойму, откуда недоброжелатели?..

Враги были. Осенью 1842 года ночью подпалили сарай, но пожар затушили. Потом поджигали школу, но ученики забили огонь. Наконец в ноябре 1842 года враги или завистники (кто их знает) своего добились: школа Ступина запылала. Из пламени спасали что могли, эстампы и книги, но музей сильно пострадал, множество картин было расхищено набежавшей толпой, часть скульптур в суматохе разбили. Спасибо друзьям из Петербурга: выхлопотали пять тысяч серебром на возрождение школы, и на эти деньги школа Ступина продолжила работу. Но возник перерыв в учении, который скверно подействовал на зятя.

— Александр Василич, — сказал Алексеев, — меня соблазняют работать в Петербурге над украшением Исаакиевского собора. Трудно отказываться от столь лестного предложения.

Он уехал в столицу, оставив школу и Клавочку на попечение старого тестя, и больше не вернулся. Не выдержав разлуки с любимым мужем, умерла и Клавдия Александровна. Ступин остался в одиночестве и вряд ли обрадовался, когда его наградили орденом Владимира «за распространение живописи в отечестве» (так было объявлено в императорском указе). Жестокая николаевская эпоха близилась к концу, но старик уже устал видеть страдания учеников своих.

— Я отворяю им врата в мир искусства, а бере затворяют их для моих детей, распахивая перед ними ворота зловонных конюшен. Доколе терпеть? Нет, — решил Александр Васильевич, — учить

рабов, чтобы, познав свет, они снова пропадали во мраке невежества, я больше не стану... Прости меня, Боже!

С 1847 года Ступин не желал брать в обучение крепостных, отправив в Академию художеств письмо, почти гневное: не затем он творит художников, чтобы господа употребляли их таланты на кухнях, а чесать пятки господам способны и глупые бабы. Но однажды Ступина навещил барон Крюденер, живший в доме неподалеку от школы, и привел с собой мальчика:

— Василий Перов! Желал бы учиться у вас...

— Крепостных не беру, — сказал ему Ступин.

— Вася мой сын... побочный, — стыдливо пояснил Крюденер. — Мастерски владеет пером, отчего и прозван «Перовым», но мечтает об искусстве высококом, дабы живописать красками...

Ступин смотрел на отрока, и, конечно, ему не дано было знать, что Перов проложит в русской живописи новые дороги, по которым другим ученикам Ступина уже не дано ездить. Ступин сам навещал семью Крюденера, говорил матери ученика:

— Ты, Акулина Ивановна, раньше времени за сына не пугайся. Уж я не одну собаку в своем деле съел и вижу, что Васенька не пропадет с талантом своим... сущую правду тебе глаголю!

Много знал Ступин, многое умел предвидеть, но в смятении чувств не понимал одного: откуда берутся недруги?

— Господи, да разве кого я обидел? Всю жизнь ради добра усердствовал, о зле не помышляя...

Удар последовал оттуда, откуда Ступин удара не ожидал.

Летом 1853 года город посетил преосвященный Иеремия, епископ Нижегородский и Арзамасский (он же и кавалер орденов разных). В честь прибытия владыки все трактиры украсились еловыми ветками. Но недреманным оком епископа было сразу «усмотрено», что при Городском соборе расположилась кукольная комедия, «не знающая ни времени, ни приличия, благонравием

требуемого» (так писано в консистории). После закрытия кукольного театра, где пострадали только петрушки да матрешки, епископ направил священные стопы прямо в школу Ступина, благо она имела несчастье расположиться близ храма Пресвятыя Троицы.

Ступин с поклоном принял епископа, облобызав его длань. Церковный староста, он вел себя с подлинным благочинием.

— Ну, покажь! — сказал Иеремия. — По всей губернии слух идет, будто у тебя тут сокровища собраны...

В античной галерее епископ обомлел от изобилия гипсовых торсов, ляжек, грудей, ягодич и мускулов, напряженных в усилии. Конец его посоха уперся в пупок атлета:

— Кто таков?

— Гладиатор.

— Ты бы хоть штаны на него надел, а то ведь сраму-то сколько... Тут девицы ходят, соблазны всякие видят. Мужчина без штанов — это уже не мужчина, а наважденье дьявольское...

Ученики Ступина, рисующие с антиков, притихли. Иеремия обозрел «гипсовый» класс училища, вывел сентенцию:

— Одни язычники, ко блюду преклонные...

Ступин возразил: здесь представлены герои мира античного, а облик пречистой Венеры восхищает все человечество.

— Вижу, каковы герои твои, — осатанел епископ. — У тебя мужики без штанов, а бабы без юбок... Грех! Хоть глаза завязывай. Нет стыдения христианского, одни соблазны...

Резолюция владыки гласила ясно и четко, что Ступина «уволить от звания церковного старосты того храма, против алтаря которого не устрасился он содержать бесстыдные, голые фигуры языческие... по сему предмету заготовить отношение к г. Начальнику Губернии о прекращении подаваемого девицам явного соблазна, а копию предать в Арзамасское полицейское правление».

Иеремия покинул школу, перекрестив себя на купола храма Пресвятыя Троицы, а когда обернулся к Ступину, его провожавшему, то усмотрел на фронтоне здания музу парящую.

— Опять титьки голые? — заорал он в испуге. — Да ты вредитель народу православному, потакатель блудодействию...

Скоро явился полицмейстер с казенной бумагой.

— Александр Василич, — сказал он Ступину, — ты уж не сердчай на меня, мое дело служивое. Больно хороша муза твоя, но приказ есть приказ, и против рожна не попрешь. Отныне все музы твои в Арзамасе велено предать запрету... замажь!

Ступин сам приставил к фронтону здания стремянку, с кистью маляра полез наверх и стал замазывать свою любимую музу. Потом поглядел на голую стену и заплакал. Все оставалось в Арзамасе по-прежнему, ни один фонарный столб не дрогнул от такого кощунства, но Арзамас что-то потерял.

— Без музы смерть моя, — сказал Ступин...

Последний раз он навестил Петербург, вернувшись в полном отчаянии: Академия художеств была наполнена незнакомыми людьми, которые думали, что Ступина давно нет в живых.

— Не один я — все умерли! Говорю об Акимове или Егорове, а для них это такое же прошлое, как для меня нашествие Мамаю на Русь. Видать, и впрямь пришло время прощаться...

Он скончался тихо, будто уснул, 31 июля 1861 года и был погребен на Всесвятском кладбище Арзамаса, могилу художника придавили памятным камнем в форме пирамиды. Через тридцать лет после его кончины Арзамас посетил писатель В.Г. Короленко, собиравшийся писать о школе Ступина, о мучительных радостях его учеников, которых уже мало кто в городе помнил. Один из домов привлек внимание былым великолепием, а Короленко, уделив милостыню нищему, спросил его:

— Не знаешь ли, отец мой, чей это дом был?

— Как же! — засветился вдруг нищий. — Здесь хороший человек жил, от его забот многие кормились... Это дом Ступина!

Фронтон дома был неумело покрашен. Новые владельцы придали ему вид фальшивого окна с крестовиной рамы. Короленко невольно хмыкнул и хотел идти далее, но вдруг остановился, что за притча? Из-под слоя жидкой краски на стене вдруг проступила женская фигура, раскинувшая руки в призывном отчаянии.

Это была муза города Арзамаса.

— Подайте убогому Христа ради, — выпевал нищий.

Владимир Галактионович стоял, сняв шляпу.

Упомянутый мною нижегородец А.А. Карелин еще в 1912 году признал с трибуны съезда художников: «История гибели Ступинского музея, известная мне с детства, залегла в моем мозгу каким-то постоянным гнетущим кошмаром». Известный советский искусствовед П.Е. Корнилов, будучи еще молодым человеком, в 1929 году посетил Арзамас, но на том месте, где размещалась когда-то школа Ступина, образовался пустырь, заросший крапивой и лопухами... Понадобилось время, чтобы в нашей стране признали и полюбили тружеников этой школы, и теперь в каталогах столичных музеев, в альбомах музеев провинции все чаще встречаются картины учеников ступинской выучки.

Сам Александр Васильевич не оставил после себя работ, достойных публичного обозрения. Его заслуга совсем в другом — в его человеколюбии, в педагогическом таланте, в том непосильном и каждодневном труде, с каким он старался ввести молодых крепачков в очарованный мир святого искусства.

В августе 1959 года на центральной площади современного Арзамаса состоялось открытие памятника А.В. Ступину.

По утрам мимо него пробегают дети, спешащие в Детскую художественную школу, носящую имя Александра Васильевича.

Волшебные музы не покинули Арзамаса!

Король русской рифмы

В юности я уделял большое внимание словосочетаниям. А соотношение звуков, особенно рифмование их, вызывало обостренный интерес. Меня приводила в восторг словесная музыка: «на камне — века мне», «зеркало — исковеркала». Я ходил тогда в широченных клешах матроса, в белых парусиновых баретках, которые хитроумно чернил ваксой. Раз в неделю я бывал в объединении молодых литераторов, которым руководил старейший ленинградский поэт Всеволод Рождественский (ныне покойный), человек большой культуры и добряк по натуре. Однажды он потряс мой слух, упомянув несколько строчек:

Область рифм — моя стихия,
И легко пишу стихи я.
Даже к финским скалам бурым
Обращаюсь с каламбуром.

Тогда я жил под большим впечатлением Блока и Маяковского, Георгия Иванова и Николая Агнивцева. Но эти «каламбуры» заставили меня вздрогнуть от неожиданности... Помню, был осенний вечер в городе, шел дождь, мне было скучно, мои баретки промокли, а на площади перед Московским вокзалом я случайно повстречал своего учителя — Рождественского.

— Проводите меня, Валя, — сказал он мне.

Мы тронулись по Невскому, и Всеволод Александрович взмахнул тростью, указывая вдаль, где едва виднелся шпиз Адмиралтейской иглы.

— Валя, — спросил он меня, — известно ли вам, что вот от этого места и до самого Адмиралтейства поэт Дмитрий Дмитриевич Минаев на пари соглашался идти, разговаривая о чем угодно только стихами?

Я, кажется, впервые в жизни услышал имя Минаева.

— Стыдно, Валя, не знать короля русской рифмы...

Конечно, стыдно! Но я тогда не знал многого. Минаев меня увлек, и я по сей день не перестаю удивляться бесподобной виртуозности его замечательных версификаций:

Семьей забыта и заброшена,
За ленту скромную, за брошь она...
Ты грустно восклицаешь: «Та ли я?!
В сто сантиметров моя талия».
Действительно, такому стану
Похвал я воздавать не стану...

Стихотворчество, живое и образное, всегда было авторитетно в нашей стране, благо сам обильный, красочный русский язык давал немало возможностей для поэтической выразительности. Чудаков и графоманов в этом деле тоже было, конечно, немало! Мне сейчас вдруг вспомнилось, что до революции на Путиловском заводе служил тишайший конторщик, который не умел говорить прозой. Он даже бухгалтерские накладные составлял в виршах. И вот как это у него получалось:

Стержень стальной для руля кормового	2 шт.
Румпель железный в корму	1 шт.
Болт не стальной, а железа простого	30 шт.
Гайка и шайбы к нему	25 шт.

Давным-давно на пароходе, плывущем в лунную ночь по Волге, один начитанный провинциал познакомился с молодым пассажиром, в разговоре с которым нечаянно выяснилось, что он в Петербурге — литератором:

— Так, пописываю кое-где. Нужда, знаете, заставляет.

Провинциал оказался большим почитателем поэзии:

— Сейчас если кто и есть из поэтов, так Некрасов, Курочкин да Минаев, остальные же, от греха подальше, под псевдонимами прячутся. Правда, неплохо «Темный Человек» пишет.

— «Темный Человек» — это я, — представился попутчик.

— Да? Крайне рад. А есть еще «Майор Бурбонов».

— Это тоже я!

— Хм... А еще вот остро сочиняет «Общий друг».

— Как не знать! Это опять-таки я пишу...

«Образованный» провинциал возмутился:

— Я вам так скажу, господин хороший: врать, конечно, всем можно. Но нельзя же быть таким наглым Хлестаковым...

Дмитрий Минаев плыл на родину — в тишайший Симбирск, и он никого не обманывал: все эти псевдонимы принадлежали ему. Утром пароход причалил к родному городу. Прямо к набережной спускались ароматные кущи славных симбирских садов — с цветами, пчелами, фруктами. А вот и классическая гимназия, в которой поэт безуспешно боролся с латынью.

Минаев начинал жизнь мелким чиновником, сначала в Симбирске, затем в Петербурге, где и получил чин за... хороший почерк: при отсутствии пишущих машинок каллиграфия в те времена оценивалась высоко. Юношу тянуло к поэзии, он присматривался к тому, что пишут другие поэты.

— Всюду глагольные рифмы! — возмущался он. — Бить — пить, стоять — лежать, петь — хотеть, сказала — отвечала... Эдак без особога труда можно вытягивать поэму длиною в версту.

Своему влюбленному приятелю Минаев советовал:

Не ходи, как все разини,
Без подарка ты к Розине,
Но, ей делая визиты,
Каждый раз букет вези ты.

А своей милой прелестнице он шептал на ушко:

Я, встречаясь с Изабеллою,
Нежным взглядом дорожу,
Как наградой и, за белую
Ручку взяв ее, дрожу...

С нею я дошел до сада,
И прошла моя досада,
А теперь я весь алею,
Вспомнив темную аллею.

Однако не станем думать о Минаеве как о талантливом рифмоплете-зубоскале. Если отец его, тоже поэт, привлекался по делу петрашевцев, то Дмитрий Дмитриевич сидел в крепости по делу Каракозова, стрелявшего в Александра II. Историки обычно называют его демократом, а иногда пишут более конкретно: революционный демократ. Минаев примыкал к редакции «Современника — передового журнала России. Максим Горький относил Минаева к «компании самых резких и демократически настроенных людей того времени». Четырнадцать лет жизни поэт отдал сатирическому журналу «Искрь», где его рифма заострилась, как кончик осинового жала, сделавшись опасным оружием в борьбе с бюрократией, казнокрадами, взяточниками и просто мерзавцами. Н.К. Крупская писала, что в семье Ульяновых очень увлекались «искровцами», в том числе и Минаевым, а молодой В.И. Ленин многие стихи помнил наизусть...

Да и как не запомнить? Как ими не восхититься?

Вот одно из них, с безобидным названием «Кумушки». Автор вроде бы уговаривает куму Кондратьевну прогнать мужа, который житья не дает ей, бедной, но в подоплеке обиденных слов Минаев затаил мощную политическую сатиру:

Сладко ли, не сладко ли —
Все: по шее ль бьют,
Лупят под лопатку ли...
Так не плачь кума,
Позабудь, Кондратьевна:
Нужно из ума
Гнать, и гнать, и гнать его...

Казалось бы, что тут такого? А прочтите стихи с выражением, и получится, что бедняка «лупят подло Паткули» (а Паткуль — обер-

полицмейстер Петербурга), что надо «гнать и гнать Игнатьева» (а Игнатьев — генерал-губернатор столицы).

Минаев безжалостно разоблачал крепостников, доставалось от него и Фету, с его замашками старорежимного помещика. Минаев писал в пародиях:

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что Семен работник с Фетом
Не поладил, как бывало...

Шепот, робкое дыханье,
трели соловья,
Лошадей крестьянских ржанье,
под окном свинья,
В дымных тучках пурпур розы,
в людях страха нет,
И глотает злобы слезы
крепостник-поэт...

Третье отделение находилось на Фонтанке, возле Цепного моста, и Минаев не боялся разоблачать его тайны:

У Цепного моста видел я потеху —
Черт, держась за пузо, подыхал от смеху:
«Батюшки, нет мочи, умираю, право, —
В Третьем отделении изучают право». —
Право? На бесправье? Эдак скоро, братцы,
Мне за богословие надо приниматься...

Минаев выпускал сатирический журнал «Гудок», заглавную виньетку к которому придумал сам. Над толпой стоял человек, размахивая знаменем, на котором начертано: «Уничтожение крепостного права». Цензура проморгала. Только на шестом номере заметили, что лицо знаменосца — это лицо Герцена! «Гудок» закрыли.

Творческая плодовитость Минаева была необычайна, а стихи его брали нарасхват. Он обладал не только даром версификатора — у него был и редкостный дар импровизации. Конечно, издатели жестоко эксплуатировали Минаева. Вот сидит он с друзьями в ресторане у Палкина или Еремеева, прибегает метранпаж из типографии, сам чуть не плачет:

— Митрич, Митрич, спасайте! Место пустое... заполните.

— А сколько строчек надобно, братец?

— На три рубля... ну что вам стоит?

И тут же, в шуме компании, Минаев на салфетке создает блестящее по исполнению восьмистишие. Один маститый, но бесталанный писатель однажды упрекнул поэта за то, что тот базарит себя на мелочи, — и сразу получил ответ:

Ты истину мне горькую сказал.

И все-таки прими за это благодарность:

На мелочи талант я разменял,

А ты по-прежнему все крупная бездарность...

25 сборников стихотворений — это не все, что он сделал. Дмитрий Дмитриевич усиленно переводил Байрона и Гюго, Данте и Гете, Бернса и Сырокомлю, Лессинга и Мольера, Шелли и Leopardi, Лонгфелло и де Виньи, Ювенала и Альфреда де Мюссе... Пробовал он силы и в драматургии: за пьесу «Разоренное гнездо» Академия наук присудила Минаеву премию в 500 рублей, что заставило автора сказать:

Да, в Академии наук плохи хозяева, ей-ей:

За «Разоренное гнездо» вдруг дали мне 500 рублей.

А как много размусорил, расшвырял за столом просто так — ради шуток, импровизируя, не стараясь даже запомнить сказанное на

злобу дня. Сверкнул — и тут же забыл! Но даже в смехе Минаева иногда прорывались горькие слезы:

Счастливым быть не всякий мог,
Но в каждом сердце человека
Найдется темный уголок,
Где затаились слезы века...

Этот веселый и внешне безалаберный человек, расточитель экспромтов и шуток, был глубоко несчастен. Виной тому неудачный брак с женщиной, никогда его не понимавшей. От этого поэт не любил свой дом, предпочитая ему редакции или трактиры. Несмотря на богатое дарование, Дмитрий Дмитриевич постоянно нуждался. Один журналист вспоминал: «Платили ему рубль, иногда полтинник — брал. Предлагали двугривенный... молча брал. И пил главным образом от разных горечей неприглядной семейной жизни. “Зачем ты, Митя, пьешь?” — спросил я его как-то. “Потому что я женат”. — “Что за вздор ты городишь?” — “А ты прежде женись да попади на такую женщину, которая... тогда и сам уразумеешь!”»

Я думаю, нет ли намека на драму в этих строчках:

Когда д у э т его любви
Любовным т р и о завершился...

После закрытия «Современника» «Искры» тоже угасли. Минаев перебивался поденной работой в газетах — писал популярные фельетоны в стихах. Легион врагов и одиночество делали свое черное дело. «Минаев допевал свои песни с видимым утомлением среди хора новых и моднейших птиц, усердно чиликавших вялые мотивы о своих золотушных страданиях и любовных томлениях». Так вспоминал о нем человек, которого Минаев не любил и чей образ заклеил в убийственных строках:

По Невскому бежит собака.
За ней Буренин, тих и мил.
«Городовой! Смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил».

Семейная жизнь ему опостылела. Минаев неделями пропадал вне дома, а стихи, случалось, писал на обертках меню в трактире. Однажды он вырвался из этого губительного круга, уехал в Винницу, где, по слухам, завел козу, которую сам же и доил; в благодарность за целительное молоко он посвящал козе хвалебные мадригалы и дифирамбы. А вернулся в Петербург — и богема снова втянула его в свой круговорот. Минаев все чаще впадал в мрачную протрацию, его болезненная раздражительность давала пищу для создания новых сплетен и злословия недругов, откровенно говоривших так:

— Да пусть он скорее подохнет, окаянный! От его языка уж сколько людей к литературе подступиться боятся...

Да, боялись. Потому что Минаев все бездарности разил наповал хлесткими эпиграммами, издевался над графomanами в безжалостных пародиях. А в 1882 году на юбилейном обеде писателей в честь Дениса Фонвизина кто-то ляпнул, что скоро, мол, коронация императора Александра III:

— И как бы тебе, Митя, не пришлось писать оды!

Минаев нервно вздрогнул, отвечая экспромтом:

О нет, я не рожден
Воспевать героев коронации.
Зато вполне я убежден,
Что он есть кара русской нации.

За это его привлекли в департамент полиции, где и предупредили, что «впредь к нему будут приняты самые строгие меры». Враги радовались, видя, как погибает талантливый человек, а Минаев делался

все отчужденнее, «и лишь когда его окружала атмосфера табачного дыма и пива у Палкина, тогда он впадал в калейдоскопическое остроумие, для красного словца не жалея и родного отца».

Озлобленному критику Минаев вlepил, как пощечину:

Иъеден молью самолюбья,
Походишь ты на старый мех:
Не холодишь, не согреваешь,
А только можешь пачкать всех.

Женщины в ресторане были вызывающе декольтированы:

Модисткам нынче дела мало.
На львиц взгляните городских,
Когда-то мода одевала,
А нынче... раздевает их.

Актер Анатолий Любский жаловался, что он, гений, никак не уживается с театральным начальством. Минаев отвечал:

Ныне Любского Анатолия
В храме Талии ждуд гонения,
А он сетует: «А на то ли я
Создан небом был с даром гения?»

К столику, за которым сидел Минаев с приятелями, подседа знакомая в слезах (ее недавно оставил возлюбленный), и у Дмитрия Дмитриевича легко складывается забавное утешение:

Обстоятельствами суженный,
Изменил вам, Даша, суженый,
Но забудьте вы о суженом —
Ждет шампанское вас с ужином.

Подсел приятель, ездивший недавно в Ростов, где его обворовали жулики на вокзале. Минаев сразу реагирует:

Я говорил раз сто вам —
Не знайтесь вы с Ростовом!

Мелькнуло барское лицо писателя, который отличился доносом на своего товарища, и Минаев тут же убивает его:

Нельзя довериться надежде —
Она ужасно часто лжет:
Он подавал надежды прежде,
Теперь доносы подает...

И весь этот каскад — без подготовки, без напряжения!

1884 год застал Минаева в Киеве; писатель Иероним Ясинский в «Романе моей жизни» пишет, что Дмитрий Дмитриевич поразил его угнетенным видом. Он спросил его:

— Митя, а что еще у тебя случилось?

— По высочайшему повелению закрыты и «Отечественные записки»... за якобы вредное направление. Погас последний светоч русской словесности, и боюсь, что драгоценный наш Михаил Евграфович подобного удара не снесет.

Салтыкова-Щедрина он неизменно боготворил! А болезнь почек уже мешала работать, и Минаев, все больше озлобляясь от нападков врагов, впал в крайности неустроенного бытия. Из семьи он ушел (и вряд ли его там удерживали). На самом сложном распутье жизни Минаеву вдруг повстречалась умная, чудесная женщина — Екатерина Николаевна, вдова симбирского врача Худыковского, и эта запоздалая, но святая любовь изменила всю жизнь поэта. Глеб Успенский спешил порадовать критика Михайловского, что Минаева теперь не узнать:

— Он как будто заново вымыт, выстиран и приглажен...

Михайловский и сам убедился в этом, оставив проникновенную запись о Минаеве: «Какая благородная душа, какое нежное сердце систематически в течение нескольких лет заливались вином...

О, если бы женщины всегда могли соображать, какой свет, но зато и какой мрак могут они вносить в жизнь человека!» Дмитрий Дмитриевич воспрянул душою, но болезнь почек прогрессировала, а жить в столице ему опротивело. Он стал поговаривать о поисках «тихой пристани»:

— Не пора ли нам, Катенька, вернуться на Волгу?..

Симбирск встретил их гамом грузчиков на пристани, теплым цветением необозримых садов. Влюбленные сняли домик в захолустье — на Солдатской улице, а общество Симбирска «чествовало» поэта враждебным отчуждением. Сколько уж лет прошло с той поры, как Минаев, еще молодой и задорный, описал нравы родного города в сатирической поэме, не пощадив никого в Симбирске, но, оказывается, ни дети, ни внуки ничего не простили... Денег не было, и Минаев закладывал вещи!

Одиночество угнетало. Он переводил эпиграммы из Марциала, но внимание было ослаблено болями. И сам чувствовал, что жизнь понемногу отворачивается от него. Минаев передал в дар Карамзинской библиотеке роскошное издание «Божественной комедии» Данте в собственном переводе, завещая, чтобы его книги всегда были доступными «решительно для всех».

— Катя, — просил он Худыковскую, — пусть на моей могиле сохранятся слова: «Минаев. Он жил и перевел Данте»...

Наступали новые времена, и слабеющий поэт приветствовал восхождение нового светила — Антона Чехова. Потом оставил перо и слег. Екатерина Николаевна скрывала от него смерть Салтыкова-Щедрина, но из газеты, случайно попавшей ему в руки, Дмитрий Дмитриевич узнал, что великого собрата не стало, и впал в глубочайший обморок. К ночи ему стало еще хуже... Минаев окликнул измученную Екатерину Николаевну:

— Катенька, я, кажется, сегодня ночью умру...

Теплым июльским утром 1889 года он скончался. Но даже и теперь, когда он лежал в гробу, служивый и чиновный Симбирск не

пожелал проводить его в последний путь. Случайно в городе оказался тогда А.А. Коринфский, ныне прочно забытый поэт, который и оставил нам описание похорон. Гроб водрузили на дроги, клячи в жалких пополах едва передвигали ноги, лил дождь, за гробом шла, «спотыкаясь и сама не помня себя от горя Е.Н. (Худыковская), а за нею пристала кучка нищих-оборванцев, извозчики да еще какие-то старушонки, никому не ведомые». Из почитателей поэта было всего лишь три человека, включая и самого Коринфского. К печальной процессии приبلудился еще один нищий с котомкой и кружкой, спрашивал:

— Из каких таких покойник-то будет?

— Сочинитель.

— Эва! А чего делал-то он?

— Стихи писал.

— А-а... ну, Царствие ему небесное!

И отвалил в сторону, благо от сочинителя богатых поминок не предвиделось. Когда на гроб посыпалась земля, громко зарыдала Худыковская, а одна из старушек прошамкала:

— Кабы это да в Питере, так небось музыка бы играла, а у нас-то што? Одни грехи наши, да и только...

Столица, поглощенная своими буднями, осталась постыдно равнодушна. Даже на панихиду в Казанском соборе явились человек пять, не больше, каких-то потертых, изжеванных нуждою окололитературных личностей, которые озирались по сторонам в чаянии составить компанию для скорейших поминок в ближайшем трактире. Но чем дальше от Петербурга, тем прочувствованнее были некрологи на смерть поэта. Наконец и в самом Симбирске стали гордиться своим земляком. За год до наступления XX века жители губернии собрали по подписке деньги на сооружение памятника над могилой поэта. Солдатская улица тогда же была переименована в Минаевскую...

Конец моего изложения пусть не покажется читателю неожиданным. Бывший старинный Симбирск стал новейшим Ульяновском, а на улице Минаева снесли все прежние застройки, оставив в неприкосновенности лишь домик поэта. На его фасаде ныне укреплена мемориальная доска.

Но, сравнивая старые фотографии города с современными, я никак не ожидал, что улица моего героя — волею проектировщиков — станет главным и парадным проездом через весь город. Она уже сейчас является самой оживленной магистралью Ульяновска. В интерьере многоэтажных зданий скромно притих домишко поэта среди бетона, стекла и горячего асфальта, окруженный трогательной заботой всех тех, кто любит и помнит самого Минаева.

Могила поэта находится под охраною государства.

«Стройка на улице Минаева продолжается...»

Так сказано в книге «Родной город Ильича».

Как попасть в энциклопедию?

Нарком иностранных дел Г.В. Чичерин славился широтою самых различных познаний. Когда в 1926 году Отто Юльевич Шмидт (известный полярник, а тогда главный редактор первого издания БСЭ) выпустил первый том советской энциклопедии, Георгий Васильевич разругал его самым жестоким образом, ибо в оценках исторических личностей объективности не усмотрел. Чичерина возмутило, что в БСЭ на всех навешивали отличительные ярлыки, разделяя людей на прогрессивных, реакционных, либералов и консерваторов. «Позволю себе обратить ваше внимание, — писал нарком Шмидту, — энциклопедии существуют для наведения справок, справки же бывают нужны независимо от монархического или республиканского характера упоминаемых лиц...» Чичерина просто бесило, что в БСЭ даже

не упомянуты люди, о которых надобно знать каждому культурному человеку!

— Где римский император Аврелиан? Нет персидских шахов Аббасов, пропущен даже египетский Али-паша... Куда делись, наконец, адамиты? Энциклопедия обязана давать ответ на любой вопрос, а если ответа не дает, значит, это уже не энциклопедия, а лишь подборка сомнительных героев, избранных редактором исключительно по своим партийным соображениям...

Теперь я раскрываю том БСЭ на букву С, но имени А.В. Старчевского не нахожу. Между тем помянутый мною Старчевский как раз и был главным редактором русской энциклопедии, которую — к великому удивлению современников — все-таки «дотащил» до последнего тома и при этом остался цел. Итак, поговорим об этом забытом человеке, а вернее, о том, в каких условиях издавалась энциклопедия в «старое доброе время».

История эта почти с трагическим надрывом, недаром же Старчевского частенько спрашивали:

— Альберт Викентьевич, отчего вы смолоду плешивый?

На это он всегда отвечал... даже с оттенком гордости:

— А вы, сударь мой, свяжитесь-ка с изданием энциклопедии, так у вас от головы одна перхоть останется...

Старчевский «связался» с энциклопедией, когда ему исполнилось лишь 27 лет. Люди того времени рано становились самостоятельны, а посему и успевали многое сделать — не как наши женатые оболтусы, сидящие на шеях у папеньки и маменьки. Но рассказ придется начать с Александра Ивановича Варгунина!

Это был хозяин Невской бумажной фабрики, которая — первая в России — работала на паровых машинах. Варгунинская бумага славилась выделкой и дешевизной. Александр Иванович, еще молодой человек, стяжателем не был, неимущим писателям давал бумагу даром, широко открывал кошелек для полезных изданий.

Варгунин рассуждал как российский патриот:

— Обидно, что мы, русские, остановились на «Лексиконе» Адольфа Плюшара, не решаясь объять необъятное заново. Но еще обиднее, что издание энциклопедий редко доживает до буквы Д или К, скорострительно умирая заодно с подписчиками...

Осенью 1845 года Старчевский был извещен, что его желал бы видеть печатник Карл Карлович Край, владелец типографии, считавшейся в Петербурге одной из лучших, и Старчевский догадывался, что «Карлушка» ищет его неспроста. Наверное, до Края дошли слухи, что Старчевский в обществе братьев-поэтов Майковых и офицера Гедеонова вызвался составить алфавит лиц, достойных для помещения их в биографический словарь-справочник. Поразмыслив над всем этим, Альберт Викентьевич навестил Края в его холостяцкой квартире.

— Да, — признал Край, — я уже слышал, что молодые люди собираются порадовать публику новым лексиконом, но... Где вы сыщете денег на это издание? И кто такой Гедеонов?

— Штабс-капитан Генерального штаба.

— Так разоритесь вы с этим штабс-капитаном, — откровенно смеялся Край. — А между тем известный фабрикант Варгунин сразу выкладывает из кармана двадцать тысяч рублей.

— На сколько томов? — насторожился Старчевский.

— На четыре...

С этой новостью Старчевский навестил Гедеонова:

— Иван Михайлович, если наше предприятие кредитует Варгунин, тогда русский читатель получит не жалкий справочник, а сразу четыре увесистых тома словаря.

— Соблазнительно... даже очень, — хмыкнул штабс-капитан.

— Край, конечно, делить доходы не пожелает, но, может, господин Варгунин согласится иметь меня в общей компании?

Край в самом деле упрямылся, говоря, что лишних не надобно, но Варгунин встретил Гедеонова даже весело:

— Офицер Генштаба никак не помешает, а, напротив, придаст солидность нашему делу. Я свою долю внесу, а... вы?

— Ассигную треть расходов, — согласился Гедеонов.

— Вот и отлично! Шайка разбойников, считайте, уже в сборе, осталось выбрать лишь атамана — главного редактора.

— Вы намекаете на... кого?

— Конечно, на вас, — отвечал Варгунин Старчевскому...

Край, как издатель будущей энциклопедии, затребовал по 40 рублей за каждый печатный лист, набранный в его типографии, а Старчевский обрел права составителя и редактора, за что ему обещали платить по 75 рублей ежемесячно.

Сам же Варгунин был далек от мыслей о наживе:

— Об одном стану Бога молить, чтобы наши церберы дали дотянуть энциклопедию до конца алфавита. Ну а вам, господин Старчевский, яко редактору, выпадает самая тяжкая доля. Попадетесь на крамолу, так не миновать плахи цензурной...

Здесь, читатель, уместно сказать, кто такой был Старчевский и откуда он взялся? Начнем с того, что он окончил два университета — Киевский и Петербургский, затем слушал лекции в Берлинском. Еще студентом выпустил солидный труд «Сказания иностранных писателей XVI века о России»; в королевской библиотеке Берлина он собрал сотни автографов деятелей славянского мира, которые издал с их биографиями. Старчевский составил и каталог материалов по русской истории, найденных им в европейских архивах. Юрист по образованию, Альберт Викентьевич был превосходным знатоком славянских наречий (вплоть до верхнелужицкого), владел множеством языков восточных, знал латынь, французский, итальянский, испанский и прочие языки. В журналах столицы он вел обзоры исторической критики, славянской филологии и этнографии; был автором солидной монографии об историке Н.М. Карамзине, составил свод русской литературы со времен Нестора-летописца... Вот с таким научным «багажом» молодой человек и взвалил на себя тяжкое бремя

ответственности за составление и редактирование энциклопедии!

Сначала думали, что все уместится в четырех томах. Но прикинули собранный материал, и как его ни сжимали, как ни выгадывали на сокращениях, однако вскоре же убедились, что тут и восьми томов не хватит. Варгунин с печальным вздохом раскошелился еще на две тысячи рублей.

— Эх ма! — сказал он. — Чует мое сердце, что вскорости предстоит мне снова мошну развязывать...

Казалось, все уже готово, чтобы порадовать подписчиков первым томом, на столах редакции росли груды статей для следующих томов, но тут Край заявил, что его типография совсем не готова. Край заботило собственное обогащение, и потому он беззастенчиво выпросил у Варгунина четыре тысячи рублей.

— А как же! — доказывал он. — Для такого дела, как наше, следует выписать из Берлина скоропечатные машины Зигеля, нужны особые матрицы для шрифта «боргес» особого кегеля, чтобы на каждой странице умещалось текста поболее...

Была зима, навигация закончилась, Берлин не спешил с машинами и отливкой шрифта, потом массивный груз, доставленный морем по весне, залежался на складах таможни, отчего первый том запаздывал, подписчики ругались, а Карл Карлович Край завел новую квартиру, отделал ее самым роскошным образом и даже не скрывал от Старчевского, что пришло время жениться.

— Хуже от этого не будет, — говорил Край, — но с Варгунина — ради моего счастья — мне бы сорвать еще две тысячи...

Коллектив авторов трудился на славу, готовя статьи по разным вопросам бытия, и Старчевский, едва прочтя справку о планете Сириус, уже сокращал статью о болезни печени, затем вникал в расположение парусов на фрегате, а сбоку ему уже подсовывали заметку о мумиях египетских фараонов. Каждый автор считал свою статью самой главной в энциклопедии, а потому сокращений никто

не терпел. Столы редакции уже прогибались от тяжести готового материала, Старчевский сказал Варгунину:

— Чувствую, и восьми томов нам не хватит.

— Грабьте, — отозвался Александр Иванович...

Старчевский сложил все заметки первого тома строго по алфавиту — получился бумажный столб высотой в аршин, если не больше. Вот эту «башню» в августе 1846 года с трепетом водрузили на стол цензора, боясь, что она обрушится на пол, а тогда начинать снова собирать все листочки статей по алфавиту. Цензор оглядел этот бумажный «Вавилон» и заявил:

— Вы, господа, что думаете? Я оставлю дела, брошу семью с детьми и жену в слезах — и все ради того, чтобы читать ваши справочки? Нет уж, оплатите мне этот каторжный труд хотя бы в пятьсот рублей, а тогда... Что ж! Тогда и почитаем.

Делать нечего. Пришлось снова трясти Варгунина.

— Я так и думал, — сказал тот. — Впрочем, на то бараны и существуют, чтобы их стригли...

Получив просимое, цензор быстро разрешил первый том к печатанию. Радуюсь успеху, тогда никто не заметил, что цензор оставил у себя два листка — на Анну Иоанновну с ее «бионовщиной» и на Анкарстрема, который на карнавале в Стокгольме зарезал шведского короля Густава III. Но радость была так велика, что в редакции устроили вечеринку, а Край обещал завтра же сдать первый том в набор.

Старчевский, сияя лицом, провозгласил тост:

— Господа, с первым успехом! Но думается, что энциклопедия не должна бояться осветить жизни и труды наших выдающихся современников... Неужели мы не помянем на наших страницах о доблестных генералах и мудрых сенаторах?

— Урра-а-а! — закричал Край, и на другой день, выпросив у Варгунина денег, он поведал ему: — Наш редактор так разошелся, что и вас желает увековечить в нашей энциклопедии!

Но Старчевский после этой вечеринки получил повестку, чтобы явился к М.Н. Мусину-Пушкину, председателю Цензурного комитета, он же был и попечителем учебного округа столицы. А потому, когда Старчевский явился на вызов, в приемной было не протолкнуться от множества просителей; Альберт Викентьевич остался в дверях, дождавшись явления Мусина-Пушкина, перед которым толпа раздвинулась, образуя коридор, в конце коего вельможа сразу узрел главного «атамана» энциклопедии.

— А-а-а... вот и вы! Так знайте, что вашу энциклопедию надобно разорить... Или в крепости еще не сидели? Как вы смели осуждать императрицу Анну Иоанновну? Наверное, новой пугачевщины захотели? Россию спалить задумали?

При таком вопросе многие дамы с прошениями в руках поспешили к выходу, гимназисты укрывшись за спинами студентов, а студенты занимали оборону за спинами своей профессуры.

— Ваше превосходи...

— Молчать! — заревел председатель на Старчевского. — Откуда вы взяли Анкарстрема, который дерзнул покуситься на священную особу королевского величества? Я навешаю на вас столько собак-цензоров, что ваша энциклопедия сразу застрянет на первом же томе, как телега в болоте...

Да, цензоров сразу прибавилось, и Варгунин подсчитал, что расходы на них возьмут немало денег с доходов его писчебумажной фабрики. В самом начале 1847 года один том все-таки появился в свете, но после критики о том, что статьи словаря слишком краткие, было решено расширить пределы энциклопедии, чтобы издавать не восемь, а двенадцать томов. При этом Край требовал оплачивать ему не сорок, а восемьдесят рублей за каждый печатный лист, ссылаясь на дороговизну шрифта боргес и сложность печати на немецких машинах.

— Ваше счастье, что ни Варгунин, ни Гедеонов ни бельмеса не смыслят в типографских делах, но я-то, — сказал Старчевский, —

отлично понимаю, что обстановка вашей квартиры уже давно стала дороже вашей вонючей типографии...

После первого тома вышел сразу двенадцатый, и Старчевский сделал это нарочно, дабы подписчики поверили, что издание будет доведено до конца, а весь материал для составления энциклопедии уже полностью собран. Так что не волнуйтесь!

Однако выстреливать тома, словно ядра из пушки, Старчевскому не удалось. Виноват в этом он сам, пожелав дать место на страницах энциклопедии для своих современников. Известно, что с мертвыми всегда можно поладить, но не дай бог, если нарвешься на живого, который всеми фибрами души устремлен в собственное бессмертие. Объявление в газетах о том, что энциклопедия собирается отразить славные деяния современных деятелей, ужасно взволновало сановный Петербург, переполненный донельзя именно такими «современниками».

Всем выдающимся персонам разослали опросные анкеты для написания их биографий, и лишь два человека во всей России отказались от такой чести. Киевский губернатор Д.Г. Бибиков вернул анкету в редакцию, «так как, вероятно, вопросы эти присланы мне по ошибке, ибо я, Бибиков, никак не могу считать себя в числе знаменитых». Князь М.С. Воронцов от чести попасть в энциклопедию резко отказался, указывая при этом Старчевскому, что «в подобных изданиях никогда не следует помещать биографии людей живущих, неизвестно какого конца ожидающих, но только биографии тех людей, которые давно умерли», дабы судить о них беспристрастно.

А редакция энциклопедии уже превратилась в сущий ад. Старчевский начал лысеть, говоря с большим сожалением:

— Лучше бы я с современниками и не связывался! Куда как лучше иметь дело только с покойниками...

Стоило Альберту Викентьевичу появиться в конторе, как в его кабинет сразу ломились какие-то сомнительные личности, даже на лестнице они хватали редактора за рукава пальто:

— Милостивый государь, меня не забудьте!

— А если я Поликарпов, так в каком томе увижу себя?

— Господа, господа, — взывал Старчевский, отбиваясь от современников, — не все же достойны блистать в печати.

— Почему обо мне только четыре строчки, а другим-то вы по целой дюжине отвалили? Буду жаловаться.

— Меня обойдете, так вам худо станется! Я тридцать пять лет верой и правдой... служил и слу-ужу-у-у...

— Молодой человек, — взывали к совести Старчевского, — и не стыдно вам меня забывать? Я этого так не оставляю...

Среди прочих явился и граф Клейнмихель, верный ученик Аракчеева, разложив перед редактором свои ордена.

— Видите? — спросил он. — Прошу перечислить все подряд в таком же порядке, как они здесь разложены. Но при этом напишите обо мне, что имею еще дарственные табакерки...

Пред выходом XII тома, в котором явилась бы буква Ш, перед Старчевским предстал банкир Н.Б. Штиглиц, который для начала закрыл за собою двери, чтобы их не подслушали.

— Дорогой мой, — ласково сказал он, — заплачу сколько ни попросите, лишь бы мое имя никогда не встречалось в числе героев нашего бурного века. Вообще о банкирах лучше помалкивать, сами знаете, что мы любим таиться за ширмами событий.

— Да какая же была бы наша жизнь без вас, без банкиров!

— В таком случае, — настоял Штиглиц, — статью о себе напишу сам, а что можно НЕ писать о себе, поверьте, я знаю...

Наконец, нашлись и такие «деятели», которые, узрев себя в энциклопедии, торопливо явились в редакцию за гонораром.

— Помилуйте, — возражал Старчевский, — за что платить вам, а не автору статьи о заслугах вашего превосходительства?

— Как за что? — бушевали современники, осиянные славой всеобщего признания. — Ведь если б меня на свете не было, так вы бы и не знали, о ком писать в энциклопедии.

— Опомнитесь! — взывал Старчевский. — Мало вам чести попасть в энциклопедию, так вы еще и денег просите?..

Бог с ними — с деньгами, но для иных героев важнее денег был фактор времени, ибо годы уже поджимали их на край могилы, а тома на букву своей фамилии они могли и не дожидаться. Старчевский не раз слышал от престарелых сановников:

— Вы бы это... того... поторапливались. Сами понимаете: не сегодня, так завтра, глядишь, и увезут... с музыкой!

Именно вопрос времени и то, что тома энциклопедии выходили не по порядку, а вразнобой, кажется, вынудили графа Якова Ростовцева пригласить Старчевского к себе. Будучи «особой, приближенной к императору», Ростовцев рассуждал честно:

— Правда ли, как сказывал мне Владимир Иванович Даль, будто ваш лексикон проходит через двенадцать цензур?

— Господин Даль малость приврал: каждый том пробивает ворота не двенадцати, а даже пятнадцати цензур. Тут и духовная, тут и светская, тут и военная, тут и морская...

Ростовцев выслушал, какие муки прошли первые тома, и хотя был очень близок к государю, но все же возмущился от души:

— Что за порядки, в такую их всех мать в размать?! Неужели я так и подохну, не дожив до выхода тома на букву Р?

В конце же беседы граф Ростовцев облобызал редактора:

— Спасибо вам, что моих заслуг не забыли. Но коробит меня, что в вашу энциклопедию, как в худую помойную яму, свалены все без разбора. И я, честный человек, вынужден соседствовать с разными ворами и мерзавцами вроде графа Клейнмихеля.

Тут Старчевский в бессилии развел руками:

— А что делать? Нельзя же делить энциклопедию на две части, дабы в одной помещать светлые личности, как ваша, а в другую запихивать всю нашу сволочь... увы, алфавит не допускает!

Очевидно, Ростовцеву очень хотелось дожить до буквы Р, ибо цензоров поубавилось. Но среди кляузных хлопот, в коих слезы перемешивались со смехом, один лишь Край благоденствовал, при каждом удобном и неудобном случае выклянчивал у Варгунина когда сотенку, а когда тыщонку. Наконец, зимою 1849 года Край остановил в типографии машины, желая получить с Варгунина две тысячи рублей — на тома с буквами Л и М.

Александр Иванович продемонстрировал ему кукиш:

— А вот такого еще не видели? Я долго молчал и терпел, поплачивая по первому вашему требованию, но вы человек бессовестный, давно потерявший всякую меру порядочности.

— А как издание энциклопедии... до конца?

— Вот тут и конец! — осатанел Варгунин, изгоняя Края. — Чтобы я, олух такой, еще раз с энциклопедией связался... да никогда! Убирайся со своими буквами на эл и на эм...

Старчевский с трудом пережил удар, энергично лысея от треволений. На складах валялись груды томов энциклопедии, оборванной на половине издания, а кому они теперь нужны, если шести томов не хватает? Альберт Викентьевич долго пребывал в туманной прострации, понимая причины гнева Варгунина, сам же он душевно страдал за судьбу энциклопедии.

— Сочувствую, — сказал ему Варгунин, — но поймите и меня. Вести с Краем дела далее — это значит вторично угробить столько же денег, сколько он из меня уже вытянул.

Итак, все было кончено, и вместо успеха — к р а х!

Уже начинался 1853 год, когда до Старчевского дошли слухи, будто Варгунин решил избавиться от завалов нераспроданной энциклопедии. Альберт Викентьевич даже не хотел верить:

— Хочет продать? А как продать?

— На пуды.

— Куда?

— На толкучку...

Старчевский не выдержал, решив повидать Варгунина:

— Верить ли сплетням, будто энциклопедия закончит жизнь на толкучке, чтобы там, разодранная на листы, она служила для завертывания в нее халвы или селедок?

Варгунин признал, что слухи достоверны:

— А как иначе, если весь второй этаж моего магазина в Гостином Дворе до самого потолка забит тысячами этих томов, и мне, поверьте, уже некуда складывать свои товары.

Старчевский поплелся к дверям, но был остановлен неожиданным вопросом Варгунина — где Гедеонов?

— Пока в столице... состоит при Генштабе.

— Вот что, — решительно произнес Варгунин, — я лично вам и Гедеонову верю, вы люди честные, именно вы и способны завершить издание энциклопедии до последней точки.

— Как? — воскликнул Старчевский.

— По совести! — отвечал Варгунин. — Знаю, что капиталами не обладаете, потому я вам помогу. Берите у меня все тома энциклопедии за те же деньги, какие я хотел выручить от продажи их на рынке, и... с богом! Тяните дальше.

Старчевского даже зашатало. Ну, ладно, типография Края еще на ходу, а — бумага? Варгунин утешил его:

— До самого окончания словаря открываю вам кредит на бумагу. И даже без векселей — под честное слово...

Старчевский повидал Гедеонова, но тот сомневался, не зная, где взять денег для завершения издания до конца.

— О чем вы? Сейчас самое насущное — освободить магазин Варгунина, чтобы словарь не пропал на толкучке!

Совместно отыскивали пустующий склад, куда и перевезли все тома своего несчастного детища. Гедеонов соглашался продолжать издание на половинных издержках. Но вскоре он получил приказ — ехать в Москву заведовать военно-межевой частью.

— Оставляю вас одного и даже рубля не могу вам оставить. Тащите этот воз и далее, а Россия вас не забудет..

Старчевскому предстояло выпустить еще шесть томов. А на какие шиши? Но материалы собраны, это главное, редакцию будет представлять он сам — без помощников; если чего-либо в тексте недостает, сам и допишет. Все надо сделать как можно быстрее — в два года, и это вполне возможно, если... если не станут тянуть цензоры! Правда, не было пяти тысяч, чтобы оплатить расходы по типографии, но...

— Обо всех этих «если» лучше не думать! — внушал себе Старчевский. — Ныне самое главное — хлопотать об услугах цензоров, чтобы числом поменее, а характером податливее.

Сделав такой вывод, он напрямик отправился в Цензурный комитет, где и случилось с ним великое чудо из чудес.

— Господин Старчевский, — вдруг услышал он за своей спиной, — а куда же подевались ваши пышные волосы?

Обернувшись, Альберт Викентьевич узрел Мусина-Пушкина, нагоняй от которого забыт еще не был.

— Моя шевелюра? Так я облысел именно от непрерывного общения с вашей дерзновенной цензурой, коей вы управляете.

Мусин-Пушкин пребывал в либеральном настроении:

— Да бог с вами! Что вы все на цензуру-то валите? Лучше расскажите, как ваша энциклопедия? Кажется, уже протянула ноги, соизволив опочить вечным сном праведницы.

Старчевский быстро сообразил всю выгодность ситуации, какая возникла в момент этой нечаянной встречи.

— Напротив, — сказал он, — энциклопедия оживает, восставая из гроба, и, представьте, она начинает дышать именно с седьмого тома... именно с буквы М!

Услышав об этой букве, Мусин-Пушкин заржал от восторга, словно давно не кормленный жеребец, издали разглядевший обширное овсяное поле. Тут и ума не надобно, чтобы сообразить, как велико

было его желание угодить именно в седьмой том, дабы обрести бессмертие среди великих, собранных под одним переплетом. Мусин-Пушкин так расчувствовался, что даже погладил Старчевского по его нежно-розовой лысине.

— Страдалец... скажите, что вам надобно? — Редактор пояснил, чем именно вызван его приход в Комитет. — Так я, — запальчиво отвечал попечитель, — дам вам целый легион цензоров, которые будут читать букву М с утра до ночи!

Старчевский опытно ковал железо, пока оно горячо:

— Дайте двух, но чтобы не тянули дело.

Выход тома на букву М теперь решал все. Мусин-Пушкин даже прослезился, ощутив собственное величие:

— Считайте, что седьмой том цензурой уже одобрен...

Вот и прекрасно! Объехав множество типографий столицы, Старчевский всюду получал отказ, ибо нигде не было шрифта боргес, каким печаталась энциклопедия ранее. Пришлось навестить опять-таки Края, которого щадить не стоило:

— Карл Карлович, водить меня за нос, как водили Варгунина, вам не удастся. Теперь дело в моих руках, а все претензии Варгунина к вам стали моими претензиями. Буду предельно краток: необходим ваш боргес, дабы продлить издание энциклопедии.

Край сделал отвлеченное лицо, следя за полетом мухи по комнате, и обрел дар речи, когда муха вляпалась в варенье.

— Конечно, я с удовольствием вернул бы вам шрифт, но мои стесненные обстоятельства, мои долги... увы, увы, увы!

— Где боргес, черт бы тебя побрал?

— Заложен адвокату Миллеру, коему я должен.

Старчевский просто рассвирепел:

— Сволочь ты... Карлушка проклятый! Как ты осмелился расплачиваться с долгами шрифтами, принадлежащими не тебе, а всей фирме по изданию словаря? Еще раз спрашиваю: где боргес?

Край сказал, что колоссальный запас боргеса мертвым грузом лежит в кассах наборщиков его типографии:

— Миллер не забрал шрифт, ибо не знает, как вывезти его и куда деть... Ведь там целая ТЫСЯЧА ПУДОВ.

— Ничего. Я заберу.

— У кого? У адвоката Миллера?

— Знать его не знаю. Шрифт заберу у тебя, и пусть Миллер разбирается с тобой по законам Российской империи...

Старчевский нанял ломовых извозчиков и артель гужбанов-грузчиков, совместно с ними нагрязнул на типографию Края, двери которой украшал могучий висячий замок.

— Ломай, братцы! — распорядился Старчевский.

«Кража со взломом», — мелькнуло у него в голове (ибо он все-таки был юристом по образованию). Гужбанье с помощью лома рванули замок с петель — двери настежь. Тысяча пудов деликатного шрифта была свалена на телеги и доставлена в Телячий переулок, где находилась частная типография Дмитриева. Хозяин глянул на свинцовые кучи боргеса и сказал, что покупает его по пятерке за пуд, а работу будет оценивать по 25 рублей за каждый печатный лист. Старчевский кивнул, соглашаясь...

«А где я возьму денег?» — мучительно соображал он.

Гедеонов писал из Москвы, спрашивая: «Вы еще на свободе?.. Неужели не в яме?..» Шесть томов энциклопедии пошли в набор, но оплатить работу типографии Альберт Викентьевич уже не мог. Стало ясно, что словарь обрел крылья и взлетит высоко, а жизнь его издателя закончится в «долговой яме».

— Как быть? — терзался Старчевский...

Неожиданно его навестил некий господин:

— Моя фамилия Паклин, честь имею.

— Прошу, господин Паклин. Чем могу служить?

— Это я могу услужить вам, — развязно отвечал тот. — Меня волнует появление тома на П.

— Понимаю, почему. Паклин?.. Простите, не имею чести знать вас, а моя энциклопедия этой фамилии не упоминает.

— Того и не стою! — захохотал Паклин. — Дело в том, что на днях скончался мой дядечка, известный миллионщик Прокофий Иванович Пономарев, бывший городской голова Петербурга.

— Но биография Пономарева в наборе, и мне очень жаль, что покойный уже не может увидеть ее в печати.

— Ничего! — отозвался Паклин. — Он и с того света увидит ее, за это не беспокойтесь. Прокофий Иванович так мечтал увидеть себя в энциклопедии, что на смертном одре завещал деньги на издание вашего словаря, лишь бы поскорее появился том, в котором блеснет его имя...

Итак, помощь пришла. Не от живых, так от покойника!

Но, увидев, что дело стронулось, сразу вострепнулись и живущие. Министр народного просвещения Абрам Норов, сам писатель и археолог, предписал закупить на пять тысяч серебром энциклопедию — для институтов и гимназий. Этот пример всколыхнул и графа Якова Ростовцева, указавшего, чтобы энциклопедию приобретали кадетские корпуса. Способствуя распродаже, Старчевский объявил через газеты, что цена каждого тома снижена до двух рублей, а весь комплект словаря можно купить за 25 рублей серебром. Наконец-то все было закончено, и Альберт Викентьевич сам удивлялся, что по утрам просыпается в своей постели, а не на нарах в «долговой яме»...

— Даже не верится! Теперь можно подумать и о себе.

В 1856 году он издавал журнал «Сын Отечества», щедро украшая его портретами и карикатурами, отчего тираж сразу подскочил до 16 тысяч (по тем временам — очень большой!). Затем Старчевский приступил к изданию газеты под тем же названием — с обзором по-

литики и научных открытий: не забывались им и новинки последних мод Парижа, а любители чтения получали воскресные номера с иллюстрированными романами. Дела круто пошли в гору. Старчевский, кажется, и сам не заметил, когда стал большим барином, разместив редакцию в собственном доме, в котором раньше проживал знаменитый архитектор Августин Монферран. Ровно в полдень к нему в кабинет на цыпочках входила чистюля горничная — почти копия с лиотаровской картины «Кофейница», Старчевский барственным жестом принимал с подноса рюмку бенедиктина, который и запивал чашечкой кофе. От своего важного издателя газетная челядь часто слышала:

— Вы что-нибудь соображаете? Или мне за вас думать?..

Сохранился рассказ Сергея Шубинского, известного историка, а в ту пору штабс-капитана, который послал на имя Старчевского свой очерк, тщательно переписанный от руки, а через неделю автор и сам явился в редакцию газеты, уповая на гонорар, ибо он сильно нуждался. Бедного офицера поразила богатая обстановка редакции, лепные потолки и стены кабинета Старчевского, множество картин, зеркал, бронзы и мрамора. Старчевский, ослепительно блистая громадной лысиной, склонился над корректурой и даже не поднял головы. Шубинскому он запомнился обликом пожилого человека, раньше времени измочаленного непосильной работой. Почти неприязненно он глянул на штабс-капитана и просил его назвать свою фамилию:

— Говорите, Шубинский? Хорошо. Сейчас поищу..

Старчевский долго копался в кипе бумаг на столе, извлек из них очерк Шубинского и небрежно вернул его офицеру:

— Охота же вам ерунду сочинять! Наверное, даже о гонораре мечтали? Можете забрать свою чепуху. Всего вам доброго...

Я так думаю, что Старчевский захотел много больше того, что имел, и фортуна изменила ему: в 1869 году «Сын Отечества» пошел

с молотка, проданный по дешевке купцам-мукомолам. Старчевский еще барахтался в роли редактора, скатываясь все ниже и ниже. Наконец, он едва кормился в паршивых газетенках — «Современность», «Родина», «Улей» и даже в «Эхо», не имевшей в публике отклика. Теперь не он, а ему кричали издатели:

— Ты соображаешь или нет? Почему нам за тебя думать?..

Наверное, старику было стыдно за самого себя, и в 1886 году Старчевский круто порвал с журналистикой, отдавшись любимой смолоду лингвистике. Альберт Викентьевич составлял словари и учебные грамматики, его «Русский Меццофанги» выдержал три издания подряд. Генеральный штаб заказал ему серию «карманных разговорников», чтобы русские офицеры могли общаться с турками, персами, сартрами и китайцами. Увы, языковедение плохо кормило, а словарь 27 кавказских наречий он издал уже на дотации из Литфонда. Затем Старчевский выпустил «Странник-толмач по Индии, Тибету и Японии», специально для моряков издал «Морской толмач для всех портов Европы, Азии и Северной Африки на ПЯТИДЕСЯТИ языках». Иногда его спрашивали:

— Неужели вы сами-то эти полсотни языков освоили?

— Иначе я не мог бы составить такой словарь. Но мечтой моей хладеющей жизни стало составление «Стоязычного словаря», чтобы русский в любой стране мира мог общаться с жителями...

Старчевский завершал свою жизнь авторством «Словаря древнего славянского языка», который увидел свет в 1899 году.

Это был год на самом переломе двух столетий.

Я сам чувствую, что конца миниатюры я не нашел.

Я нашел конец там, где найти его никак не ожидал.

Четверть века прошло с той поры, когда Старчевский свысока отверг очерк бедного штабс-капитана Сергея Николаевича Шубинского, ставшего генералом и главным редактором «Исторического

Вестника», столь популярного среди русской интеллигенции. Однажды в его кабинет тихими шажками вошел Старчевский, уже полусогнутый от невзгод и старости, неряшливо и почти нищенски одетый. Робким жестом просителя, словно нищий на паперти, он неуверенно протянул Шубинскому рукопись своих воспоминаний. Заискивающим голосом торопливо заговорил:

— Нет, нет, нет! Вы не думайте обо мне скверно, я заранее согласен на любые сокращения. Скажите, ваше превосходительство, что вам не нравится — и я сразу исправлю...

Сергей Николаевич рукопись принял.

— Надеюсь, — сказал, — ваша жизнь достаточно интересна, и потому мой журнал не замедлит с публикацией...

Старчевский благодарил, низко кланялся, льстиво заглядывая в глаза редактору, потом, уже тронувшись к дверям кабинета, он вдруг задержался на пороге. Губы его дрожали:

— Нельзя ли аванс? Хотя бы два или три рубля? Поверьте, я уже какой день не обедал... Не обессудьте на просьбе.

Шубинский, кстати уж, был скуповат на авансы.

— Ну что с вами поделаешь? — вздохнул он, душевно пожалев неудачника. — Однако не дадим же мы помереть с голоду старому литератору, который в жестокие времена умудрился дотянуть до последней буквы нашу российскую энциклопедию...

Альберт Викентьевич Старчевский умер в 1901 году.

Конечно, хорошо бы закончить привычным для нас утверждением, что вот, мол, как погибали таланты при проклятом царском режиме, зато теперь... у-у-у, как стало великолепно! Мол, теперь-то все таланты расцветают пышным цветом.

Но именно теперь вы и не сыщете имени Старчевского ни в изданиях БСЭ, ни в иных популярных справочниках.

Неужели так трудно попасть в энциклопедию?

Генерал от истории

Был у нас генерал от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии, а вот Сергея Николаевича Шубинского хотелось бы назвать генералом от истории. Об этом человеке я вспоминаю каждый раз, когда речь заходит о необходимости общенародного журнала для пропаганды исторических знаний.

Шубинские со времен Годунова сами делали историю службою в войсках, но вряд ли задумывались об истории. Незаметные дворяне, они довольствовались чинами прапорщиков или поручиков. Сереже Шубинскому было три года, когда умер отец, и его приютила замужняя сестра Анечка. Потом мальчика отдали в московский Дворянский институт; здесь его полюбил Петр Миронович Перевлеский, сын дьячка, выбившийся в педагоги.

Сергей Николаевич даже в старости не забыл о нем:

— Он преподнес мне грамматику, как пышный букет цветов, на его уроках даже синтаксис заиграл музыкой, а запятые плясали с точками под литавренный грохот восклицательных знаков. От Петра Мироновича я впервые постиг любовь к живой русской речи, имена Ломоносова, Фонвизина, даже осмеянного в потомстве Третьяковского стали для меня святы...

Юный Шубинский служил в Москве мелким чиновником, когда грянула Крымская война. Порыв всенародного патриотизма вынес его из опостылевшей канцелярии, и в Гренадерском полку появился новый подпрапорщик. Крымская кампания завершила зловещую диктатуру Николая I, разгул бюрократии и казнокрадства. Было решено обновить проворовавшееся интендантство, призвав молодых грамотных офицеров, которые не потащат сапожную кожу со складов, не стянут из солдатского котла мясной приварок. В число этих честных людей попал и Шубинский, вскоре получивший чин штабс-капитана.

Вспоминая о том времени, он морщился, сознаваясь, что не доверяет бухгалтериям, не любит интендантов:

— Эта публика любого черного кобеля отмоет добела. Уж я-то насмотрелся всякой цифровой эквилибристики...

Жизнь в столице была дорогая. Сергей Николаевич жил скудно, приучив себя беречь каждую копейку. А соблазнов, как назло, было предостаточно, даже голова шла кругом, стоило услышать музыку шантанов на «Минерашках», но билет туда недешев... Когда он, уже маститый старец, восседал в кабинете главного редактора, молодежь выпытывала у него:

— Сергей Николаевич, а как в литературе вы оказались?

— Стыдно сказать, в литературу я проник с черного хода. Был у меня приятель, пописывавший в газеты всякую чепуху на злобу дня. Но все фельетонисты получали бесплатный пропуск в театры и места увеселений. Соблазнительно! Еще как... Приятелю надо было съездить в провинцию, а он боялся, что в редакции его место займут другие. Вот и говорит он: «Пока меня не будет, ты валяй за меня фельетоны, но ставь под ними мое имя, а гонорар, черт с тобой, забирай себе!»

— И вы согласились?

— Конечно. Вернулся мой приятель, и я стал писать уже под своим именем. Тоже фельетоны. А фельетонами тогда называли все — даже очерки о политике Бисмарка считали фельетонами. Но вот беда: меня никто не печатал. А коли тиснут, так потом у кровососа-издателя гонорара недоплачешься. Страшно вспомнить, как намучился. Но понадобилось время, чтобы самому понять: беллетрист из меня не получится. Из меня мог выйти только популяризатор русской истории...

Обновление России реформами вызвало небывалый интерес к ее прошлому. Однако издавна цензура держала историю на замке, даже о Николае I писать не разрешали, историки ограничивали себя дифирамбами Петру I и панегириками Екатерине II. Надо было развеять

мрак былого над могилами предков, и в историю, как это ни странно, ринулись офицеры: Карнович, Щебальский, Семевский, Хмыров... Шубинский вспоминал: «Слушая их рассказы о вычитанном, я тоже пристрастился к русской истории... преимущественно XVIII века». Тогда же начал собирать библиотеку, ежедневно навещая «толкучие рынки».

— Если бы не эти «толкучки», — рассказывал Шубинский, — никакого историка из меня бы не вышло. Бывало, глянешь на замызганный обрывок старинного альманаха без начала и без конца, а в середине — статья, какой цены нету, и стоит все гроши. Среди всякого хлама попадались уникальные сокровища прошлых столетий, которые ныне ни за какие деньги не купишь. Хмыров желал объять всю историю сразу, Семевский копался в девятнадцатом столетии, а меня всегда увлекал век осьмнадцатый.

— Почему же именно век «осемнадцатый»?

— Помилуйте! — отвечал Шубинский. — Да в какое еще время Россия была столь перенасыщена комедийными и трагическими моментами! То хохочешь над анекдотами о Потемкине, то слезами умываешься над людскими страданиями... Стал я писать исторические очерки. Редакции брали их у меня с большой охотой, ибо наша публика, историей не избалованная, пугалась мудрости Татищева, Миллера, Шлёцера или Карамзина.

По-разному сложились судьбы друзей. Михаил Иванович Семевский в 1870 году выпустил первый том журнала «Русская Старина», а Михаил Дмитриевич Хмыров, щеголявший в красной рубахе ямщика, собрал уникальную «Хмыровскую коллекцию», которая ныне занимает почетное место в Государственной исторической библиотеке в Москве. Хмыров не щадил себя. Он спровадил семью в деревню, чтобы жена и дети не голодали заодно с ним, а сам кормился одним студнем, покупая его в дешевой лавчонке, отчего заболел и умер... Возле гроба покойного Шубинский ходил с фуражкой, собирая на похороны историка.

— Занятие прошлым, — сказал он Ефремову, — только пожирает здоровье, но прибыли не дает. Вот лежит на столе наш бедный Миша Хмыров: на студень еще хватало, а на врачей не хватало... Подайте, Петр Александрович!

П.А. Ефремов, богатый библиограф и накопитель старинных книг, бросил в фуражку Шубинского полсотни рублей.

— На погребение, — сказал он. — Но кладу еще четырехста для вдовы Миши, а ты зайди ко мне. Поговорить надобно...

Шубинский навестил Ефремова в его доме, больше похожем на книгохранилище. Втайне позавидовал хозяину. Влюбленные в историю, стали они мечтать: хорошо бы иметь журнал для народного познания истории, но чтобы авторы не умирали с голодухи, как Хмыров, а получали бы гонорар.

— Без мецената не обойтись, — вздыхал Шубинский.

— Да, — согласился Ефремов, — найти Сил Силыча, чтобы развязал мошну ради истории, трудноватенько. Петр Иванович Бартнев издает «Русский Архив» в Москве, но дает журнал крохотным тиражом, ибо материал печатает сырой, никак не обработанный, почти архивный. Это, брат ты мой, не для широкого читателя, а лишь на будущего историка. Надо подумать, где сыскать Креза, чтобы восхитился нашей историей!

Сергей Николаевич недавно женился на скромной девушке Катеньке Боровской; детей еще не было, но могли появиться, а жалованья капитана не хватало. Шубинский решил начать с издания старинных мемуаров. Он перевел «Письма леди Рондо», жены английского посла, описавшей свои впечатления при дворе Анны Иоанновны; потом выпустил «Записки графа Миниха», известного фельдмаршала. Издателем стал книготорговец Яков Исаков; выпуском мемуаров Шубинский угодил лишь культурным читателям, но часть тиража осталась догнивать на складах.

— Ну тебя к черту с леди Рондо и с графом Минихом! — говорил Исаков. — С ихних записок не разбогатеешь... Не порти мне настроения!

Сергей Николаевич тяжело переживал неудачу.

— Как же так, Катенька! — говорил он жене. — Я издал ценные вещи, без которых не обойтись историкам, но читатель наш, очевидно, еще не дорос до серьезного чтения...

Настроение ему исправил Ефремов, сообщивший:

— Помнишь наш разговор после похорон Миши? Так вот, я, кажется, нашел чудака, готового субсидировать журнал.

— Кто он?

— Василий Иванович Грацианский, служит в государственном банке, денег — куры не клюют, недавно от жадности купил типографию, а что печатать в ней, еще не придумал...

Грацианский колебался. Но его сомнения развеяли солидные историки — Соловьев, Забелин, Бестужев-Рюмин и Костомаров, убеждавшие не скупиться, ибо в познании былого, как никогда, нуждается вся мыслящая Россия, а поэт-демократ Василий Курочкин подсказал будущему журналу весомое название:

— «Древняя и Новая Россия» — чем плохо? А редактором бы подполковника Шубинского сделать, ибо тернистый путь в прошлое ему освещают генеральские звезды на эполетах.

Грацианский сдался, раскрывая бумажник.

— Разорите вы меня, господа ученые...

Издатель оказался пророком. Шубинский много позже сам говорил, что, еще не выпустив ни одного номера журнала, в его проспекте они наобещали читателю разных чудес.

— И сразу загубили журнал форматом: страницы взяли широкие, чего никто не любил. Вот и получал подписчик ежемесячно громадный блин. На полку его не поставить, а можно лежмя лишь класть. Бумагу же выбрали потолще, в какую хорошо бы селедку заворачивать. А годичная подписка — в тринадцать с полтиной, где их взять? Конечно, любитель истории, да еще семейный, прежде подумает: стоит ли за такие деньги приобщаться к истории? Не лучше ли детям штанишки купить?..

Но, уверенные в успехе, Грацианский с Шубинским решили давать тираж в три тысячи экземпляров (немыслимо много для того времени!). Редакция расположилась на видном месте — в доме возле Пассажа на Невском, и в январе 1875 года вышел первый номер журнала «Древняя и Новая Россия». Но тут появился секретарь редакции Петя Гильтебрандт, почти радостный:

— Подписчиков-то — кот наплакал, едва тыщонка набралась. Так куда прикажете остатки тиража складывать?

— Вали в подвал, — помрачнел Грацианский. Затем он предупредил Шубинского, что у него не водятся таких денег, чтобы остатками тиража кормить голодных крыс. — Думаете, коли я служу в банке, так деньги гребу лопатой? Это вам Ефремов нагородил, будто я богатей, а всего-то и было у меня шесть тысяч. Я уже в долги влез, на гравюры потратясь...

Петя Гильтебрандт завершил свою жизнь корректором в Синодальной типографии, а тогда он желал свергнуть Шубинского.

— Душа человек, но какой из него редактор? — не раз внушал он Грацианскому. — Тут не надо бы украшать журнал гравюрами. Лучше бы кромсал ножом по живому мясу, безжалостно сокращая авторов, а так... Разорит он вас, Василий Иванович!

— Молчи. И сам я не рад, что связался...

Журнальные хлопоты совпали с рождением у Шубинского дочери, а будущее не радовало, и невольно вспоминалось, как ходил вокруг гроба Хмырова с протянутой фуражкой. Спору нет, журнал был задуман прекрасно, но успеха в публике не имел. В чем дело? Издания «Русского Архива» Бартеневым в Москве и «Русской Старины» Семевским в Петербурге уже обрели научный авторитет, их тиражи вполне удовлетворяли запросы русской интеллигенции. Шубинский привлек к журналу лучших историков России, но они совсем не учитывали интересов широкого читателя, а устроили научную дискуссию меж собой по спорным вопросам. Соловьев или Бестужев-Рюмин писали добротнo, однако их сухие статьи на-

поминали гигантские глыбы сырого исторического материала, над которым Шубинский тщетно работал, как скульптор над грудой мрамора. Целиком преподносить читателю — не станет читать, отколешь кусок — обидятся авторы. Жене он говорил:

— Наши профессора истории пишут для профессоров истории, но даже ты, душечка, разве не зеваешь от скуки?

— Зеваю, — соглашалась жена...

Грацианский выворачивал перед Шубинским пустой бумажник:

— Вы-то, Сергей Николаевич, при своих эполетах останетесь, а я по вашей милости скоро на паперти стоять буду...

Разорившись на истории, Грацианский страшился новых затрат, позволив Шубинскому вести переговоры с петербургскими издателями, чтобы купили прогоревший журнал «на корню», включая и те остатки тиража, что свалены в подвалах.

— Поговорите с Гоппе или Вольфом, Базуновым или Глазуновым. Может, кто-либо согласится купить мое дело?

...Я снимаю с полки своей библиотеки второй том журнала «Древняя и Новая История» за 1879 год и в конце номера читаю такое трагическое объявление:

«С выпуском сентябрьской книжки сборника “Древняя и Новая Россия” я оставляю редакцию этого издания и не принимаю в нем более никакого участия.

С. Шубинский».

Между тем — незаметно для самого себя — Сергей Николаевич обрел славу популярного писателя. Его «Исторические очерки и рассказы» были сразу же раскуплены публикой, и скоро потребовалось новое издание. Шубинский размышлял, в чем секрет такого успеха, и понял, что в народе существует большой «исторический голод». Читатель желает знать, что от него так долго скрывала цензура. Перед женою он был откровенен:

— Историческая литература — особая. Беллетрист может выдумывать что угодно, а я не могу сочинять историю, обязанный придерживаться сути документа. Самобытности таланта ждать от меня не следует, ибо вольно или невольно исторический автор связан по рукам и ногам точными фактами. Трудно! И то, что было нравственно в прошлом веке, стало безнравственно в нынешнем. «Декамерон» Боккаччо сейчас исключен из гимназических библиотек, как порнография, а в эпоху Петра Первого он был хрестоматией девушек для воспитания в них высокой нравственности. Житейские оценки вещей в истории изменчивы, как и наша чухонская погода... Трудно работать в истории!

Чувствуя себя морально обязанным перед Грацианским, Шубинский пытался продать журнал петербургским издателям. «Но, — писал он, — всем этим господам издание исторического журнала не представлялось средством для легкой и скорой наживы!..» О своих затруднениях он сказал однажды Суворину:

— Алексей Сергеевич, вы недавно купили газету «Новое время», не подскажите ли, кто в столице может купить несчастную «Древнюю и Новую Россию»? Журнал, как вы сами знаете, чисто исторический, без политических тенденций.

Суворин с хитрецою сощурился.

— Я тоже без тенденций, — заявил он, смеясь. — Но цензура меня душила, жандармы меня в тюрьму сажали, находя тенденции даже там, где их отродясь не бывало...

Недавно Шубинский опубликовал статью Суворина о пребывании А.С. Пушкина в Михайловском, автора статьи он хорошо знал. Суворин обладал цепкой хваткой в делах, умел хитрить, скрывая свои истинные намерения, а в ту пору он имел прочную славу «либерала», гонимого властями за «народную правду».

— Скажи Грацианскому, что я журнал покупаю.

— Грацианский будет просить за него пять тысяч.

Суворин на эти слова небрежно отмахнулся.

— И не то мы еще теряли, — сказал он...

Грацианский выслушал Шубинского с недоверием, отметив, что Суворин — известный жук, пусть платит еще больше:

— А журнал погубили именно вы, полковник, расточительством на картинки и неумением обращаться с авторами.

Суворин, узнав об этом, сделал вывод, что Грацианский — жулик, решивший заработать на нем, на Суворине.

— Дерьмо собачье! — сочно выговорил он. — Пусть поищет дураков в Крыжополе, только не в русской журналистике.

Суворин поразмыслил, как бы себя не обидеть, и надоумил Шубинского основать в России новый популярно-исторический журнал... без тенденций:

— Скажем, с названием «Исторический Вестник». Но теперь не дадим его засушить ученым, чтобы там они ковырялись в датах, когда пришли варяги на Русь, а будем давать л ю б о й исторический материал, вплоть до романов. По мне, так пусть даже мужики пишут мемуары при свете лучины... А сейчас, полковник, составим для наших кинодралов программу журнала.

Составили. Отослали. Шубинский вскоре получил ответную бумагу из Министерства внутренних дел, в которой министр Маков отказывал в издании исторического журнала для широкой публики. «Я провел скверную ночь, — вспоминал Сергей Николаевич, — на другой день, надев мундир, отправился к Макову. Он принял меня довольно-таки любезно, откровенно объяснив причину своего отказа».

— Видите ли, — сказал Маков, — Суворин желает стать монополистом в столичной печати, а меня уже не раз упрекали за мирволение его кулацким замашкам. В газетной полемике издатели обливают один другого вонючими помоями, а брызги этих помоев пачкают чистоту моего министерского мундира...

(В скобках замечу, что вскоре после этой беседы Маков застрелился, уличенный во взятках.) Шубинский отвечал ему:

— Лев Саввич, нельзя же лишать нашу публику возможности пить нектар из благословенных источников нашей истории.

— Пейте! — кивнул министр. — Я согласен разрешить журнал лично вам, господин полковник, но только не Суворину...

В марте 1881 года «Древняя и Новая Россия» тихо опочила сном праведным (смерть журнала совпала с убийством императора Александра II). А накануне русский читатель получил выпуск «Исторического Вестника», издателем которого был назван Шубинский. Новый журнал отвечал вкусам всех читателей, а не только ученых-историков. В самом деле, подле записок Меттерниха умещались мемуары вора и взяточника Геттуна, Завалишин делился воспоминаниями о декабристе Лунине, Костомаров сообщал о самозваном лжецаревиче Симеоне. Журнал украшал рассказ Николая Семеновича Лескова, которого тогда безбожно травили не только слева, но и справа. Но Шубинский уважал писателя, платившего ему ответной дружбой, отбивая удары критиков — и левых, и правых.

— Сейчас любая бездарность считает своим долгом лягнуть Лескова в печати, а чтение его романов считается «дурным тоном». Но я верю, — убежденно говорил Сергей Николаевич, — что писателю Лескову Россия еще будет ставить памятники!

Сам же Шубинский никогда не применял слово «писатель» к своему имени, скромно почитая себя лишь «популяризатором» истории в народе. Ведая выдачей гонораров, он оценивал свой труд по тем же ставкам, по каким расплачивался и с другими авторами. Шубинский надеялся вскоре получить эполеты генерала, дочь уже подрастала, появились новые расходы, но Сергей Николаевич не приписал себе лишнего рубля.

— Говорят, я прижимист. Может, и так. Печатаюсь в своем журнале, я получаю ерунду. Уверен, что «Нива» платила бы мне гораздо больше, нежели я выплачиваю сам себе.

Выпросить аванс у Шубинского было нелегко.

— А зачем вам деньги? — спрашивал он автора. — Ведь я недавно выписал вам сто рублей... Куда вы их дели? Небось по ресторанам шлялись, смотрели, как в «Кафе-де-Флер» канкан отплясывают. Лучше бы вы сидели дома и писали.

— Сергей Николаевич, спасите жену от голодной смерти!

— Видел я вашу жену... вчера. Вы ей новое манто справили. Она катила на лихаче, вся обвешанная покупками. Нет, не дам!

Вежливый, но суховатый, он был педантичен в жизни и в работе. Любя семью, домоседом жил в окружении книг. Лишь изредка посещал «холостяцкие» субботы у Лескова, где его прозвали «каптенармусом XVIII века». «Хороший друг и милейший человек», — писал Лесков о Шубинском. Сергей Николаевич бывал частым гостем в доме П.Я. Дашкова, собирателя старинной графики, где в разумных беседах сжививали далеко за полночь. Время тогда было нелегким, когда свободно рыскал зверь, а человек бродил пугливо.

Начиналась полоса мрачной реакции, и тут Суворин воспрянул. Он смело отбросил на титуле «издатель» С.Н. Шубинского, оставив его лишь «редактором». На голову Сергея Николаевича Суворин-издатель извергал непотребную ругань, упреки в расточительстве, издательские насмешки:

— Почему у журнала так мало подписчиков? Я не Грацианский, которого ты без порток пустил по миру побираться. Мне важен ежемесячный доход, а на остальное — плевать.

Шубинский, человек щепетильный, тоже покрикивал:

— Вы с кем говорите? Не забывайте, что я полковник.

— Вы еще не генерал, — огрызнулся Суворин. — И вообще редактор нужен литературе так же, как палач для больницы...

«Палач для больницы» — Шубинский это запомнил. Иногда ведь ему тоже приходилось «пытать» и даже «казнить» авторов.

— Напрасно вы утверждаете мнение о ничтожестве и забитости русских в прошлом. Даже иные мужики в век Елизаветы чувствовали себя гораздо свободнее, нежели вы, сидящий передо мною. Если же верить вам, что русское общество состояло из жалких рабов, забитых салтычихами и собакевичами, то как же из такого темного леса вышли Ломоносов и Кулибин, Крылов и Пушкин?

Иным авторам Шубинский с гневом возвращал рукопись:

— Что это у вас — цитата на цитате, а вашего разумения не видеть. Я могу напечатать вашу статью, но гонорар за собрание цитат перешлю авторам этих цитат, а не вам...

Весною 1887 года он стал генерал-майором и сразу подал в отставку, желая посвятить себя целиком истории. Но с мундиром не расставался, дабы своим чином влиять на цензоров и на самого Суворина. Получив отставку из армии, он угрожал издателю отставкой от редакции, что всегда пугало Суворина:

— Да бог с вами, милуша! Я ведь человек не злой, только характер у меня занозистый... Что вы обижаетесь?

Шубинский использовал капиталы Суворина на свой лад, в интересах общества, ради пользы отечества. Так, по его настояниям Суворин раскошелится на издание солидных исторических трудов, выпустив записки Дашковой и Екатерины II, работы Олеария, Герберштейна, Шальдера и многих других. А когда Суворин завел свой театр, Сергею Николаевичу пришлось побыть научным консультантом в создании декораций и костюмов, чтобы не пострадала историческая достоверность былого...

Со временем он выработал свое редакторское кредо:

— Исторический журнал не должен гнаться за авторитетами имен, и я охотно напечатаю быль безвестного каторжанина, дурацкие сплетни статс-дамы или безграмотный рассказ старого бурлака, но я выкину из набора в корзину прилизанную, но занудную статью заслуженного профессора.

Лесков иногда жестоко бранил Шубинского:

— Весь в прошлом, да посмотри ты вперед!

— А что впереди? Не знаю, — отвечал Шубинский. — Ведь даже в трамваях публика толпится у задних дверей ради безопасности, случись столкновение. И я жмусь в конце, ибо прошлое для меня понятнее, нежели твое сомнительное будущее...

Он старел, становился ворчливым, придирчивым. По-прежнему работал в «своем» веке, отдыхая среди книг, которые бережно холил, не жалея денег на дорогие переплеты. Иногда он уже забывал, что было вчера, зато помнил все, что было в его любимом и неповторимом «осмнадцатом» столетии.

— Что вы хвалите мою память! — даже с обидой говорил он молодежи. — Я уже сдал. А вот смолоду наизусть шпарил, как стихи, генеалогические таблицы главных родов дворянства. Сам-то я из мелкотравчатых. Зато породнился знатно: мой братец в Москве женат на гениальной актрисе Ермоловой...

Сам старел, и друзья старели. Лесков удалялся от его журнала, критикуя Шубинского за его «направление».

— Его направление — это отсутствие направления. Валит все в кучу, лишь бы угодить и дворникам, и фрейлинам сразу...

А сам Шубинский жаловался на Лескова:

— Пошел бы к Николаю Семеновичу, чтобы совместно съесть «теляца упитанного», но... боюсь. Опять разбранит меня.

— За что разбранит, Сергей Николаевич?

— Ни за что. Я тут поместил рассказ о героизме русского офицера, так Лесков учинил мне выговор. Сказал, что выдрал бы этого героя-офицера, а заодно и меня — генерала... Чем я виноват? Не пойму. Существует же государство, значит, надобно афишировать в народе патриотизм...

Кто тут прав — сказать трудно. Но долгое общение с Сувориным, наверное, отложилось и на эмоциях Шубинского. Он утвердился в мысли, что «тенденция» его журнала правильная:

— Мещанство читает «Ниву», а интеллигенция читает «Исторический Вестник». Все журналы держатся не идеями, а количеством подписчиков. У меня в типографии все рабочие сыты, а мои авторы пятаки не считают. Но черт меня дернул дожить до XX века, когда всей душой я остался в веке осмнадцатом!

С 1900 года Шубинский начал болеть, быстро уставая: врачи предупреждали Екатерину Николаевну, что кончины можно ожидать в любую ночь, но утром Шубинский бодро вставал с постели:

— Ах, душечка! Как жаль, что в осмнадцатом веке много такого, что никак нельзя напечатать.

— Ты думаешь, что цензура не пропустит?

— Да нет... я с а м не пропущу, ибо там творились такие немислимые безобразия, такое свинство, что самому страшно. Лучше уж будет унести все это в могилу!

XX век заполнил Россию множеством журналов, все писали, а кто не умел писать, тот устраивался в редакциях, чтобы учить писателей. Шубинского это даже смешило:

— Скоро на каждого пишущего повесят по два-три редактора. Палачей литературы развелось больше, чем комаров на болоте...

Сам же он, старея, взял себе в помощники молодого историка Павла Елисеевича Щеголева, которого из пропасти давних веков тянуло к декабристам, к Пушкину, к революции.

— Знаете, почему я взял вас к себе в редакцию?

— Интересно знать — почему.

— Вижу в вас н о в о е направление, идущее на смену нам, старикам-генералам. Я выгацил вас из ссылки, куда вас упрятали за всякие тенденции. Верю, что из вас получится большой историк. Только не спешите. Молодые писатели пишут быстро, чтобы скорее получить гонорар, а старики тоже торопятся, боясь умереть. Но от гонорара тоже не отказываются...

Скоро Щеголев покинул его, став редактором революционного журнала «Былое», за что и сел в Петропавловскую крепость.

— Ах, Пашенька! — пожалел его Шубинский. — Не послушался ты меня, старика... Разве твое радикальное «Былое» соберет подписчиков больше, нежели мой «Исторический Вестник»?

Почувяв близость смерти, Шубинский созвал сотрудников.

— Дамы и господа! — объявил он. — Вы бы сочинили некролог при моей жизни... Понятно, что каждому человеку приятно прочитать, как его хвалят. Заодно я бы подредактировал свой некролог, а вам бы заранее гонорар выплатил...

Сергей Николаевич Шубинский, генерал русской истории, скончался 28 мая 1913 года, говоря как бы в бреду:

— Странное положение! Чувствую, меня тянет к столу работать, но сам понимаю, что уже не могу...

До кладбища его провожала толпа писателей, имена которых остались для нас памятны или забыты, шли рабочие типографии с семьями, потерявшие своего «кормильца», среди пишущей братии шагали солдаты и офицеры лейб-гвардии Гренадерского полка, в котором Сергей Николаевич начинал свою службу.

Прохожие спрашивали — кого хоронят?

— Историка, — отвечали писатели.

— Генерала, — отвечали военные.

Когда я писал роман «Каждому свое» о генерале Моро, друзья из Франции, желая помочь мне, прислали книгу о нем Эрнеста Додэ, вышедшую в Париже в 1909 году. Я поблагодарил за бесценную книгу, но мне, поверьте, даже не пришлось переводить ее на русский язык, ибо в том же 1909 году она была опубликована Шубинским в его «Историческом Вестнике». Так оперативно-быстро работала в те времена наша историческая периодика, извещая читателей о лучших новинках в Европе...

К чему я все это рассказываю? И почему я вдруг вспомнил о Шубинском? В нашей стране есть добротный журнал «Вопросы истории», но он носит академический характер и полезен скорее для

тех же историков. Есть отличный «Военно-исторический журнал», но он рассчитан больше на офицерское чтение.

А как же быть рядовому массовому читателю, который, не имея академической или военной подготовки, желает познавать неизвестные страницы прошлого нашего государства? Вопрос об этом назрел давно. И не сегодня и не вчера возникла громадная нужда в таком историческом журнале. Пусть это не будет «Исторический Вестник» Шубинского, и все-таки пусть это будет настоящий исторический вестник для всех нас.

И пусть в этом журнале публикуют не только популярно написанные работы ученых, но и находки краеведов, записки бывалых людей, ветеранов войны и труда, наконец, я думаю, что мемуары безвестной домохозяйки о том, как она кормила семью в голодные годы, такие мемуары тоже достойны внимания.

Не будем уповать на издание солидных монографий!

Фейхтвангер говорил, что охотно отдал бы всего Фукидида с его многотомной историей Пелопоннесской войны за одну страничку записок галерного раба, прикованного к веслу, и эта страница может быть полезнее прославленного Фукидида...

Синусоида жизни человеческой

Дмитрий Захарович Головачев, командир флотского Гвардейского экипажа, устраивал в своем доме любительские концерты, в 1876 году организовал первую постановку оперы «Сын мандарина». Автор оперы, еще молодой офицер-фортификатор Цезарь Антонович Кюи, был конечно же благодарен адмиралу. Партию Зайсанка исполнял никому не известный юноша, и Мальвина Рафаиловна Кюи, жена композитора, ученица Даргомыжского, шепнула:

— Интересно, в каких трюмах адмирал обнаружил такой дивный баритон? Голос достоин всяческого одобрения...

В антракте Головачев подвел к супругам Кюи юного певца:

— Мичман Николай Владимирович Унковский... Только что получил эполеты и скоро уходит в первое плавание.

Мальвина Кюи похвалила исполнение Унковского:

— Господин мичман, кто был вашим учителем?

— Иногда, мадам, я забегал по вечерам на уроки в классы пения Андрея Иваныча Евгеньева. Но у нас в Морском корпусе есть гардемарин Коля Фигнер... Он поет лучше меня!

Мальвина Кюи предупредила, что знобящие ветры океанов могут губительно сказаться на голосовых связках, а в опере Унковский мог бы стать замечательным певцом. Но тут адмирал Головачев поцеловал руку мадам Кюи, вмешавшись:

— Не раскидывайте пленительные силки перед этим прекрасным кенаром. Прежде ему надо послужить отечеству на морях...

Да, надо! Унковский вышел из дворян, среди его родни были адмиралы и сенаторы, дипломаты и видные чиновники. Он родился на древней Калужской земле после Крымской войны, когда над Россией повеяло оттепелью либеральных реформ.

Голос предков увлекал его в дальние моря...

Наследник богатого состояния, Николай Владимирович вскоре выручил деньгами капитана 2-го ранга Николая Михайловича Баранова, героя Русско-турецкой войны, который, украсив себя аксельбантом, уже успел побывать под судом.

— Чего ты грустный? — спросил Баранов. — Или ты заранее знаешь, что долг я тебе никогда не верну?..

Унковский поделился сомнениями: тульские любители музыки хотят своими силами поставить «Фауста», приглашая его на роль Мефистофеля, но отъезд в Тулу может вызвать неизбежный конфликт с флотским начальством.

— Привыкай делать только то, что тебе хочется, и тогда станешь популярен, как я, — посоветовал Баранов.

Тула наградила Унковского громадным лавровым венком, а командование флота испортило его послужной формуляр отметкой о «недостойном поведении»... Мичману было сказано:

— Вас учили столько лет на казенный счет совсем не для того, чтобы вы своими ариями дурили головы барышням из провинции. Делайте выбор: флот или опера?

Это случилось в 1879 году, когда Николай Владимирович, не порывая со службою, уже начал учиться в Петербургской консерватории на правах вольнослушателя. Головачев, случайно встретив Унковского в Фонарном переулке, был удивлен, что мичман, нагруженный связками оперных клавиров, тащил еще и том «Отечественных записок».

— У вас есть время еще и для чтения?

Унковский объяснил адмиралу, что в журнале помещено изложение философии Джаиамбаттисты Вико, который покорила его теорией о том, что все человечество вовлечено в извечный круговорот одних и тех же явлений: то духовного упадка, то небывалого взлета.

— Из этого я сделал и для себя вывод, господин адмирал. Мне представляется, что жизнь человека подобна геометрической синусоиде: вверх-вниз, за взлетом следует неизбежное падение.

Головачеву совсем не понравилась эта теория.

— Какая ж тут философия? Это, милый, больше похоже на обычную корабельную качку, когда травить хочется...

Профессор пения Камило Эверарди был доволен голосом Унковского, но его супруга Жоржетта отлучила от консерватории другого мичмана — Николая Николаевича Фигнера.

— Да, — подтвердил мнение жены Эверарди, — у вашего приятеля нет вокальных данных, какие я обнаружил у вас... Скажите ему сами, как офицер офицеру, что его жиденького, слабого тенора не хватит даже для ругани с матросами!

Не странно ли, что два мичмана, одногодки и однокашники, почти одновременно покинули флотскую службу в чинах лейтенантских?

Оба они одновременно совершили крупный дисциплинарный проступок: Унковский самовольно сыграл Мефистофеля, а Фигнер без дозволения начальства женился на какой-то итальянке без роду-племени.

— Куда ж ты теперь, Коля? — спросил Унковский.

— Я... в Италию, — подавленно отвечал Фигнер. — Если не повезло с голосом в Петербурге, может, его иначе оценят в Мекке певцов всего мира — в Милане... Еду!

Их судьбы разошлись. Николай Владимирович, выйдя в отставку, женился. Спутницей его жизни стала Александра Васильевна Захарьина, ученица Леопольда Ауэра. В приданое она принесла мужу старинную скрипку работы знаменитого Амати.

Начиналась жизнь скитальца, бродячего артиста.

Еще никто не пытался объяснить, почему русская сцена — оперная и драматическая — из года в год пополняла когорту Аркашек и Несчастливцевых за счет блистательного корпуса российского офицерства. В самом деле, что толкало этих поручиков армии и лейтенантов флота к тому, чтобы, скинув позлащенное бремя мундиров, облачиться в рубище безвестного актеришки, ездить из города в город, терпеть нужду и отчаяние, заведомо зная, что иллюзия славы призрачна, а пенсии под старость все равно ни от кого не доплачешься.

— Актерский рубль — копейка! — говорили они.

Время было для актеров безрадостным. В театрах столицы не начинали премьер, пока не появится семья императора, а театры провинции не смели поднять занавес, пока губернатор не займет своей ложи. Был, правда, один случай в Казани, когда режиссер осмелился не ждать опоздавшего губернатора. Но это ему дорого обошлось. Губернатор Скарятин вызвал режиссера в ложу и выбил ему два передних зуба:

— Вот теперь выводи Фауста в сад Маргариты...

После чего к рампе вышел Фауст, с чувством пропев:

Привет тебе, приют священны-ы-ый...

Петр Михайлович Медведев — это величина... Человечище крупный, актер маститый, «король и громовержец» театральной провинции. Держал тогда антрепризу в городах на Волге. Актеры его боготворили. Не побывав у Медведева, актеру из провинции трудно было попасть на столичную сцену. Требовал он жестко, но платил щедро. Под его антрепренерским жезлом созревали таланты Савиной и Стрепетовой, Давыдова и Варламова, а скольких певцов... скольких певиц!

Казань по вечерам освещалась еще керосином и свечками, но город имел университет.

Весною 1885 года Медведев сказал дирижеру Палицыну, что ему не хватает хорошего баритона.

— Не списаться ли с Пензою? — предложил Палицын.

— А кто там, в Пензе? — хмыкнул Медведев.

— Унковский... Из моряков. При нем открылась музыкальная школа под девизом: «Входи говорящим, уйдешь поющим».

Медведев написал Унковскому, что в Казани нет певца для партии Валентина, и предложил дебют в «Фаусте». При встрече с отставным лейтенантом флота он сказал ему:

— Отставать от Питера провинция не станет, будет у нас «Демон», будет и «Евгений Онегин». Это хорошо, что вы сразу поверили мне и приехали. Хорошо, что и жена с вами — дело ей сыщется.

...Зима была снежной. Раскисшие сугробы расчищали острожные арестанты. Тепло одетые бабы с бадьями разносили среди прохожих горячий сбитень, от которого вкусно припахивало медом, шафраном и черной смородиной. Заезжие цыгане тащили куда-то медведя на цепи, следом за ними бежал босиком по снегу юродивый в мундире

ведомства путей сообщений, надетом прямо на голое тело... Провинция! Русская провинция.

— Ну хорошо, — закончил разговор Медведев. — Надеюсь, Николай Владимирович, что мы с вами споемся.

«Спеться» предстояло и с казанской публикой, уже избалованной местными знаменитостями и заезжими гастролерами. «Казанские ведомости», однако, сразу отметили высокую оперную культуру Унковского; современник писал: «Надо слышать этого певца, чтобы по достоинству оценить изумительное мастерство, которое Унковский обнаруживал в любой, подчас необычайно трудной для него партии. При всем том он был великолепным актером...» Да! Предвосхищая будущего Шаляпина, Николай Владимирович не только пел, он играл на сцене, как драматический актер, используя мимику лица, помогал себе жестом, а костюм его всегда очень точно соответствовал исторической эпохе.

Провинциальная слава, чем ты хуже столичной?

Аплодисменты. Поклонницы. Венки. Подарки. Цветы...

— Я счастлива за тебя, — говорила жена.

— Ах, Сашенька! — отвечал Унковский. — Винопитием даже на флоте не грешил, но болит у меня вот тут... болит.

— А что здесь, Коленька?

— Откуда я знаю? Наверное, почки...

Скоро до Казани стали доходить отголоски феноменальной славы, которую обрел за границей Николай Фигнер, и Унковский говорил друзьям, что Эверарди ошибся:

— Ошибся и отверг Колю от консерватории. А теперь сами видите, какой успех, какая громкая слава...

Театр ежевечерне бывал переполнен, и Унковский любил его оживление, трепетное шуршание занавеса, на котором был изображен памятник Державину. Эта привычная жизнь артиста закончилась в 1887 году приглашением на Мариинскую сцену в Петербург, причем певцу сразу же предложили ведущую партию Эскамильо.

— Что ты посоветуешь мне, Сашенька?

— Если верить твоей же теории о синусоиде человеческой жизни, — ответила жена, — то возвращение в Петербург станет для тебя взлетом.

— А потом... падение?

— Не бойся! Я рядом. Я тебя подниму...

Медведев на прощание обнял певца, заплакал:

— Большому кораблю — большое плавание! Я когда разорюсь на антрепризах, тоже подамся на столичную сцену, чтобы допеть свою жизнь до конца. Прощай, Коленька, хороший ты человек, а это в жизни самое главное...

Успех Унковского в Петербурге был публично заверен газетной рецензией профессора Н.Ф. Соловьева: «Этот певец по талантливости и голосовым средствам многое обещает, имея полное право рассчитывать на дальнейшую артистическую деятельность на нашей оперной сцене». Но одновременно с Унковским дирекция Мариинского театра пригласила и Николая Фигнера, уже покоровшего своим бесподобным тенором Италию, Испанию, Англию и Южную Америку. Цезарь Кюи, встретив Унковского, спросил его:

— А вы не страшитесь такого соперника?

Что мог вспомнить Унковский? Тулу? Пензу? Казань? Наверное, ему было не совсем-то приятно такое сопоставление.

Фигнер привез на родину и свою жену — бесподобную певицу Медею, которая хотела обрести в России счастье на оперной сцене... Петербуржцам не стало покоя от разговоров о Фигнере, о его чудовищных гонорарах.

— За один выход — пятьсот рублей, так жить можно.

— Возмутительно! Вы подумайте, господа, этот Фигнер на сцене целует свою Медею по-настоящему, будто они дома...

Унковский имел только успех, а Фигнер — триумф. Но Унковский всегда был далек от низкой зависти к коллегам.

— Я даже рад, что Эверарди ошибся в своих прогнозах. Но я не понимаю твоей внешности... Прости, актеру подобает быть чисто выбритым. К чему эти усы? Неужели ты и «Евгения Онегина» собираешься петь с этой бородкой?

— А почему бы и нет? — отвечал Фигнер. — При чем здесь «Онегин»? Про «Онегина» публика может читать у Пушкина, а в театр она ходит не ради Пушкина, а ради моего голоса...

Историки театра пишут, что на Мариинской сцене Унковский «соскутился ограниченностью репертуара». Отчасти это справедливо, ибо медведевская антреприза давала артисту больше простора для творчества. Но все же, наверное, открытого соперничества с Фигнером Унковский не выдержал. Не мне, конечно, решать этот вопрос. Верну своего героя к его теории синусоиды жизни человеческой.

— Ладно, — решила жена. — Ты сам не раз говорил, что после взлета необходим спад для нового подъема... Думаю, пришло время разорвать контракт с петербургской сценой.

В 1890 году Унковские покинули столицу, покоренную голосами супругов Фигнер, и, стоя возле окна в вагоне поезда, Николай Владимирович сказал Александре Васильевне:

— Как он любит свою Медею... Не от этой ли страсти и рождается такое оперное волшебство?

Жена раскурила тонкую папиросу «Эклер». В потемках купе ярко вспыхнул огонек дамской папиросы, украшенной золотым ободком, похожим на обручальное кольцо.

— А кто мешает тебе любить с такой же силой?

— Я об этом не думал, — сознался Унковский.

— Так подумай... Еще не поздно, — вздохнула жена.

На этот раз ими был выбран чинный торговый Саратов, где много лет (еще со времен П.М. Медведева) шла затяжная и мучительная борьба между оперой и опереттой. Унковский и сам был не прочь спеть иногда нечто легкомысленное:

Три богини спорить стали на заре в вечерний час...

Но все-таки он предпочитал классический репертуар и в первую очередь стремился нести в народ музыку русскую, мотивы своего отечества. Ради этого жил и пел.

Саратов изнывал от духоты, часто случались пожары, в саду француза Сервье по вечерам играл духовой оркестр. Моложавый и привлекательный, Николай Владимирович разгуливал среди праздничной публики, рассуждая перед дирижером Палицыным:

— Ну-с, знаете, милейший Иван Осипыч, пока я богат, я еще вправе выбирать любые решения на пользу своего дела...

Саратов считался городом театральным, газеты обсуждали репертуары сезонов с таким же тщанием, с каким полководцы планируют решающие битвы. Даже дети вникали в дела Мельпомены, подражая в играх актерам. Когда какого-нибудь гимназиста спрашивали, кем он мечтает быть, он серьезно отвечал:

— Конечно, первым любовником... Тенором!

— А ты? — спрашивали какую-то девчонку.

— Инженю-кокет, — отвечала она, шмыгая носом...

Унковский создал в Саратове «Оперное товарищество», помогая делу своими же деньгами. Летний театр в саду Сервье считался народным, классика в нем шла по удешевленным билетам, дабы опера стала доступна для всех. Много денег отнимал декоративный антураж. Зато на сцену проливались настоящие дожди, сверкали ракетные молнии. Везувий выплескивал огнедышащую лаву, а корабли погибали на скалах — с треском...

Хлебосольная чета Унковских кормила всю братию актеров, для которых столовая в их доме стала «кают-компанией». При товариществе появился режиссер Боголюбов, приятно пораженный мастерством оперных постановок. Николай Владимирович халтуры не терпел, требуя от актера сверять свою роль с материалами истории, литературы, даже иконографии. Александра Васильевна

была первой скрипкой в его оркестре, хорошо налаженном дирижером Палицыным; в этой скромной женщине Боголюбов нашел помощницу, обладавшую прекрасной эрудицией. Театр Унковского стал подлинно народным, соперничая с церковными службами. Саратовский протоиерей однажды даже выразил Унковскому свое крайнее недовольство:

— Греховодник ты! Из-за твоих певунов православные теперь мимо храма рысцой пробегают — до билетной кассы в театр.

На что Унковский отвечал любезно:

— А чем я виноват? Я-то в опере все время репертуар обновляю, а вы со своим старым никак не расстанетесь...

Волга была главной артерией, по которой Унковский щедро посылал музыку по городам провинции, не боясь навещать и задворки великой империи. Его опера «обпевала» Рязань, Пензу, Самару, Симбирск, Оренбург, Уфу, Ярославль с Вологдой, побывала она и в Москве... Деньги таяли, но Унковский как-то еще сводил концы с концами.

— Барометр пока что показывает «ясно», — говорил он Боголюбову, — а мой режиссер — на мостике, как и положено старшему офицеру корабля... Но я немало бы заплатил за нежное сопрано для партии Ноэми в рубинштейновской опере «Маккавей».

Синусоида выписывала взлет в его жизни, когда перед ним предстала женщина, которую сначала он принял за видение Натальи Гончаровой, какой она явилась когда-то Пушкину... Сходство было поразительное! Унковский встал и невольно одернул на себе фрак, как лейтенант одергивает мундир перед своим беспощадным адмиралом.

— Мария Николаевна Инсарова-Миклашевская, — назвалась красавица. — Только что из петербургской консерватории.

— С о п р а н о, — точно определил Унковский...

Иван Осипович Палицын намекнул Боголюбову:

— Наш барометр стал резко падать — к шторму!..

«Трудно представить, — вспоминал Н.Н. Боголюбов, — более обаятельную и красивую женщину, чем Инсарова... Саратовская публика полюбила ее сразу, но сам Унковский был очарован ею значительно больше. Как это часто бывает со стареющими людьми, Унковский буквально потерял голову...»

Николаю Николаевичу он говорил дружески:

— Прощу побеспокоиться о том, чтобы мои партии смыкались на сцене с ролями госпожи Инсаровой. Мой баритон на средних регистрах будет превосходно окантован ее очаровательным сопрано...

Имя своей партнерши Унковский просил печатать на афишах с двумя восклицательными знаками — до и после ее фамилии. Все заглавные партии, в которых поется о любви, он оставлял теперь за собой. Публика моментально проникла в его сердечную тайну, с немым восхищением наблюдая из зала, как на ослепительной сцене Унковский, пав на колени, молит о любви молодую красавицу. В такие моменты, по словам режиссера, она напоминала стройный кипарис, а Унковский рядом с нею казался высеченным из мрамора. Театр гремел от оваций... Еще бы! Ведь на сцене сейчас рождалась подлинная человеческая любовь.

Боголюбов как-то застал Александру Васильевну за изучением Библии. Она стала знакомить молодого режиссера с непонятными деталями ветхозаветной истории:

— Я ведь знаю, что мой Коля мечтает спеть партию в опере Рубинштейна «Маккавеи» и чтобы Ноэми спела прекрасная госпожа Инсарова... Я буду приветствовать их торжество! — Заметив, что Боголюбов несколько шокирован ее женской самоотверженностью, она с милым смехом сказала: — Если любовный союз помогает им вести любовный дуэт на сцене — ну и пусть! Лишь бы Коля имел успех, лишь бы публика осталась довольна...

Опера «Маккавеи» была поставлена в бенефис Инсаровой и конечно же дала полные кассовые сборы. К ногам сияющей Инсаровой сыпались цветы, а Унковский шепнул ей:

— Вы похожи на Данаю, принимающую золотой ливень...

Но золотые дожди Зевса отшумели, калужские имения были разорены, Инсарова покинула Саратов ради других ангажементов, корабль Унковского сошел с выверенного фарватера, городская дума, разрушив деятельность «Оперного товарищества», передала театр в саду Сервье опытному дельцу Михаилу Бородаю.

— Кажется, — сказал Унковский жене, — синусоида моей жизни снова угрожает падением...

Потеряв театр, он не потерял доверие труппы и решил ехать в Нижний Новгород, где с утра до ночи в то время бушевала ярмарка, а генерал-губернатором был Николай Михайлович Баранов.

— Он не вернул мне долг, — вспомнил Унковский.

— Прежде подумай как следует, — остерегала его жена. — Театр в Нижнем уже откуплен «солистом его величества» Фигнером.

Но выхода не было. Унковский с оперной труппой выехал в Нижний, отданный царем под надзор Н.М. Баранову. Александра Васильевна уныло спрашивала:

— Сколько он хоть должен тебе?

— А ты думаешь, я записывал?..

Газеты сообщили, что в Нижнем скандальные шансонетки подмечают улицы, а всех буянов-купцов Баранов сечет в своей канцелярии, откуда они выбегают почти умиленные — как пайньки. Баранов, увидев Унковского, спросил:

— Что болит?

— Все болит, — отвечал Унковский.

— Это хорошо, когда все... Значит, ничего не болит, кроме души... Садись, Коля! Я слышал, у тебя затруднения.

— Да. Сборов нет. Прогораю...

— Тоже слышал. Я там тебе что-то еще должен... Не помню, когда брал и сколько. Денег нет. Но я помогу тебе выбраться из полосы

мертвого штиля. Дай мне сразу все билеты на любую оперу... Все, которые не удалось продать!

Баранов созвал нижегородских богатеев с ярмарки, каждому торжественно вручил по целой пачке билетов, назначая им цены от сотни рублей и выше за кресло в партере. Купцы знали суровый нрав начальника губернии, а потому платили молча. Лишь один дремучий миллионер из старообрядцев стал выкобениваться:

— Мы веры еще старой, дониконианской... От бесовских игрищ сами отвращены и других отвращаем. Мне ваши билеты ни к чему. От дьявола театры все...

Баранов и не таких апостолов веры обламывал:

— Да ты у нас как протопоп Аввакум! Пройди-ка вон туда...

А там уже лавка приготовлена и розги разложены. После отеческого внушения миллионер уже не споря купил двести билетов... Н.Н. Боголюбов в своих мемуарах признал: «Я чувствовал, что задыхаюсь в этой атмосфере разложения оперного дела... Мне было жаль оставлять Унковского в беде, этого несомненно талантливого человека и артиста».

Александра Васильевна как-то застала мужа над разложенными картами речных каналов России.

— Что это значит, Коленька? — удивилась она.

— Мы покупаем... пароход!

— Решил вернуться во времена флотской младости?

— Нет. Хочу придвинуть оперу как можно ближе к народу. Сама ведь знаешь, на гастролеров надежды слабые. Они обслуживают наездами лишь губернские города, а в уезды их и калачом не заманишь. Русская классическая музыка должна сама приплыть в самые захудалые города. Даже в деревни...

В мастерских Сормова купленный пароход был реконструирован, внутри его корпуса возникла театральная зала с обширным партером и ямою для оркестра. Над мостиком появилась крупная надпись:

«ОПЕРНЫЙ ПЛАВУЧИЙ ТЕАТР Н.В. УНКОВСКОГО». Труппа насчитывала 70 человек.

Опера заплывала в узкие фарватеры волжских притоков, по вечерам она швартовалась у берега, местных жителей звали прослушать «Пиковую даму» Чайковского или «Паяцев» Леонкавалло. Весною 1899 года Унковский отправил свою плавучую оперу в далекий и сложный путь по Шексне. Он вошел в Северную Двину, и жители Архангельска были удивлены приходом странного корабля, в команде которого мелькали люди в нарядах Кармен и Татьяны Лариной, а на мостике гордо возвышался капитан — Мефистофель...

В этом плавании Унковский окончательно разорился...

Он поселился в родимой Калуге, где от предков остался ветхий дом с мезонином, а старый отцветающий сад спускался к тихой Оке. Страдая от болей в почках, Николай Владимирович еще не сдавался. Вспомнив уроки в Пензе, осенью 1901 года он открыл в Калуге курсы пения для молодежи и особый оперный класс, быстро заполненный калужанами. Летом 1904 года ему исполнилось всего 47 лет, когда он почувствовал, что ему осталось только лежать и страдать.

— Синусоида моей жизни дописана, — сказал он. — Сыграй мне, Сашенька, что-нибудь... на прощание.

Жена, плача, вскинула к плечу старинную скрипку, мелодией Моцарта она проводила артиста в последний путь.

Петербургская пресса поместила обширный некролог: «16 июня в 9 часов утра на набережной, где усадьба Н.В. Унковского, собралась большая толпа народа... Гроб утопал в зелени живых венков. Его несли ученики покойного». Унковский был погребен на кладбище Лаврентьевского монастыря, что расположен в двух верстах от города. Некролог кончался словами, обращенными уже непосредственно к нам, читатель: «Имя Н.В. Унковского, прекрасного и бескорыстного театрального и музыкального деятеля, не может быть забыто в истории русского искусства».

Трагедия «русского Макарта»

Морозный Петербург. Раннее утро. Одна из комнат обширной квартиры Маковского отведена для тропического сада, в котором живут заморские птицы, наполняющие жилище художника забавным пением. Он и сам встречает день пением:

Перед троном красоты телесной
Святых молитв не зажигай,
Не называй ее небесной
И у земли не отнимай...

Громадный холст еще чист, возле него стремянка; из китайских ваз растут пышные букеты различных кистей. Бодряще пахнет красками, скипидаром, лаками... Если верить слухам, мастерская Ганса Макарта в Вене более напоминает ателье дамских мод, а мастерская Константина Маковского вроде антикварной лавки: блестят шелка и парча, всюду древнее оружие, боярские одежды, кокошники и сарафаны, в ларцах из слоновой кости туманится жемчуг, на рундуках мерцают братины из серебра и золота, ковры и гобелены — все это цветет и брызжет сочностью красок и света... В полдень живописца навещает солидный сенатор, готовый заплатить за свой портрет 3000 рублей. Час работы — и все закончено. По опыту мастер знает: улучшать удачное — только портить.

— Кажется, готово, — смущенно говорит он заказчику.

Но сановник, весьма далекий от понимания маэстрии, не соглашается платить деньги за столь быструю работу:

— Раньше портреты выписывали комариным жалом, а вы своим помелом — мах-мах и... разве уже готово?

В таких случаях Маковский вынужден притворяться:

— Вы меня не совсем-то правильно поняли. Портрет закончен лишь вчерне, а теперь мне нужен по крайней мере еще месяц, чтобы придать ему необходимое *brío* — блеск...

После ухода сенатора портрет будет валяться в мастерской целый месяц, после чего масло покрывается лаком, и можно отсылать по адресу заказчика. Подобных анекдотов о Маковском сохранилось множество, зато в мемуарном наследии художников о нем упоминается бегло, словно о незначительном мастере. А между тем слава Константина Егоровича Маковского давно уже переплеснула рубежи России, хотя популярность его кисти была иногда обидной для авторского самолюбия.

Не лучше ли обратиться к истокам причудливой и неповторимо противоречивой жизни? Москва была его родиной. А в детстве все интересно. Облезлая ворона смешно пила из лужи. На Ленивке чистоплотный мужик торговал вкусным малиновым квасом. В магазине на Тверской итальянец Джузеппе Артари раскладывал эстампы, выписанные из-за границы.

— Любуйся и запоминай, — внушал отец сыну.

Во время прогулок по Москве он требовал от Кости зарисовывать в карманный альбомчик уличные сценки, набрасывать портреты встречаемых прохожих, а дома спрашивал мальчика:

— Не забыл ли мужика, что квасом тебя угощал? Да и ворона та была примечательна. Ну-ка, изобрази мне их...

Егор Иванович Маковский служил бухгалтером, душою принадлежал искусствам. Гитара уже кочевала по Москве, и Тропинин, приятель его, оставил нам галерею гитаристов и гитаристок, живые немеркнущие полотна. Сколько наивной прелести было тогда в старинных романсах! От Лермонтова до Полины Виардо, от Пушкина до Ференца Листа — никто не миновал очарования этих струн, брызжущих над заснеженными далями России подлинной трагедийностью. Любовь Корнеевна, мать Кости, обладала прекрасным голосом, она пела в публичных концертах, и мальчик, притихший за креслом отца, внимал романсам Гурилева, Алябьева, Булахова, Донаурова. А как выразительны были глаза молодой женщины, облик которой сберегла для нас тропининская кисть. Уже прославленный Брюллов,

проездом через Москву, зажился в доме Маковских, очарованный радушием хозяина и красотой его жены. Что там было? И было ли вообще что-нибудь? Это навеки осталось тайною двух сердец, и Брюллов отъехал в Петербург, а Любовь Корнеевна осталась при муже, воспитывая детей...

Много позже Константин Маковский будет прозрачно намекать на свое романтическое происхождение.

— Помилуйте, — возражали ему знатоки, — но Карл Палыч загостился в Москве в тридцать шестом году, а вы, милейший маэстро, урождены в тридцать девятом. Не так ли?

— Это ничего не значит, — загадочно улыбался Константин Егорович, и в его автопортретах, писанных в молодости, действительно ощущается нечто от брюлловского облика.

Но и это ничего не значит. Речь пойдет о другом.

Прежде о русалках, благо о них ныне писать не принято. Маковскому попало за них от критики (и по инерции до сих пор еще попадает). Напомню, что «Русалки» Крамского появились в 1871 году, «Садко» Репина — в 1875 году, а Маковский создал свое полотно после них — уже в 1879 году. Крамской сделал русалок добропорядочными девами, у Репина они — экзотичные принцессы, а Маковский свил обнаженные тела в чувствительный вихрь, взлетающий от воды к наваждению лунного сияния. Всем троим влетело от критиков! Но стоило ли осуждать эту тему, если русалками наполнены русские народные сказки, если мимо русалочьих чар не прошли ни Жуковский, ни Пушкин, ни Тарас Шевченко. Мне вспоминается, что сказал Семирадский в споре со Стасовым: «А насчет правды в искусстве, так это еще большой вопрос. И нам, может быть, всегда дороже то, чего никогда не было. Таковы все создания гения».

Не здесь ли и заложен камень преткновения?

Но все-таки странно, что, заговорив о Константине Маковском, никогда нелишнее упомянуть: «Это брат известного Владимира Маковского». Их, кстати, было три брата — Владимир, Константин, Николай и сестра Александра — все художники, как и отец их — талантливый самоучка. К этим же Маковским принадлежат в их потомстве — Александр Владимирович, профессор живописи, и Сергей Константинович, издатель модного в свое время журнала «Аполлон», за выпусками которого и по сей день страстно охотятся наши книголюбы. Семья, как видите, артистическая! И если мать наполняла дом музыкой и пением, отец украшал комнаты картинами. Егор Иванович имел драгоценную коллекцию рисунков, в его собрании хранились даже первые оттиски гравюр Рафаэля, Рубенса и Рембрандта, — величайшим наслаждением он считал просмотр этих сокровищ, вызывая восторг в отзывчивых собеседниках. И вот я думаю: как счастливо непорочное детство, когда осмысленные взоры детей, едва пробуждаемых к жизни, уже скользили по полотнам Кипренского и Тропинина, их глаза чутко реагировали на виртуозную линию граверного резца...

Детям своим Егор Иванович постоянно внушал:

— Искусство — это религия, искусство для того и есть, чтобы облагораживать людей, делая их добрее и лучше...

Первые рисунки Кости Маковского бережно поправляла рука мудрого старца Тропинина — лучшего учителя и не найти! Академическая система преподавания, царившая на берегах Невы, была поколеблена на берегах Москвы-реки самой натурой, далекой от идеализации, а богатый опыт Тропинина соразмерял крайности двух школ — петербургской и московской.

В один из дней Егор Иванович расцеловал сына:

— А поезжай-ка ты, Костенька, в Санкт-Петербург...

Маковский явился в столицу уже с профессиональной выучкой, привлекая к себе внимание легкостью кисти, декоративностью исполнения. В то время Академия задавала ученикам отвлеченные

темы: плач Гектора над телом Патрокла; доверие Александра Македонского к врачу Филиппу; Иосиф, толкующий сны в темнице, и прочие. Навестив родителей в Москве, Костя рассказывал:

— А раньше бывали и такие темы: изобразить фиговое дерево, над оным расположить Петербург, а под оным — римскую вакханалию. Что я слышу от профессоров? Одно и то же: ножку усильте, а на ручке рефлексикане видать...

Маковский плохо внимал советам наставников, точнее говоря, он попросту отвергал их указания. Но тоже не избежал «классической» участи: его «Харон, перевозящий души мертвых через Стикс» заслужил медаль, в которой ему отказали на том основании, что автор... молод. Случайно картину увидел Теофил Готье, бывший тогда в Петербурге.

— Я начинал жизнь не поэтом, а живописцем, — сказал Готье Маковскому. — Я в большом восторге от вашего Харона и предсказываю вам, что вы пойдете значительно далее тех счастливых, что получили медали из серебра и золота...

Вскоре Маковский исполнил портрет графа Муравьева-Амурского — ко времени! Накануне был ратифицирован Пекинский трактат, закреплявший русские земли по Амуру, и художник изобразил Муравьева под сенью паруса на палубе корабля, бороздящего амурские волны. С этого времени Константин Егорович «сразу становится не только любимым, но и единственным портретистом русской аристократии» (так писал почтенный Игорь Грабарь).

Тургенев уже обозвал Брюллова «пухлым ничтожеством», провозглашая в печати: «*Del endus est Bruilov I us*» — «Да будет уничтожен Брюллов», а Маковский, казалось, напротив, подхватывал кисти, выпавшие из рук умерших Брюллова и Тропинина. Восторженная молва о нем еще не умолкла, как вдруг юный живописец со скандалом вышел из Академии! Он примкнул к «протесту тринадцати»: порывая с академической рутинной, они образовали

свободную творческую артель во главе с Крамским — Константин Егорович вписался в славную плеяду тех, кого позже стали называть передвижниками. Но соединять свой личный успех с идейной борьбой за утверждение жизненной правды Маковский не стал. Для него, баловня фортуны, задачи товарищества оказались тягостны. Его убеждения не были прочными, а совместно разделять лишения и невзгоды Маковский не пожелал, уже увенчанный лаврами и заваленный заказами петербургской знати.

Он и сам не скрывал этого, позже говоря откровенно:

— Я снял мастерскую на Дворцовой площади, занялся портретами, и дело сразу пошло. Всегда любил работать один...

Успех был головокружительный. Первые годы он еще отражал в картинах юдоль и печаль бедняков столицы, и внешне казалось, что среди передвижников Маковский скоро займет видное место (то самое, которое потом смело утвердил за собой его брат Владимир). Но отношения с артелью разладились, Маковский начал выставляться помимо товарищества; от изображения сцен народной скорби он все чаще обращался к портретам светских львиц, умело располагая их среди импозантной обстановки, драпируя за ними складки ковров, выстилая под ноги красавиц живописные шкуры барсов...

Слава растет, деньги не переводятся, за картину «Славянские композиторы» он просит 25 000 рублей, но заказчики ахнули, и бедный Репин исполнил ее за 1500 рублей. Маковский уже знаменит, Петербург знаком не только с его кистью, но и с его голосом: Константин Егорович поет арии из опер, дружит с Даргомыжским и Бородиным, он свой человек в доме Балакирева... Вот ведь как! С одной стороны передвижники, с другой — «Могучая кучка», а он сам по себе. Не заметить его былью никак нельзя: Маковский — академик, Маковский — профессор той самой Академии, из которой недавно ушел, сильно хлопнув дверью. Тогда и стали поговаривать:

— Подлинный Макарт! Это наш русский Макарт...

Макарт ведь тоже Академии искусств не закончил.

— Мне было там скучно, — признавался он публике.

— А я всем обязан отцу, — вторил ему Маковский.

В самом деле, было что-то общее между нашим светилом и Гансом Макартом, уроженцем Тироля, работавшим в Вене. Русские ознакомились с ним по его «Сиесте», украсившей дом барона Штиглица в Петербурге. Специально для Макарта император Франц-Иосиф выстроил великолепную мастерскую, где самые знатные дамы Европы умоляли мастера разрешить им позировать ему. Современников Макарта поражало великолепное торжество красок, эффектность композиции и портретных аксессуаров, а сам художник сделался вроде законодателя вкусов, почти неподражаемых в пышной декоративности.

Константин Егорович не возражал, когда его сравнивали с венским коллегой. Оба они плавали по Нилу, и Макарт создал там свою «Клеопатру», а Маковский вывез из Египта «Возвращение священного ковра из Мекки в Каир». Макарт в Вене разыгрывал роль патриция, нося на шее золотую цепь венецианского дожа, а Маковский в Петербурге появлялся в костюме русского боярина...

Как все это было далеко от аскетизма передвижников, озабоченных добыванием хлеба насущного, обуреваемых идеями демократического искусства — о народе и для народа!

Первая жена Маковского, тоже художница, которой Бородин посвятил свой романс (и которая оставила нам портрет композитора), умерла рано. Молодой процветающий вдовец недолго оставался одиноким. Конечно, «русскому Макарту» пристало выбрать жену в духе его картин, и он выбрал — сущего ангела! Судьба послала Юлии Павловне очень долгую жизнь: рожденная в 1859 году, она умерла в 1954 году — в близкое нам время. На долгие годы безмятежного счастья Юленька стала для Маковского идеалом женской красоты. Он любовно вписывал ее в свои картины из боярского быта

старой Руси, изображал под видом Флоры и Прозерпины, окружал на картинах детьми, гобеленами и цветами.

Не будем, однако, наивно думать, что художник отступился от заветов юности, — нет, Маковский берется и за такие темы, которые волнуют все русское общество. В канун войны за освобождение Болгарии он побывал на Балканах, после чего создал незабываемую картину «Болгарские мученицы» — это страшное, забрызганное невинной кровью, выстраданное из души полотно, имевшее тогда политическое значение, и Стасов даже считал эту вещь чуть ли не лучшим произведением Маковского.

Репин всегда признавал большие заслуги Маковского.

— По-своему этот человек был всегда мне симпатичен: как натура очень цельная, как большой мастер своего дела, уже достаточно оцененный своей страной...

Ошеломляющая мода на Маковского не прекращается: картины его скупают не только в Европе — их алчно поглощают частные галереи капиталистов Америки, и «русский Макарт» с трагической готовностью шагает навстречу вкусам той публики, которая не мыслит жизни, если стены не украшены картинами Маковского, если потолки не расписаны его увражами.

Пусть это баснословно дорого, но ведь это... Маковский!

Вечный удачник, уже привыкший к широкой жизни, он иногда бывал жесток, умея наказывать аристократию, вскормившую его в своих салонах. Когда-то, еще в начале славы, Константин Егорович украсил плафонами особняк фон Дервизов, который потом перекупили бароны Аккурти, и Аккурти пригласил мастера в ресторан для беседы. Маковский, заядлый гурман и балованный сибарит, заранее предвкушал великолепный завтрак.

— Ваши дивные увражи, — завел речь новый домовладелец, — имеют лишь один недостаток: они анонимны. А что вам стоит подписать их своим именем, и пусть все мои гости знают, что у меня тоже имеется подлинный Маковский.

Ну что за труд подмахнуть три плафона? «Русский Макарт» благодушно хотел поставить свою подпись бесплатно.

— В чем дело, барон? — отвечал он. — После завтрака поедем к вам домой, и я подпишу все три плафона.

— Прекрасно! — сказал Аккурти и велел лакею подать корюшку под хреном. — Ну и хлеба нам... по ломтику...

Он великий маэстро, и ему... корюшку!

Это сразу же изменило настроение «русского Макарта».

— Пять тысяч рублей за каждую подпись, — сказал Маковский скупердяю.

Пусть это только анекдот. Но он хорошо вплетается в канву его противоречивой жизни. А сколько требовалось (я не говорю — творческих) чисто физических усилий, чтобы покрывать маслом необъятные полотна, насыщенные амурами и вакханками, шегольским блеском драгоценностей и приторными аксессуарами. Да, аристократия платила ему щедро, но она же и требовала от мастера шедевральных щедростей в живописи. Маковского спасало только железное здоровье и темперамент творца с уникальной фантазией.

А мода есть мода. Побывать в доме Маковского — уже дело общественного престижа, а залучить его в свой дом — великое счастье...

Известный пейзажист Клевер в старости вспоминал:

— Маковский вообще был душою общества как среди нас, художников, так и в великосветских кругах, даже среди денежных тузов. Он нигде никогда не терялся, всегда приковывал к себе внимание незаурядной внешностью, красивой головой, умным разговором, обаянием таланта крупного художника России...

«Русского Макарта» окружала сказочная роскошь, какая и не снилась никакому русскому художнику. Но титанический непрерывный труд ради заработка породил творческую всеядность, огульную неразборчивость в выборе темы. Талант — да! — бил ключом, но

Маковский одинаково страстно выписывал пейзаж или жанровую сцену, портрет ученого или содержанку нувориша, он любовался узорами древней жизни, писал вакхическое панно в духе Тьеполо, головки красоток, аллегории и декорации, соглашался расписывать ширмы для спален, выдумывая украшения для паланкина немощной аристократки, — и все это выполнял не как-нибудь, не между прочим, а с одинаковым блеском!

Иванов всю жизнь страдал над «Явлением Христа народу», Крамской так и угас, не завершив своего библейского «Хохота», а где же та главная картина, которой ошеломит мир Маковский?

Константин Егорович сумрачно признавался:

— Все некогда! Но знаете, меня давно ждет Минин...

Минин возник только в 1896 году, написанный для Нижегородской ярмарки, где для картины был устроен отдельный павильон. Официально холст назывался так: «Кузьма Минин на площади в Нижнем Новгороде призывает сограждан к жертвованиям». Вот здесь Маковский и размахнулся перед народом во всю богатырскую ширь — это был уже эпос, подлинный! Даже странно, как Маковский, в его летах, уже погрузневший, уже пребывая в пессимизме, сумел справиться с таким колоссальным полотном, где все взволнованно, все археологически верно, все реально до последней нитки на рубахе мужика, до завязки на котомке нищего. Тут разом все ожило, все задвигалось, забурлило в массе народа, и казалось, что из глубины красок просачиваются вещие слова патриота Минина: «Буде нам похотети помочи государства, ино не пожалети животов своих, да не токмо животов своих, ино не пожалети и дворы своя продавати, и жены и дети наши закладывати...»

Вот он, глас народа — глас Божий! Максим Горький, еще молодой, долго стоял перед этой картиной, потрясенный. «Живая вещь, — писал он тогда, — крупный исторический жанр, интересный и очень

красивый». Здесь красота не мешала — помогала. Картина так и осталась в Нижнем Новгороде...

В грозном 1941 году она стала для нас боевым призывом!

Немыслимая легкость кисти, присущая ему смолоду, не покинула мастера и позже. На международной выставке в Антверпене он сделался триумфатором. Картины русских художников растворились тогда среди многих тысяч полотен иностранных мастеров, среди которых блистал венгерский живописец Мункаччи. Но победил все-таки огромный холст Маковского «Свадебный пир в боярском доме», и все члены жюри, во главе со знаменитым Мейссонье, единогласно присудили Маковскому высшую награду — Большую Золотую медаль с орденом Леопольда. Но где же конец работоспособности этого человека? Неужели даже сейчас не остановится, по-прежнему алчный до роскоши, любви женщин, денег и почестей? На своем юбилее в 1910 году «русский Макарт», кажется, почувствовал, что лучи прихотливой славы не так согревают его, как в молодости. Он сказал:

— В моей мастерской перебивало все, что только было в Петербурге выдающегося и блестящего... Лучшие красавицы столицы наперебой позировали для моих богинь и вакханок. Я зарабатывал громадные деньги, жил почти с царственной роскошью, успев написать несметное количество картин. — А далее последовало горькое признание: — Нет, я не зарыл своего таланта в землю. Но и не использовал его в той мере, в какой мог бы!

Макарта уже давно не было. Испытав под конец пресыщение жизнью, он перенес нравственный недуг, осложненный болезнью мозга, который и свел его в могилу. Маковский был еще крепок, не могло быть и речи об упадке его таланта. На необъятном холсте он выстраивал теперь новую великолепную композицию «Смерть Петрония», в которой даже уход от жизни трактовал как пиршество, почти безумную оргию. Что привлекло его в загадке Петрония, этого

законодателя вкусов при беспутном дворе Нерона? Что? И почему на колени ему склонилась женщина с лицом все той же Юлии Павловны? Я не знаю.

Я не знаю и другого: что случилось с ним вообще?

Слишком любивший жизнь и все, что его окружало, Маковский вдруг испытал трагический надлом. Пресыщение красотой само по себе перешло в иную стадию — в отвращение. Не понимала, кажется, и сама Юлия Павловна, отчего ее муж быстро опустился, обрюзг, померк и впал в состояние глубокой, мрачной депрессии. Ничто уже не соблазняло Маковского. Наконец ему стала невыносима и сама обстановка, расцвеченная красотою. Он сначала порвал с той средой, которую описывал и которая боготворила его. Потом ушел и от семьи... Юлия Павловна, женщина стойкого характера, пыталась сохранить в доме декорум приличия, необходимый для равновесия в обществе; она по-прежнему принимала гостей с визитами, устраивала рокошные ужины, но и сама понимала: без Маковского дом опустел!

Конец я отыскал там, где не ожидал его найти: в мемуарах заслуженной артистки Ольги Пыжовой, мать которой была сестрою жены «русского Макарта». Она вспоминает свидание со своим знаменитым дядей: «Маковский предстал перед нею грязным и взлохмаченным стариком». Пыжова запомнила выражение злобы на его лице, она писала: «...почти физического отвращения к тому, что, как ему казалось, я принесла с собой из его прежней жизни». Ольга Ивановна не забыла жеста, каким он распахнул дверь:

— Вот мой дом, моя жена и мои дети! И ничего другого больше нету!

Пыжова увидела замученную женщину в ситцевой кофточке, которая, склоняясь над корытом, стирала грязное белье, а возле стола стоял золотушный мальчик... Таков финал «русского Макарта»!

«Смерть Петрония» слишком празднична и красочна. Но автору выпал иной конец: в тоскливую осень 1915 года на углу Садовой и

Невского в коляску Маковского врезался трамвай. Старый живописец выпал на улицу, ударившись головою о торцы мостовой. Константин Егорович умер.

На эту печальную картину остается наложить последний мазок. Константин Егорович Маковский будет всегда порицаем, но никогда не станет отвергнутым. Импровизатор бурного темперамента, волшебный кудесник красок и света, он еще долго будет радовать нас. Ни у кого не подымется рука убрать из музеев торжественные полотна, и пусть шумят в Русском музее его балаганы на веселой Масленице, пусть на берегах Волги люди проникаются раскаленной атмосферой героического призыва Минина, наконец, эти красивые женщины, давно ушедшие в небытие, вся нескончаемая галерея ученых, артистов, историков, писателей, полководцев России — они всегда останутся с нами как великолепный документ эпохи, в которой жил, благоденствовал, любил, восхищался, страдал и нелепо умер большой, замечательный мастер.

Он лежит на кладбище Александро-Невской лавры.

Мясоедов, сын Мясоедова

В Московском училище живописи, ваяния и зодчества ожидали визита высокого начальства, когда в кабинет князя Львова, директора училища, ввалился швейцар и пал в ноги:

— Ваше сиятельство, стыда не оберемся... избавьте!

— В чем дело, милейший? — удивился князь и только тогда заметил, что швейцар перепоясан, словно кушаком, толстою железною кочергой. — Да кто ж это тебя так, братец мой?

— Опять Ванька... Мясоедов, сын Мясоедова! Завязал курям на смех, а мне-то какво в дверях гостям кланяться?

Владимир Милашевский писал: «Оригиналом из оригиналов, уникамом, перед которым все меркло, был художник Иван Мя-

соедов», сын знаменитого передвижника Григория Григорьевича Мясоедова.

Г.Г. Мясоедов был человеком сложным, в общении невыносимым; его резкий самобытный характер иногда оказывался даже для друзей и близких тяжел не по силам. Не ужившись с первой женой — пианисткой, он сошелся с молодой художницей Ксенией Ивановой, которая в 1881 году родила ему сына — Ивана. А далее начинаются загадки, которые можно истолковать лишь причудами большого таланта. Григорий Григорьевич не позволил жене проявлять материнских чувств, мальчику же внушал, что его мать — это не мать, а лишь кормилица. Не отсюда ли, я думаю, не от самой ли колыбели и начался острейший разлад между отцом и сыном?..

Наконец Г.Г. Мясоедов безжалостно оторвал ребенка от матери, доверив его заботам семьи своего друга — пейзажиста А.А. Киселева (тогда еще москвича). Это случилось, когда Мясоедов позировал Репину для картины «Иван Грозный и сын его Иван». Облик художника воплотился в облике царя-убийцы, а позже Мясоедов вспоминал:

— Илья взял царя с меня, потому что ни у кого не было такого зверского выражения лица, как у меня...

А семья Киселевых была талантливая, веселая, многодетная. Софья Матвеевна, жена художника, решила заменить Ване родную мать. Казалось, этот отверженный подкидыш попал в общество сверстников, здесь и обретет счастливое детство. Но этого не произошло... Я позволю себе сослаться на записки Н.А. Киселева, сына пейзажиста, который в Ване Мясоедове встретил ребенка, не желавшего признавать слово «нельзя». На каждое «нельзя» он отвечал гнусным, противным воем. В нем сразу же «стали выявляться его отрицательные стороны, чего так боялась моя мать. Он оказался абсолютно невоспитанным. Ни в малейшей степени ему не были знакомы самые примитивные правила поведения». Сколько ни билась с ним добрейшая Софья Матвеевна, ничего не получалось, и у нее скоро опустились руки:

— Исчадие ада! Что из него выйдет — подумать страшно...

В ту пору передвижники жили единой дружной семьей (разлады в их Товариществе возникли позже). Когда устраивались выставки картин в Москве, это событие отмечалось добрым застольем в доме Киселевых — шумно, весело, празднично. Детей кормили отдельно от взрослых, но гости пожелали увидеть сына своего собрата — Ваню Мясоедова. Николай Маковский больше других упрасивал Софью Матвеевну:

— Да покажите нам его... Что вы прячете?

— Прячу, ибо знаю, что добра не будет.

— А все-таки покажите, — настаивал Маковский.

Мясоедов, сын Мясоедова, был представлен гостям. Но глядел на всех волчком, исподлобья. Убедившись, что смотрины его закончены, мальчик вдруг шагнул к Николаю Маковскому, одетому лучше всех, вытер сопливый нос об рукав его сюртука... Это была уже не шалость капризного ребенка — это было умышленное злодейство. Софья Матвеевна при всех расплакалась.

— Чаша моего терпения переполнилась...

После этого казуса Мясоедов забрал свое немислимое чадо от Киселевых и в 1891 году пристроил его в полтавское реальное училище, которое Ваня и закончил, не блистая аттестацией. Но «искра Божия» уже была в душе Мясоедова-сына, и юноша, оставив тихо дремлющую Полтаву, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Киселевы тогда уже перебрались на берега Невы, учителями Ивана стали превосходные мастера — Н.А. Касаткин и В.Н. Бакшеев.

Бакшеев говорил Григорию Григорьевичу:

— Ваш сынок Ваня — ах, какой это талантище!

— Несчастье мое, — отвечал Мясоедов-отец...

А ведь Бакшеев не льстил маститому передвижнику, его сын получал высшие оценки в живописи и в рисунке. Бакшеев не стал допытываться, в чем отец видит «несчастье», но в своих мемуарах

отметил: «Он боялся, что его сын пойдет по пути артистов цирка и бросит живопись...»

— Д у б и н а! — отозвался отец о сыне.

Правда, что Ванечка рос богатырем. Его физическое развитие совпало по времени с развитием русского спорта, когда чемпионаты силовой борьбы становились праздниками для народа. Иван все чаще отрывался от мольберта — ради цирковой арены. Феноменально могучий от природы, он увеличивал силу беспощадными тренировками. Его внимание обратилось к античному миру, потому что там царил культ человеческого тела. Иван освоил греческий язык, дабы легче проникнуть в древний мир гармонии и красоты. В цирках он выступал за деньги, как профессиональный боец, под псевдонимом «де Красац». Отец, узнав об этом, презрительно фыркал:

— Чемпион мира и окрестностей...

Иван Мясоедов своего добился, его фигура обрела удивительную гармоничность, он походил на Геркулеса. Я вот думаю: что это — мода, поветрие? Ведь тогда же портретист Браз ударом кулака разрушал каминь и печи, Машков и Кончаловский (еще молодые ребята) изображали себя обнаженными, демонстрируя свои мышцы, а наш чудесный мастер Мешков на своих плечах относил на водопой жеребенка и таскал его к реке до тех пор, пока жеребенок не превратился в коня...

«Художник должен быть сильным!» — утверждал Иван.

Летние каникулы он проводил в полтавской усадьбе отца, отношения с которым не были еще враждебными, но становились все холоднее. Гуляя в саду, стареющий художник постоянно спотыкался о разбросанные гири, которые даже нельзя было убрать с дороги (так они были массивны).

— Дурак! — кричал он сыну.

Отец был не прав. И напрасно упрекал сына в том, что его интеллект растворился в мускулатуре. Изучив греческий язык, Иван уже

постигал итальянский. Известный актер В. Гайдаров бывал тогда в Полтаве и в своих мемуарах отметил, что Ивана окружало интересное общество. Именно здесь он встретил режиссера Н.Н. Евреинова, друзьями Ивана были и Волкенштейны, представители культурной семьи с давними революционными традициями... Мало того, Иван Мясоедов печатался в популярном журнале «Геркулес», в котором выступал и Максим Горький — с призывом быть сильными и здоровыми: «Было бы чрезвычайно хорошо, если бы мы, русские, усвоили этот девиз!»

Пропагандируя культ красоты и силы человеческого организма, Иван Мясоедов сочинил «манифест», который и был опубликован Евреиновым — для всеобщего сведения. Работая в цирках, Иван Мясоедов ставил на аренах мифы Древней Греции с участием акробатов в икарйских играх, смело вводил под купол воздушных красавиц в античных хитонах... Он и сам был красив! Подчеркивая это, он сделал на лице, вокруг глаз, голубоватую татуировку, чтобы его упорный взгляд казался демоническим и загадочным. Все это лишь бесило старого передвижника, своим полтавским друзьям он говорил:

— Нет, это не мой сын, а какое-то отродье. Я человек слабый, болезненный... откуда взялся этот верзила? Художника из него никогда не выйдет, а что выйдет — неизвестно!

В 1901 году богатыря охотно приняла под свою сень Петербургская Академия художеств, он попал на выучку к Вл. Маковскому, который не затруднялся в выборе сюжетов для учеников.

— Да что вы, темы найти не можете? Посадим натурщиков за стол, пусть пьют чаек — разве не сюжет для картины?

Рисунок преподавал «свирепый» профессор Гуго Залеман.

— Сегодня рисуем человеческий скелет, — объявил он.

— Простите, но я пейзажист, — сказал кто-то.

— Вот и прекрасно! — рычал Залеман. — Значит, вы обязаны изобразить скелет гуляющим по берегу моря.

Академическая школа, при всех ее недостатках, все-таки дала Мясоедову владение формой и цветом, без которых немислим никакой художник. Другьями его стали Федор Кричевский и Георгий Савицкий (тоже сын передвижника). Кричевский оставался верен своей теме — украинскому крестьянству, а Савицкий невольно поддавался влиянию Мясоедова, они совместно изучали «Илиаду» и «Одиссею». Мясоедов был влюблен в древность, даже дома он искусно драпировался в тогу римского патриция, курчавая челка (тоже античная) спускалась на лоб. Уже тогда Мясоедов был кумиром студенческой молодежи. На традиционных балах-маскарадах в Академии художеств он всегда выигрывал первые призы «за костюм», появляясь перед публикой полуобнаженным, с коротким мечом в руке, с волосами, стянутыми золотым обручем...

— Т ь ф у! — выразительно реагировал на это отец.

А между тем о сыне его уже ходили легенды; в римском Колизее он выступил в роли гладиатора, Рим удостоил его премии за красоту торса, в Испании он поверг наземь здоровущего быка (недаром же Федор Кричевский сделал его портрет в облачении мадридского тореадора). Наш прославленный живописец А.М. Герасимов случайно встретил Ивана Мясоедова в гостях у писателя Вл. Гиляровского: «До этого я знал его только по фотографиям в журналах. С играющими мускулами, с венком из виноградных листьев на голове, с лицом Антиноя, он был похож на античную статую!» — таким он запомнился Герасимову...

Академия художеств формировала художника в течение семи лет. И лишь под конец учения Мясоедов возобновил знакомство с семейством Киселевых, избегая при этом хозяина дома, но сумев понравиться Софье Матвеевне, хотя она (по старой «материнской привычке») беспощадно шпыняла своего беспутного «сына»:

— А ну! Пошел из-за стола — руки мыть...

Н.А. Киселев в своих записках отметил, что Иван производил странное впечатление — молчаливый, сосредоточенный, замкнутый.

«Никогда не говорил о своей жизни, планах, не участвовал в общих разговорах». Лишь постепенно он раскрыл свою душу.

— Хочу поступить в батальный класс Франца Рубо. Мечтаю о большом полотне — отплытие аргонавтов в Колхиду.

— А чего ты не женишься? — спросил его Коля Киселев.

— Мне нужна не столько жена, сколько натурщица, всем своим обликом отвечающая моим представлениям о древней красоте...

Киселева, однако, удивило, что помимо живописи Иван увлекается граверным искусством. Его влекла (и сильно влекла!) сложная техника воплощения тончайших оттисков на бумаге.

— Зачем это тебе, Ваня?

— Можно заработать, — был ответ...

В ту пору Киселеву не могло прийти в голову, какую извилистую линию проведет граверный штихель в могучей руке Ивана... Учителя же он избрал себе гениального — самого Матэ! Художник П.Д. Бучкин вспоминал, что мастерскую Матэ часто посещали два друга — Иван Мясоедов и Федор Кричевский, в своих учебных офортах они тщательно повторяли свои живописные работы. Так что опыт в гравировальных делах у Ивана Мясоедова уже был, а учитель ему попался — наилучший в тогдашней России!

Осенью 1907 года, когда Мясоедов поступил в мастерскую Рубо, отец писал о нем: «Бродит, пускает пузыри, а выйдет вино или квас — неизвестно... Живет во флигеле, где у него постоянно торчат молодые люди, его рабы и наперсники, которых он угнетает своим величием и абсолютностью приговоров...» В следующем году Иван уже взялся за написание картины «Аргонавты», «в осуществление которой, — сообщал отец из Полтавы, — я не верю, но мешать ему в этом не хочу, хотя наперед знаю, что доброго из этого выйдет мало... Он в мире признает стоящим чего-нибудь только себя, метит он очень высоко и не без основания, но все это слишком рано. Он хочет удивлять, удивлять-то еще нечем...». Очень строго отец судил своего сына!

Строго и несправедливо. Иван Мясоедов окончил Академию художеств блистательно — с золотой медалью. Его программной работой стало огромное и торжественное полотно «Поход минийцев (Аргонавты, отплывающие от берегов Греции за золотым руном в Колхиду)».

Наградой за успех была заграничная поездка. Италия в ту пору была встревожена мессинским землетрясением. Будучи в Риме, Мясоедов, конечно, посетил тамошний цирк, на манеже которого выступали лучшие силачи мира. Шпрыхсталмейстер под конец объявил:

— Почтенная публика! Если среди вас найдется желающий испытать силу и повторить хотя бы один номер нашей программы... наш цирк отдаст ему весь кассовый сбор!

Соблазн был велик. Нашлись охотники подзаработать. Но как ни тужились, могли убедиться лишь в том, что гири не по их силенкам. Вот тогда-то из партера и поднялся наш Ванечка:

— Я приехал из России, синьор. Позвольте мне...

Неподъемные тяжести стали порхать над манежем, как мячики. Своей силой он превзошел цирковых атлетов, и директор цирка подал ему поднос с деньгами. Мясоедов деньги принял:

— Прекрасные синьориты и вы, благородные синьоры! Я, русский художник, жертвую весь этот кассовый сбор в пользу бедных итальянцев, пострадавших от землетрясения в Мессине...

Что тут было! Итальянцы разом встали, устроив Ивану бурные овации. Это и понятно: зрителей Мессины спасли экипажи кораблей русской эскадры, а теперь русский богатырь Иван жертвует баснословный гонорар на благо тем же мессинцам...

Всегда приятно думать о благородстве человека!

Передвижничество изживало само себя, среди «стариков» начались распри и несогласия... Г.Г. Мясоедов порвал с Товариществом, безвылазно проживал в Полтаве. Он не смирился с тем новым,

что обильно вливалось в усыхающие артерии прошлого. Вокруг неукротимого апостола былых заветов образовалась оскорбительная пустота, он замкнулся в своем саду, ненавидя людей, и терпел только музыку:

— Все лгут, и только музыка еще остается честной...

Гнетущий покой в Полтаве лишь однажды был потревожен приездом Н.А. Киселева, сына его давнего друга. Визит в Полтаву был связан с XXXVIII выставкой передвижников. Старик помог Киселеву найти помещение для картин, выставка прошла успешно. Но визит в Полтаву доставил немало неприятных минут: у калитки усадьбы его встречал не сам Мясоедов, а сын Мясоедова.

— Коля? — удивился Иван Мясоедов. — Наверное, к нему? — И кивнул в глубину сада, где виднелся отцовский дом. — Если к нему, так я провожу тебя. Но только до крыльца. Дело в том, что мы с отцом не видимся. Живем, как чужие люди...

В голосе сына сквозила явная враждебность по отношению к отцу, и Н.А. Киселев верно рассудил, что в этом доме, на отшибе Полтавы, уже произошла семейная трагедия. А вскоре ушел из этого мира Мясоедов-старший; он умирал, окруженный музыкантами, которые играли ему Баха и Шопена... Я держу перед собой портрет умирающего, исполненный с натуры рукою его сына: как страшен момент агонии! И я отказываюсь понять, что более двигало рукою сына — искусство или ненависть к отцу? Зачем он с таким старанием выводил линии спазматически открытого рта, обводил контуры страдальчески заостренного лица?

Мясоедова-отца не стало, но остался он — сын его...

На двух посмертных выставках (в Полтаве и в Москве) он безжалостно расторговал все богатое наследие отца, не пощадив и его коллекции, составленной из дарственных работ Репина, Ге, Шишкина, Дубовского, братьев Маковских... Нам, потомкам, остались от этих выставок-продаж одни жалкие каталоги. Но можно ли простить художнику то, что простительно купцу-торгашу?

...После поездки в Полтаву Киселев сказал матери:

— Иван встретил меня очень странно. И не пожелал общения со мною. Он проводил меня до дома отца с какой-то подозрительной поспешностью. Словно он боялся, что я стану напрашиваться на визит к нему в его отдельное жильё во флигеле.

— Он еще не женился? — спросила Софья Матвеевна.

— Да кому он нужен со своими выкрутасами... Всю жизнь, наверное, будет искать заморскую принцессу на горошине!

«Принцессой на горошине» оказалась Мальвина Вернички, приехавшая к нам на гастроли в амплу партерной акробатки.

— Вот это о н а... моя жена!

Я раскладываю портреты Мальвины: вот четкий профиль, как на античной камее, с пышной копной волос на затылке, вот она в прекрасной наготе... Да, женщина красивая! Но красота ее какая-то зловещая, далекая нам, не от мира сего. Таких женщин лучше обходить стороной, любуясь ими из безопасного далека. Теперь в прозрачном хитоне эта бесподобная красавица из цирка варила на кухне макароны для своего мужа...

Георгий Савицкий, увидев Мальвину, ахнул:

— Ваня, дай мне твою жену ненадолго.

— Зачем?

— Вылитая Иродиада! Буду писать с нее.

— Бери, — разрешил Мясоедов, — только не задерживай долго, ибо она необходима мне для картины «Отдых амазонок»...

Жилось ему не так уж легко. Порою мне кажется, что он бросал кисти ради манежа, снова превращаясь в «де Красаца», только потому, что в доме не хватало денег на макароны. В.А. Милашевский оставил нам такую живописную сцену в студенческой столовой: «Мясоедов появлялся в сопровождении своей хорошенькой жены-итальянки, очень маленькой женщины. Он не столько обнимал ее, сколько покрывал ее плечи одной своей ладонью. Они стояли вместе

у кассы... совещались на итальянском языке — хватит ли на две порции бефстроганова. Бедный гладиатор?»

Никто не знал, чем Мясоедов занят, каковы его творческие планы, но занятий гравюрой он, кажется, не оставил.

...В 1919 году Иван Мясоедов навсегда покинул родину. А перед отбытием в эмиграцию он безжалостно, даже с каким-то садизмом, уничтожил в усадьбе все, что касалось его отца — все его эскизы, всю переписку, все наследие мастера.

Откуда такая лютейшая ненависть?

Мясоедов, сын Мясоедова, растворил себя в наклапи чужой для нас жизни; до его друзей, оставшихся на родине, дошли о нем только слухи, которые невозможно проверить. Полтава жила своими заботами и чаяниями, об Иване стали забывать. Но вот однажды в окрестностях Полтавы решили устроить обсерваторию. Долго искали для нее место, пока не обратили внимание на заброшенную усадьбу Г.Г. Мясоедова, возле которой догнивал и флигель его сына. Этот флигель почему-то и сочли самым удобным местом для строительства. Начали разрушать постройку, и тут... Тут мы перенесемся в московскую квартиру архитектора А.В. Щусева. Его гостеприимством пользовались тогда многие. Среди гостей случайно оказался архитектор из Полтавы, который и рассказал о загадочной судьбе этого флигеля:

— В нем жил Иван Мясоедов, там же была и его мастерская. Но под рабочим столом художника мы обнаружили засекреченный лаз с очень хитрым затвором, ведущий в подземелье. У нас закралось подозрение, что тут дело нечисто... Действительно, в куче старого мусора мы неожиданно обнаружили отлично сработанное клише с тончайшим граверным узором. Это была матрица, вполне готовая для печатания фальшивых денег.

— Русских? — оживленно спросил Щусев.

— Нет, американских долларов...

Тогда же Н.А. Киселев поведал Щусеву о том, что Иван Мясоедов недаром, как видно, постигал технику граверного искусства («и мы оба порадовались, что судьба избавила отца от больших страданий, послав ему своевременную смерть»). Но история на этом не закончилась... По словам того же Н.А. Киселева, события развивались так. Молодое Советское государство нуждалось в культурных контактах с границей, в концертное турне по Германии выехала молодая скрипачка Вера Шор. Германия переживала тяжелые времена, всюду царилла нужда, зато процветали нувориши-спекулянты, а в Берлине на каждом углу торчали на костылях нищие калеки. После одного из концертов к Вере Шор подошел прилично одетый молодой человек. Он сказал, что в Берлине находится художник Иван Мясоедов, у которого собирается русское общество, и это общество будет чрезвычайно ей благодарно, если она повторит свой скрипичный концерт в условиях мясоедовского ателье.

— Если вы согласны, — заключил молодой человек, — я провожу вас... Это не так далеко отсюда.

Вера Шор согласилась. Молодой человек провел ее темными закоулками в теснину мрачного двора, по черной лестнице они поднимались до верхнего этажа. На условный стук двери открылись, и Вера Шор оказалась в богатой квартире, украшенной антикварной мебелью, коврами и картинами. Громадный стол — это в нищем-то Берлине! — буквально ломился от обилия дорогих яств, уникальных вин и заморских фруктов.

Иван Мясоедов рассеял ее недоумение словами:

— Да, по нашим временам такой стол — редкость. Но я богат, у меня много заказов... популярность в Германии... даже в Италии!

После концерта он щедро расплатился с музыкантшей, взяв с нее слово, что перед отъездом на родину она непременно позвонит ему, дабы договориться о повторении этого чудесного вечера. Вера Шор так и поступила. Но по телефону ей ответили, что Иван Мясоедов уже заключен в тюрьму — как фальшивомонетчик. Скрипачка не

могла понять, какой же смысл в период девальвации германской марки идти не преступление ради той же марки?

В трубке телефона высмеяли ее наивность:

— Ваш соотечественник работал над производством устойчивой валюты... Он печатал фальшивые британские фунты стерлингов...

Кто-то из друзей Н.А. Киселева, бывавший тогда в Италии, видел даже газету, сообщавшую, что художник Иван Мясоедов «приговорен к пожизненным каторжным работам в одной из отдаленных английских колоний». Казалось бы, на этом можно поставить точку. Однако рассказ Н.А. Киселева был дополнен академиком А.А. Сидоровым (ныне покойным).

В 1927 году он выехал в Германию по делам Наркомпроса, а в Берлине навестил русского гравера В.Д. Фалилеева, «сохранившего, — как пишет Сидоров, — всю привязанность к советской родине». Каково же было удивление Сидорова, когда здесь же, на квартире Фалилеева, он встретил и нашего Ивана Мясоедова, которого украшала громадная борода (увы, седая!).

«Он только что вышел из тюрьмы Веймарской республики... Был молчалив и по-прежнему предан мечте о красоте и здоровье “нового человека”. Мне подарил он на память свой рисунок... Образ вакханта, искусственный жест — эстетизация видения, образа и рисунка». Когда Сидоров решил похвалить этот рисунок, Иван Григорьевич сказал — даже с гордостью:

— Дело, конечно, прошлое, но в академии умели учить. Но только теперь я рисую лучше, потому что рисую... из головы!

Итак, Сидоров встретил Мясоедова уже на свободе.

Подтвердился слух, что Веймарская республика пощадила художника после того, как он с небывалым талантом расписал фресками тюремную церковь.

...Мясоедов, сын Мясоедова, умер в 1953 году.

Осталось сказать последнее — самое утешительное.

Недавно общественность Полтавы отметила 100-летие со дня рождения Ивана Григорьевича Мясоедова; в художественном музее города открылась выставка его работ, которая, как сообщалось в нашей печати, «свидетельствовала об И.Г. Мясоедове как о само-бытном и талантливом живописце, тонком рисовальщике».

Меня такая похвала не удивила...

Да, был талантлив. Да, судьба его трагична.

Наконец, все могло сложиться иначе.

Тайный советник

В славном и древнейшем граде Полоцке, что поминался еще в скандинавских сагах, каждую субботу начиналось повальное сечение всех учащихся — от мала до велика.

Чаще всего — в алфавитном порядке.

Секли в православной гимназии — за грехи тяжкие, секли в семинарии монахов-приаров — в поощрение, секли в духовной коллегии базильянцев — ради взбодрения духа. Разница заключалась только в том, что наказания «благородных» отпрысков регистрировались в особом журнале (для учета их успеваемости), а простых смертных лупили безо всякой записи, бухгалтерским учетом явно пренебрегая... Ну и вой же стоял в городе по субботам, визг и писк струился из обителей просвещения, а горожане Полоцка, мудро учености избежавшие, знай себе только посмеивались:

— Эва! В науку вгоняют. Так им и надобно — не лезь, куда не просят. И без того умников хватает...

Это еще не все, читатель, ты напрасно успокоился. Получив положенное от казенной школы, зареванные гимназисты, будущие ксендзы и униаты возвращались по домам, а там — о Боже! — родители уже поджидали их с розгами, ремнями и прутьями:

— Суббота! Таков порядок. Раздевайся и ложись...

Наивный советский читатель сразу решит, что в таких условиях лучше оставаться круглым сиротой, дабы избежать домашних уроков. Ошибаетесь! Все сироты в Полоцке были распределены по квартирам — «конвиктам», а при каждой квартире состоял уполномоченный — «префект», который по субботам был обязан исполнять роль отсутствующих родителей... Так что, читатель, как ни крутись, от судьбы все равно не уйдешь.

Один из таких учебно-просветительских «конвиктов» находился в доме мещанина Добкевича, а «префектом» при нем состоял неумолимый Генрих Бринк, педагог-математик, в свободное время неустанно игравший на гитаре, ибо в Полоцке он считался неотразимым кавалером. Вот тут-то, читатель, и начинается самое интересное — прямо дух захватывает...

Нашего Маркса звали Максимилианом Осиповичем, и если кто из вас не знает его, то рекомендую перелистать герценовский «Колокол» — там о нем сказано немало, ибо вышеозначенный Маркс привлекался к суду по каракозовскому процессу 1866 года.

1883 год застал несчастного Маркса ссыльным в городе Енисейске, и, слушая завывание вьюги, он с женою Леокадией вспоминал юность, проведенную в Полоцке. Леокадия же была дочерью того самого домовладельца Добкевича, который сдавал внаем квартиру для Бринка и его «конвикта». Вспоминая счастливую юность, Маркс писал об этом Бринке, что он «перепробовал розги, плетку, тройчатку и даже ременную пятихвостку» на своем самом бездарном ученике, которому математика никак не давалась.

Этим учеником был Каэтан Коссович, сын очень бедного священника из убогой белорусской деревушки. Неуклюжий и не всегда опрятный, он выделялся среди товарищей небывало крупною головой, учился отлично по всем предметам кроме математики. Каэтан и сам бы хотел познать, почему, допустим, x равен игреку, но даже в детской арифметике он мало что смыслил и своему однокашнику Марксу говорил со слезами:

— Спаси меня, научи! Десять без трех — понимаю, а вот как появится семерка, я сразу делаюсь дурак дураком...

О цифре 7 Маркс вспоминал, что для Казтана она имела какое-то роковое значение: «Никак он с этой цифрой не мог поладить, как будто у него для этого числа не хватало в мозгу особенного органа». А грозный Бринк, отложив гитару, сразу брался за плетень, избивая Коссовича столь жестоко, что на крики мальчика сбегались Добкевич и его дочь Леокадия.

— Как вам не стыдно? — кричала девочка, сама плачущая.

Здесь я скажу, что ученики постоянно держали Бринка под негласным наблюдением, следя за ним через замочную скважину. Однажды «префект» играл на гитаре и вдруг... Вдруг он задумался, внимательно изучая толстую басовую струну. Бринк снял эту струну с гитарной деки и стал сильно хлестать ею по краю стола, приглядываясь, какие глубокие шрамы остаются на доске. Ученики с ужасом догадались, что ожидает их в ближайшую субботу, а бедный Казтан заранее стал плакать... Тут к ним подошла Леокадия, дочка хозяина дома, девочка понятливая. Стоило Бринку удалиться, она сразу вошла в его комнату и щипцами-кусачками перерезала все басовые струны.

Вот и суббота! Бринк ласково и душевно провозгласил:

— Казтан Коссович, ну-ка... приближайтесь ко мне.

Но увидел, что карательное средство, заранее им облюбванное в мечтах о субботе, искромсано в куски.

Под ударами плети «префекта» ученики сознались, что их разрезала дочка домовладельца. Бринк выскочил на двор, где резвилась девочка, и стал ее лупцевать, а на крик дочери выскочил Добкевич и, успешно прибегнув к помощи русских выражений, сразу поверг «префекта» в бегство. После чего, воодушевленный победой, он как следует всыпал еще и дочери Леокадии.

— Вот тебе, вот тебе! — приговаривал. — Кормят тебя, поят, одевают, чего еще надо? Не суйся не в свои дела...

Настал 1818 год — грозный для всех учеников Полоцка!
Господи, спаси и вразуми Ты нас, грешных...

Коссович и Маркс учились в униатской школе пиаров, но в 1828 году эти школы были закрыты, и все желавшие учиться далее перебрались в Витебск. Маркс, из семьи обеспеченной, отъехал на телеге, а Коссович, босой и голодный, пришел в Витебск пешком. В гимназии его спросили:

— Скажите, а форменный мундир у вас имеется? — Не было у него мундира, не было и куска хлеба. — В таком случае, извините, для вас места в гимназии не сыщется. Всего доброго...

Коссович поступил в школу базилянцев, где мундира не требовалось. Он устроился на частной квартире у местного еврея трактирщика, снимая жалкую каморку под крышей — без печки, был один тюфяк на полу, одна табуретка и жалкое подобие стола. Хозяин на первом этаже торговал водкой, а в каморке жилья он держал шкаф с книгами на древнееврейском языке. Коссович голодал, иногда лишь угощая себя картошкой с солью и селедкой с хлебом. Чай он пил лишь в те дни, когда навещал товарищей, более состоятельных. Казтан сильно мерз по ночам, и еврей, сочувствуя ему, топором пробил дыру в своем потолке, чтобы в каморку проникал теплый воздух его жилья...

Маркс убеждал приятеля наняться гувернером в какое-либо витебское семейство, чтобы не умереть с голоду и не совсем запаршиветь в нужде, на что Коссович отвечал ему:

— Да, согласен, неплохо бы подкормиться мясным бульоном, но... когда же учиться? Я ведь слеплен из иной глины, и мне программ не хватает, я должен знать больше всех...

Он уже давно овладел латынью и греческим, а по книгам своего хозяина скоро самоучкой освоил еврейский и древнееврейский языки. Узнав об этом, витебские евреи разом всполошились и всем кагалом увлекли его в синагогу, где раввин устроил Коссовичу

экзамен, тоже удивляясь тому, как этот нищий белорус самоучкой достиг таких знаний.

— То, что ты не освоил семерки, это понятно, ибо в цифре 7 заключен особый смысл. Ну-ка, встань ближе к свету... Евреи, смотрите, какая у него голова. Вай-вай!

Но в 1830 году была закрыта и школа базилянцев. Коссович оказался на улице. Маркс выручил друга: он нашел пьющего гимназиста, который за две бутылки цимлянского расстался со своим прошлогодним мундиром, из которого он давно вырос. После же восстания поляков в 1831 году Виленский учебный центр был переименован в Белорусский, а в Витебске поселился с семьей новый попечитель этого округа — Григорий Иванович Карташевский, свояк писателя С.Т. Аксакова, человек добрый и образованный. Он вскоре и пожелал видеть Коссовича у себя.

— Я тут недавно беседовал с городским раввином, так он, раввин, признал, что вы, белорус, изучили Талмуд на древнееврейском лучше, нежели его знает он сам... Никак нельзя такие способности к языкам зарывать в землю.

— А что я могу сделать? — вдруг расплакался Коссович, ощутив подлинное добро в словах попечителя. — Мне за все эти годы, что я учусь, папенька с маменькой и грошика не прислали... у самих ничего нет. Одной картошкой и сыты.

Карташевский был немало удивлен той быстроте, с какой Коссович — самоучкой! — постигает языки, и первым делом он вызвал портного, чтобы приодеть школяра поприличнее.

— Вам надобно пожить в других условиях, — сказал он.

— Где? — удивился Коссович.

— Хотя бы в моем доме. Будете репетитором моим детям, чтобы они не ошибались в латыни. Я вас не обижу...

Казтан Андреевич отъелся, приоделся, пообтесался в культурной дворянской семье, наговорился всласть с домашними, оттаял душой с детьми, и тут Карташевский заявил ему:

— Я решил послать вас в Московский университет на средства Белорусского учебного округа, и вы, дорогой мой, даже не благодарите меня, ибо учиться станете на казенные деньги...

Коссовичу тогда исполнилось семнадцать лет.

Московский университет переживал не лучшие времена, а состав его профессоров, давно закоснелых, ташил на свои кафедры тяжкий груз тех рутинных понятий, которые, может быть, и казались передовыми в веке Екатерины II, но теперь представлялись сущим абсурдом. Ученые грызлись между собой, процветал откровенный nepотизм, и все это отражалось на студентах, которые, видит Бог, ни в чем не были виноваты. Стоило же кому-либо из молодежи чуть-чуть проклонуться поверх тины этого застойного болота, как ученые сразу били его по макушке, чтобы тот «не высовывался». Коссович попал в эту трясиину, когда стараниями профессоров был изгнан из университета Виссарион Белинский.

— Как неспособный, — объяснил он Коссовичу при знакомстве. — Зато очень способным объявлен Ландовский, что доводится племянником декану университета Ваньке Давыдову...

Этот Ванька, всеми доблестями украшенный, вдруг решил издать руководство по истории всех литератур, какие есть в мире, и, всем «тыкая», он однажды тыкнул и в Коссовича:

— Во! Ты, я слышал, польским владеешь? Это хорошо. Вот и займись обзором шляхетской литературы. От и до... Понял?

Казтан Коссович и не смел отказаться, наоборот, он даже обрадовался, что увидит свое имя в печати. Работал усердно и написал много, а М.О. Маркс, тоже учившийся в университете, потом вспоминал, что статья Коссовича была лучше других, только длиннее. Давыдов читать ее не стал, говоря:

— Ты! Куда нам так много? Надобно сократить...

Сокращать статью декан поручил своему племяннику Ландовскому, который хотя и носил шляхетскую фамилию, но из польского

языка помнил лишь одно выражение, которое в жизни всегда пригодится: «пше прошу, пани». Вот он и сократил. Так сократил, что из целой главы о поэте Красицком осталась одна фраза, звучащая сакраментально: «Красицкий являет собой прекрасное ожерелье, брошенное на голую шею всей польской поэзии...» Коссович прочел и рухнул в обморок.

— Оставьте меня! — закричал он, очухавшись...

И побежал к декану — жаловаться на его племянника. Слово за слово, и начался спор, а где спор — там и скандал. Коссович, потеряв меру, назвал своего редактора «придурком», добавив, что яблоко от яблони далеко не падает.

— Значит, по-твоему, я дурак? — деловито осведомился Давыдов. — Так, так, так... Но известно ли тебе, пся крев, что в Витебске началось дело о песнях возмутительного содержания, кои найдены жандармами на самом дне сундука в доме чаусовского городничего Силина, и эти песни уже ходят по рукам московских студентов.

— Впервые слышу, — невольно оторопел Коссович, которого никто не замечал в желании распевать песни.

— Завтра ты у меня запоешь совсем иное...

Слово свое Давыдов сдержал! Коссович селился в старом здании университета, где проживали «казеннокоштные» студенты. По утрам давали булку с маслом и горячий сбитень. Булку он получил, а сбитень получить не успел. Вдруг откуда ни возьмись нагрянули из полиции, схватили бедного Каэтана и, облачив его в солдатскую шинель, поволокли в карцер. Квартальный офицер при этом душевно сказал:

— Эх, молодость! Жалко мне тебя, дурака. Лучше бы уж спел ты нашу — «Сама садик я садила, сама стану поливать».

— Да не пел я ничего! — разрыдался Коссович...

Сидя в карцере, он понял, что ему уготована трагическая судьба поэта Полежаева, которому тоже не позволили допить студенческий сбитень и утащили в солдаты. Но тут случилось то, чего

никак не ожидал сам Давыдов, автор версии о «возмутительных» песнях, найденных в Витебске на самом дне сундука городничего. Перед началом лекции Ландовский был окружен титулованными студентами: графом Толстым и сразу тремя князьями — Оболенским, Голицыным и Лобановым-Ростовским. Эти господа загнали Ландовского в угол, каждый из четырех счел своим высоким гражданским долгом отвесить ему оплеуху. При этом аристократы изволили говорить:

— Если тебе, мерзавец, приятно быть в роли племянника нашего декана, то не думай, что твоя рожа застрахована от пощечин... Князь, ваша очередь. Граф, добавьте ему!

Эти речи услышал сам И.И. Давыдов, как раз входящий в аудиторию для прочтения лекции на тему о благе познания отечественной словесности. Один граф и три князя бестолково, но все же доходчиво объяснили профессору, что будут бить Ландовского каждый день, пока из карцера не будет выпущен бедный и умный студент Казтан Коссович. Давыдов понимал, что с этими студентами, имевшими связи в высшем свете столицы, лучше не связываться, и Коссович обрел свободу...

Белинский встретил его на улице, спешащий:

— А я и не знал, что вы любитель пения... Впрочем, спешу. Не желаете ли побывать в самом благородном обществе?

По рекомендации Белинского он был принят в кружок Н.В. Станкевича, а вскоре многое переменилось и в самом университете. Попечителем Московского учебного округа стал граф Сергей Григорьевич Строганов, генерал в солдатской шинели нараспашку, сердитый и благородный, инженер и археолог, историк и писатель, нумизмат и... воин. Друг студентов и враг ученых болванов. При нем, словно подпиленные столбы, разом рухнули прежние авторитеты, кафедры университета украсились новыми именами — Грановский, Шевырев, Кавелин, Буслаев, Бодянский и Соловьев (историк). Все вздохнули свободнее...

Вздыхнул и Коссович! В его большой голове помимо латыни и греческого за эти годы легко уместились новейшие языки — английский, немецкий, французский, чешский и литовский, освоенные им самостоятельно, а знание древнееврейского увело его еще далее — к познанию арабского и персидского. Способность к познанию языков была поразительна! Как-то с Марксом они случайно забрели в костел московский, где ксендз Стржелецкий читал проповедь на итальянском. Из костела Коссович вышел задумчивый, чем-то даже расстроенный.

— О чем ты? — спросил его приятель.

— Представляется, что итальянский язык нетруден, — отвечал Коссович рассеянно. — Не попробовать ли мне?..

Через три месяца он уже свободно читал и писал на итальянском, сразу же засев за перевод Сильвио Пеллико, автора знаменитой «Франчески да Римини», что была схожа по замыслу с трагедией о Ромео и Джульетте. И уж совсем случайно Каэтан Андреевич заглянул в мрачную пропасть таинственного санскрита, языка Древней Индии, которого в России еще никто не знал.

Случилось так. Возле Сухаревой башни издавна существовал книжный «развал», где среди всякого хлама иногда можно было выискать подлинную жемчужину. Какая-то падшая личность, бывшая «светлая», продавала гигантский растрепанный том, исписанный странными письменами, каких Максимилиан Осипович в жизни никогда не видывал.

— Что это у тебя, братец?

— Что — не знаю, но прошу на косушку. Нужда заела...

Маркс купил эту книжищу за полтинник и вскоре похвастал приобретением перед Коссовичем; тот полистал страницы и взмолился уступить ее за любую цену, а Маркс хохотал:

— Чудило гороховое! Да я ведь для тебя ее и купил, благо один ты у нас такой, что способен в этих крючках разобраться.

Через несколько дней Коссович известил приятеля, что эта книга — «Пураны», священный свод индуизма, писанный на сан-

скритском языке, а уж как эти «Пураны» из Калькутты попали на Сухаревку — об этом теперь никто не узнает.

Начинался великий подвиг всей жизни Коссовича!

Из университета Коссович вышел в 1836 году со званием кандидата наук словесных. Но, как это и бывает с нужными людьми, он оказался никому не нужен, и один лишь Белинский помянул о нем как о «страстном эллинисте», что задумал издание словаря древнегреческого языка. Казтан Андреевич жил уроками, одно время преподавал греческий в тверской гимназии. У него появился фрак и тросточка, но по рассеянности он иногда выходил из дома в затрапезной кацавейке, держа в руке метлу дворника. Заметив ошибку, он извинялся:

— Простите. Я просто слишком задумался...

Коссович по-прежнему был не в ладах с арифметикой, никогда не зная, как рассчитывать с официантом или сапожником, а выкладывал перед ними все свои деньги, говоря:

— Будьте любезны, отсчитайте сами, сколько вам надо, а то, знаете ли, эта проклятая семерка с детства не укладывается в моей голове, а я не хотел бы вас обидеть...

В это время он штудировал труды западных санскритологов — Лассена, Бюрнуфа, Боппа и Вилькинса, а Россия своей санскритологии еще не имела. Казтан Андреевич мечтал о заграничной командировке, чтобы познакомиться с этими корифеями. Наконец в 1843 году он получил место учителя в московской гимназии, и тогда же его заметил профессор Степан Петрович Шевырев, нуждавшийся в таком личном секретаре, который хорошо бы понимал языки, но совсем ничего не понимал бы в жизни.

В Дегтярном переулке он предлагал ему свой мезонин.

— Живите у меня, что вам по углам мыкаться? Мои дрова, мои свечи, моя прислуга. Я так занят, так чертовски занят! А вечерами еще надобно бывать в Аглицком клубе, чтобы узнавать светские

новости. Ну, просто разрываюсь на части... Кстати, переведите для меня вот эту заметку с еврейского. Буду рад, если сделаете для меня краткую компиляцию из этого лондонского обозрения. Заодно уж, очень прошу, ознакомьтесь с моей статьей для «Московского наблюдателя» и подсократите ее, колико возможно. Никак не обижусь, если вы и дополните мою статью своими соображениями... Ах, Боже, ну совсем нет времени! Выручите меня, голубчик... я побежал.

Днями учительствуя в гимназии, Коссович теперь ночи напролет, согбенный, утруждался для блага Шевырева, даже не понимая, наивный человек, что тот его попросту бессовестно эксплуатирует за бесплатные дрова и спаленные по ночам свечки, за то, что прислуга ставит ему самовар. Однако Каэтан Андреевич оставался даже благодарен Степану Петровичу, ибо через него (и через Станкевича) скоро вошел в содружество московских славянофилов: Хомяков, братья Киреевские, Елагина, Аксаковы и Плетнев (издатель) стали его друзьями. Люди с немалым весом в обществе, они нажали потаенные пружины верховной власти, и Коссович с головой погрузился в древнюю пыль архивов, открывая в этой пыли сокровища.

— Ну что нашли нового? — спрашивал его Аксаков.

— Отрывок из письма Рабби бен-Ицхака, близкого к халиву испанскому, где он пишет к царю хазарскому. Мы еще не знаем о роли еврейства в Хазарском царстве, но мне интересно выявить связи отдаленного Запада с миром Древнего Востока...

— Откуда у вас все это? — удивлялись славянофилы.

— О-о, господа! Все началось с книжного шкафа в каморке витебского еврея, где я познал первые восторги юности...

Послушав Коссовича, иногда его спрашивали:

— Так, значит, вы семитолог?

— Скорее уже санскритолог.

Незнакомые ему люди интересовались:

— Вы, говорят, первый у нас санскритолог?

— Пожалуй, — смеялся Коссович, — я все-таки иранист, изучающий Авесту и клинообразные надписи Ахеменидов, меня интересуют и таджикский язык, столь близкий к зендскому...

— О Боже! Так кто же вы на самом-то деле?

— Увы, я... б е л о р у с, обожающий свой бедный народ...

— Шутите? — обижались светские дамы.

— Если и шучу, мадам, то шутки мои горькие...

Стараниями Коссовича русские читатели впервые узнали трактаты «Махабхарата», «Торжество светлой мысли», Каэтан Андреевич старательно прививал русским людям вкус к познанию высоко нравственной философии мудрецов древности. Петр Александрович Плетнев не раз говорил ему — дружески:

— То, что вы делаете, превышает всякое разумение наших критиков-недоучек, и, мало что понимая в ваших трудах, они будут злиться именно за свое непонимание вас...

Он же писал Коссовичу осенью 1848 года: «Не смотрите на то, что появится в журналах для вас обидное и неприятное. Не тут, совсем не тут ваши судьбы! Придет еще время, когда имя Коссовича будет признаваться с благодарностью и почтением, как имя основателя в России целой школы исследователей санскритской филологии...» Авторитет Коссовича был в это время бесспорен, и в 1847 году граф Строганов сообщил ему, что желательно иметь в Московском университете кафедру санскритского и персидского языков, о чем он, попечитель округа, уже известил министра народного просвещения Уварова.

— Я уже просил Уварова о заграничной командировке для вас, чтобы в Бонне, в Риме, в Лондоне и Париже вы наглядно ознакомились с методами тамошнего преподавания. Вы рады?

— Это моя давняя мечта, — признался Коссович.

— Тогда и я рад... за вас, милейший.

Но министр Уваров в командировке отказал, и до графа Строганова дошли его слова о ненужности кафедры санскритологии в Московском университете. Строганов был зол:

— Этот олух на мой запрос ответил, что у нас, мол, и русского-то языка не ведают, так зачем санскрит, если имеется восточная кафедра в Казани... Ах, что взять с дурака? Но я, милейший Каэтан Андреевич, советую вам потихоньку перебираться на берега Невы, где ваше усердие будет оценено скорее и более достойно. Над вами еще не издеваются?

— Уже пробуют, — ответил Коссович, — так, например, в «Современнике», ничего не поняв в индийской философии, дружно воскликнули все критики разом, приветствуя мои труды возгласом: «Да здравствует загробная тень Третьяковского!»

— Вы по-прежнему палите свечи в мезонине Шевырева?

— Нет, меня приютила княгиня Оболенская...

— Уезжайте! Я дам вам рекомендательное письмо к барону Модесту Корфу, что директором в Императорской публичной библиотеке... А я уже разругался с Уваровым, как извозчик, и подаю в отставку. Без меня вам здесь будет плохо.

Каэтан Андреевич перебрался в столицу и вскоре женился. Елизавета Николаевна, жена — избранница его сердца, оказалась хорошим человеком, в их отношениях всегда царила тишь да гладь и Божья благодать. Впрочем, это и понятно. Такие труженики, каким был Коссович, никогда своих жен не огорчают лишними осложнениями, и при них женщины счастливы и спокойны, ибо у подобных мужей нет лишнего времени, чтобы делать женам всякие неприятности, — на это способны одни лишь бездельники!

Конечно, санскрит и древнееврейский — это не те языки, что необходимы на каждый день, и в Петербурге не слишком-то нуждались в услугах Коссовича. Сначала он, как семитолог, наладил цензуру еврейской литературы, в тайнах которой русские цензоры разбирались, как свинья в апельсинах. Затем Каэтана Андреевича привлек к себе барон Модест Корф, лицейский товарищ Пушкина; об этом человеке наши пушкинисты отзываются не ахти как ласково,

но, мне кажется, Корф заслуживает доброго слова как историк, по сути дела, и создавший Императорскую публичную библиотеку во всем неисчислимом разнообразии и богатстве, укрепив ее ценность научными каталогами.

— Вы мне нужны, — сказал он Коссовичу. — Без вас никому не разобраться в древнейших рукописях библиотеки, созданных неясно когда и на каких языках — тоже нам неизвестно... Думаю, вам следует побывать в Англии, чтобы с помощью тамошних ориенталистов расшифровать загадочные письма.

Русским послом в Лондоне был Филипп Бруннов:

— Англичане считают, что изучать тайны санскрита можно только в Индии с помощью ученых брахманов-пандитов, а где изучали санскрит вы? — спрашивал он с недоверием.

— Не удивляйтесь — в Москве.

— Все-таки я вынужден удивиться тому, что вы сказали, ибо брахманов-пандитов в Москве я не встречал...

Этому удивлялись и английские ученые, а рукописи, которые Коссович привез из Петербурга, они разгадывали с трудом. Заодно уж Коссович окунулся в бездны Британского музея, отыскав немало ценных бумаг о России прошлых веков, чему барон Корф немало порадовался. Он полностью доверял Коссовичу и, отъезжая на Баден-Баден, говорил:

— Будьте за меня! Вам колокола и церковные дела...

Вскоре Академия наук предложила Коссовичу составить русско-санскритский словарь, о чем он известил Плетнева: «Если это сочинение откроет в моем Отечестве доступ к изучению древнейшего и прекраснейшего языка, то цель моей жизни будет достигнута».

Между тем в русской столице немало было студентов, желавших изучать именно санскрит, и граф М.И. Мусин-Пушкин, попечитель Петербургского учебного округа, пожелал видеть Коссовича ради приятной беседы:

— Будь по-вашему! Я и сам понимаю, что столичный университет России нуждается в кафедре санскритологии. Только сразу расширим задачи кафедры, включив в нее и тибетско-монгольские языки, ибо Россию, как бы она ни считала себя Европой, от стран Восточных не оторвать... Одно плохо!

— Что же плохого, Михаил Николаевич?

— Ах, милый! Просто у нас нет денег, чтобы достойно оплачивать ваши лекции по санскритологии, будь она неладна.

Тут Каэтан Андреевич даже возмутился:

— Да разве я прошу денег? Согласен жить на скромное жалованье библиотекаря при бароне Корфе, а курс лекций в университете я буду читать бесплатно — лишь бы в России поскорее возникла своя школа русских санскритологов...

Елизавета Николаевна одобрила поступок мужа:

— Бог с ними, с этими деньгами, но я ведь с твоих слов уверена, что России нужна санскритология, как и математика.

Каэтан Андреевич чуть не скрипнул зубами:

— Слово «математика» в моем доме не произносится! Или ты, Лиза, забыла, сколько меня пороли в Полоцке... за семерку, значение которой я до сих пор так и не осилил!

Коссовичу было уже за сорок, когда он издал древнеиндийский эпос «Рамаяна», издал и древнеперсидские «Зенд-Авесты», которые с восторгом приняли ученые Запада, а в России нашлись критики, утверждавшие, что все это «излишняя роскошь», недостойная внимания русских людей, поглощенных совсем иными заботами. В 1865 году Коссович почти целый год провел в Париже, издавая древние рукописи, ибо в типографии Бюрнуфа отыскивались отличные шрифты восточных языков, их отпечатки точно совпадали с написанием букв в рукописях тех миров, что давно угасли. Слава Коссовича становилась международной, но степень доктора сравнительного языкознания он получил не в Петербурге, а в Харькове, зато в Париже, и в Берлине, и Лондоне его давно называли академиком...

— Вам надо почаще гулять, — говорили врачи. — Нельзя же всю жизнь проводить за столом, вдыхая пылинку архивных манускриптов, в полусогнутом состоянии.

— Н е к о г д а, — отвечал Коссович врачам...

Уступая их диктату, в одной из комнат своей квартиры он развел огород, посадил елочки и рябинку, там порхали птицы и прыгал зайчик. Здесь он гулял, лаская зайца, а птицы клевали зерна с его доброй ладони... Жене он говорил:

— Как велика и как трудна жизнь человека! Мне, Лизанька, еще повезло: я смолоду открыл в себе те способности, которые втуне были заложены в моих несчастных и нищих предках. А сколько еще людей на Руси живут, страдают и умирают в неизвестности, так и не познав великого счастья — открыть самих себя для тех целей, какие им предопределены судьбою...

Коссович не забывал и семитологию; его грамматика еврейского языка выдержала в России 21 издание, и ученые раввины Петербурга низко кланялись ему, словно ученому «цадику».

— Мы вам за это поставим памятник, — обещали они.

— Памятник? Где?

— Где хотите... хоть в Палестине!

— Лучше вы, раббе, повесьте памятную доску на том трактире в Полоцке, где я случайно обнаружил шкаф с вашими древними книгами, с которых все и началось...

Однажды он вернулся домой, чем-то взволнованный.

— Что с тобою? На тебе и лица нет, — испугалась жена.

— Ты не поверишь, что случилось! — отвечал Коссович. — Я встретил на улице жалкого и презренного старика на костылях и... Не может быть, как поверить? Но мне показалось, что это был тот самый Бринк... тот, что избивал меня в Полоцке, ибо мне никак не давалась проклятая «семерка» в математике. Может, я ошибаюсь. А может, и... нет? Но прошлое вдруг ожило во мне, и мне, Лиза, поверь... мне хотелось подать ему милостыню!

...Казтан Андреевич Коссович умер 26 января 1883 года в чине тайного советника и был погребен подле жены на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

В *седьмом* томе Советской исторической энциклопедии об этом человеке имеется заметка, в которой я насчитал только *семь* строчек. Из библиографии приведена лишь статья А.С. Шофмана, помещенная в давние годы и в узкоспециальном издании с ничтожным тиражом, почти недоступная широкому читателю.

Именно эта скудность наших познаний о великом русском языке и заставила меня написать эти страницы.

Памяти Якова Карловича

Смолоду я питал почтение к академику Якову Карловичу Гроту, о котором сегодня и хочу рассказать...

Первая встреча с ним произошла еще в юности, когда я самоучкой постигал историю Финляндии, пытался переводить стихи Ленрота и Рунеберга, — именно тогда мне открылся тот мир, почти сказочный, что был отражен Гротом в его обширной книге «Из скандинавского и финского мира». Время постепенно уничтожило во мне старые интересы, оно же породило и новые — опять мне помог Яков Карлович с его работами по истории нашего государства, что так пригодилось потом при написании романа из эпохи «екатеринианства». Наконец, я с трепетом беру с полок увесистые тома — фундаментальные комментарии Грота к сочинениям Гаврилы Державина; вот изданная им переписка Екатерины II с бароном Гриммом, ценнейший источник по истории культуры, вот письма Ломоносова и Сумарокова к Ивану Шувалову... всего мне не перечислить!

Иногда я думаю: как один человек, никем не подгоняемый, достаточно обеспеченный, не раз отвлекаемый службою, успел так много сделать? Почему мы, беззаботно болтающие и постыдно хвастающие своими мнимыми успехами, разучились работать?

Так пусть эта миниатюра станет скромной данью благодарности к человеку, о котором у нас не принято вспоминать...

После Семилетней войны приехал к нам из Голштинии лютеранский пастор Иоахим Грот и стал называться Ефимом Христиановичем; отнесемся к нему с должным уважением, ибо этот пастор учредил первое в России «Общество страхования жизни», а с церковной кафедры он громил родителей, которые не желали делать прививки от оспы своим детишкам.

Ефим Грот и был родным дедом нашего академика.

Яков Грот родился в снежную зиму 1812 года, когда русская армия завершила изгнание полчищ Наполеона; отец его, финансист, был знатоком языков, а мать, Каролина Ивановна Цизмер, немка происхождением, но отчаянная русофилка, любила русский народ даже за его недостатки; чтобы дети ее от колыбели прониклись «русским духом», она окружила их русскими няньками, а немецкий и французский они осваивали на слух — с разговоров родичей. Отец умер, когда Яше было четыре года; он очень любил мать и, если она засыпала, силился открыть ей глаза, громко плача:

— Мамочка, открой глазки — не умирай...

Вторая любовь — к животным, собакам и кошкам, «...и я, — писал Грот в старости, — испытал это удовольствие во всей полноте... я живо и нежно сочувствовал всякому страданию, а воспоминание об этой детской симпатии до сих пор отзывается в моей душе любовью к животным...» Мать его, молодая вдова, как-то встретила в Летнем саду императора Александра I:

— Ваше Величество, вы, наверное, помните моего покойного мужа, что был вызываем во дворец, дабы вы, еще ребенок, скорее

освоили немецкое произношение. Так устройте будущее его бедных сироток, век стану Бога за вас молить...

Десяти лет от роду Яша попал в пансион Царскосельского лицея, а потом был зачислен и в Лицей, еще живший памятью пушкинской юности. Любовь к поэзии среди лицейстов была всеобщей, а классные сочинения писались даже в стихах... Грот никогда не забывал встречу с великим поэтом, который однажды посетил обитель своей поэтической молодости. Лицейсты окружали Пушкина гурьбой. Грот, застенчивый по природе, был безжалостно оттиснут от поэта, у которого «на лестнице оборвалась штрипка, он отстегнул ее и бросил на пол... я завладел этой драгоценностью», — вспоминал потом Яков Карлович.

За время учебы в Лицее он самостоятельно изучил итальянский язык, считался лучшим на курсе «латинистом». Из своих скудных средств мальчик купил лексикон Кронберга, басни Крылова и географию Патунина — ими и наслаждался. О будущем и чинах он не думал, об этом позаботились другие. Когда Лицей посетил князь Виктор Кочубей, важная персона, он спросил — кто из лицейстов годен в чиновники Комитета министров, и тут профессор истории Шульгин сразу назвал Грота.

— Хорошо, — сказал Кочубей, — я буду о нем помнить...

В 1832 году Грот закончил Лицей с золотой медалью и сразу оказался среди шкафов, заполненных канцелярской премудростью. Престарелый чиновник, страдающий геморроем, вынул из ушей вату, обнюхал ее, оглядел со всех сторон и воткнул в ухо обратно.

— Попался! — сказал он со злорадством старого человека, у которого все в прошлом. — Теперь, милейший, пока целый шкаф копий не начертает, не видать тебе пенсии...

«Потерянные годы», — вспоминал Грот, изнемогавший от переписки бумаг, от их подшивания, прокалывания и нумерования. На беду свою он попал под начальство барона Модеста Корфа, выпу-

щенного из Лицея вместе с Пушкиным, а барон, от поэзии далекий, был ужасный педант. Вторая беда настигла от самого императора Николая I, который однажды сказал Корфу:

— Барон, кто у тебя в канцелярии обладает таким красивым и ровным почерком? Глаз не оторвать!

— Достоинно усердствует мой чиновник Яков Грот.

— Ты его удержи... не дай ему сбежать от тебя!

После этого бедный Яша проливал слезы над страницами дневника: «Дни уходят, не оставляя ни в уме, ни в сердце прочных следов; зато оставляют по себе толстые кипы исписанной веленовой бумаги; будет мне, чем похвастать внукам, показывая им шкафы канцелярии, и скажу я им: сочинять не сочинял, да зато вволю писывал...» Любимой матери Грот говорил:

— Стоило мне кончать лучшее учебное заведение России с золотой медалью, дабы копировать чужие глупости?..

Чтобы время зря не пропадало, Грот освоил английский язык; взялся за перевод поэмы Байрона «Мазепа», выискивая в европейской литературе связи с русской историей. Между тем сидячий образ жизни в полусогнутом состоянии и лучезарные надежды на обретение «креста в петлицу, а геморроя в поясицу» сказывались на здоровье, врачи советовали заниматься гимнастикой.

— Лучше всех — гимнастика шведская, а посему, господин Грот, ступайте в гимнастический класс шведа Паули, который выправит вас, как правофлангового гренадера...

Паули ходил в классе с длинным хлыстом, которым и подстегивал бедного Грота, если не так подтягивался на перекладине, если не приседал с должным вдохновением:

— Ноги прямо! Грудь колесом! Смотреть на меня!..

Все это произносилось по-шведски, и после полугода занятий гимнастикой Грот вдруг почувствовал, что начинает понимать своего дрессировщика без помощи переводчика. Паули оставил хлыст и,

радостно улыбаясь, подарил Гроту стихи Рунеберга и «Сагу о Фри-тьофе» Тегнера (о которой с большой похвалой отзывался великий Гёте). Яков Карлович увлекся скандинавской мифологией, стал изучать шведский язык, переводил поэта Тегнера на русский язык, он пылко увлекся новым для него миром — на этот раз скандинавским. «А между тем я должен был ежедневно проводить все утро в канцелярии, тогда как страсть к литературным занятиям уже не давала мне покоя...» Что делать?

В театре он встретил товарища-лицеиста Михаила Деларю (пострадавшего за перевод стихотворения Виктора Гюго «Красавице», к ногам которой автор возлагал скипетр и трон, «гармонию миров и власть свою над ними за твой единый поцелуй»). Деларю сказал, что Плетнев будет издавать «Современник»:

— Петр Александрыч человек добрый, если сам боишься, так, давай, я отнесу ему то, что тобою написано...

Плетнев охотно напечатал перевод байроновского «Мазепы», а для «Отечественных записок» Яков Карлович приготовил большую статью о сагах древних викингов, для чего ему пришлось изучить немало источников. Имя его понемногу становилось известным в литературных салонах, а барон Корф сказал:

— Пропал человек! Верно говорят в народе: как волка ни корми, он все равно... сами знаете, куда смотрит.

Плетнев познакомил Грота с поэтом Жуковским, и тот сразу осведомился о службе, на что Грот отвечал словами Грибоедова: «Служить бы рад — прислуживаться тошно!» Отъезжая за границу, Жуковский взял с собою его перевод «Саги о Фри-тьофе», просил продолжать свой труд, а заодно советовал ехать в Одессу, чтобы купаться в теплом море. Столичные же врачи говорили иное:

— Вам необходимы как раз холодные ванны, вот и поезжайте в Гельсингфорс, чтобы купаться в Финском заливе...

Как раз тогда в Гельсингфорсе открылись лечебные купания с минеральными водами, и Грот, купаясь, поздоровел. Цитирую его же: «Нравы и образ жизни в Финляндии, как и характер ее жителей, имели в моих глазах много привлекательного». Яков Карлович сдружился с поэтом Рунебергом, стихи которого уже переводил для «Современника», он скупал старинные шведские книги, думал о том, чтобы из чиновного сословия перейти в научное... Мать беспокоилась о сыне:

— Надо тебе жениться. Днями ты пишешь в канцелярии Корфа, а ночами для журналов. Избери что-либо одно и... женись!

По возвращении из «Страны Суоми» Яков Карлович навестил Плетнева, почти радостный, он сообщил, что в Александровском университете Гельсингфорса освобождается кафедра российской словесности и истории... Петр Александрович предупредил:

— Ваша радость понятна! Но здесь вы уже в звании экспедитора, то бишь столоначальника, и кусок хлеба вам обеспечен. — Плетнев давал уроки русского языка в семье императора и обещал перед ним замолвить словечко о Гроте. — А что вы держите столь бережно? — любопытствовал он.

Яков Карлович развернул сверток с таким бережением, с каким богатый скряга развязывает узел, скрывающий бриллиант, с каким нищий разматывает тряпицу с последним куском хлеба:

— Это... «К а л е в а л а!»! Языческий кладезь финской народной мудрости, великий эпос Страны Суоми, а мы, русские, должны знать руны своих соседей, как знаем былины об Илье Муромце и Елене Прекрасной... Простите, я плачу. Плачу от восторга!

Хлопоты П.А. Плетнева и В.А. Жуковского увенчались успехом, и 3 апреля 1841 года Николай I лично подписал указ о назначении Грота профессором в Гельсингфорс:

— Жаль, что от Корфа улизнул чиновник с таким превосходным почерком, но и сам Грот еще пожалеет...

Гроту было тогда всего 29 лет. Весть о том, что он покидает столицу, где только начиналась его слава писателя, вызвала в обществе недоумение, иные сочли его ненормальным:

— Так ли уж нужны его лекции этим чухонцам! Просто он сумасброд, лезущий в воду, ранее не спросив броду...

Но мебель из квартиры Гротов уже плыла морем под парусами, мать тоже собиралась в Гельсингфорс, чтобы не оставлять без присмотра сына-холостяка. Осенью Грот уже приступил к чтению лекций. Правда, поначалу студенты, шведы и финны, устроили ему обструкцию, ибо шведы не забывали о войне 1809 года, а финны уже тогда мечтали о самостоятельности. Но Яков Карлович вел себя столь деликатно, столь хорошо владел шведским и столь быстро освоил финский язык, а лекции его были так увлекательны, что студенты смирились, а профессора предложили Гроту выпить с ними на брудершафт. С этого времени звезда Грота, поэта, историка и филолога, разгоралась над Скандинавией все ярче, и отблеск ее отражался в России, где русские с упоением читали его труды, уводящие их из глуши Тамбова или Сызрани в далекие страны, где сверкают алмазные озера, где с заснеженных гор мчатся за оленями неутомимые лыжники...

Яков Карлович работал так много, что стала побаливать правая рука; он составлял русско-шведский словарь, а для финнов учебник русского языка; теперь он изучал славянские наречия, очень скоро заговорив на польском и чешском. «Женись», — убеждала его матушка, вязавшая чулки долгими зимними вечерами.

— Ах, мамочка! — отвечал Грот. — Я бы и женился, да где взять время, чтобы ухаживать за невестой, танцевать с нею и притворяться любезным кавалером... Не умею!

Посетив древнюю Упсалу в Швеции и остров Валаам, Грот уже мечтал о знакомстве с Европою, но Николай I не отпустил его:

— Пусть сидит дома! — было им сказано. — Там, в Европе, тоже не все медом намазано, а великая Россия — самая богатая и счастливая страна в мире... Одни идиоты этого не понимают!

В это время, столь плодотворное, Яков Карлович впервые прикоснулся к Державину и Фонвизину, их великие тени встали перед ним — как живые... Грот погрузился в уныние.

— Я все-таки нуждаюсь в России, — сказал он матери. — Только на родине оживут эти скорбные призраки... сих великих!

В один из приездов в Петербург он навестил Николашу Семенова, переводившего Адама Мицкевича, познакомился и с его отцом, Петром Николаевичем, офицером Измайловской лейб-гвардии.

— Автор «Митюхи Валдайского», — браво представился тот...

Грот раскланялся, поговорил с его вторым сыном Петром (будущим графом Семеновым-Тянь-Шанским) о голландской живописи.

— У нас сегодня гости? — вдруг послышалось за спиной.

— Ж е н и х! — захохотал автор «Митюхи Валдайского»...

Милая и умная Наташа Семенова стала женою Грота, и весною 1850 года молодожены уплыли в Гельсингфорс. Каролина Ивановна даже плакала — от счастья. Семейная жизнь быстро наладилась: Яков Карлович, как профессор, получал в год 2500 рублей, они снимали отдельный дом из десяти комнат с садом и конюшней, завели экипаж и лошадей. Каково же было удивление Грота, когда Наташа поднесла мужу 1 рубль 40 копеек.

— Что это значит? — удивился Яков Карлович.

— Прости, но я... я тоже писательница. Это мой первый гонорар. Я пишу для детей, благо у нас скоро появятся дети...

Рождение сыновей совпало с тем временем, когда Яков Карлович увлекся познанием греческого и древнейшего санскрита. Первенец

Николаша родился в 1852 году (будущий философ и психолог), через год родился второй сынок Костя (в будущем филантроп, создатель училищ для слепых и глухонемых). Яков Карлович говорил жене, что Гаврила Державин измучил его загадками своей бурной жизни, но ехать в Россию, дабы поднять его прах из архивной пылищи, сейчас нельзя, ибо матушка болеет:

— Ей, боюсь, не вынести дальней дороги, а у меня... у меня, Наташа, рука болит все сильнее... правая! — сказал он.

Каролина Ивановна умерла, а Плетнев из Петербурга извещал Грота, что царь подыскивает учителя русского языка для своего наследника, он предложил именно Грота, но... «ждите известий из Лицея!» — заключал Петр Александрович. Царскосельский лицей вскоре предложил Якову Карловичу кафедру российской словесности, и в 1853 году семья Гротов рассталась с Гельсингфорсом.

Наталья Петровна была из рязанских дворян, и Гроты приобрели маленькое имение на любимой ею Рязанщине; здесь Яков Карлович своими руками насадил рощу деревьев, в будущем ставшую парком, он устроил школу для крестьянских детей, нанял за свой счет учителей, покупал для школы книги и учебники, он, будущий академик, никогда не гнушался давать детишкам уроки по правописанию, рассказывал им сказки. А рука все немеет! Желая как-то оживить ее, Грот пилил с мужиками дрова, усиленно колот их топором на плашке.

— Все равно немеет, — сообщал он жене.

— Надо обратиться к хорошим врачам.

— А ну их! — отмахивался Грот.

Наталья Петровна застала мужа за странным занятием: левой рукой муж исписывал бумагу простейшими знаками — о, —, !, =, +. Теряя правую руку, Грот уже начал готовить к труду левую, и вскоре он левой рукой писал так же скоро и красиво, как смолоду писалось ему правой... Человек живет для постоянного труда — и работа ни-

когда не должна прекращаться. В этом он был убежден, предрекая себе в стихах:

Я перед ангелом благим
Добру и правде обещаю
Всегда служить пером моим...

Тогда еще не было железной дороги до Рязани, ее провели позже, и Грот любил вспоминать, что первые поезда были народу в диковинку. Сразу за Москвой, слышав гудок паровоза, из субботних бань выбегали голышом мужики и бабы, крестясь на чудо-юдо, и Грот смеялся, припомнив один случай:

«Мост через Оку не имел перил, и вот помню, что одна барыня, ничего из окна, кроме реки и неба, не видя, вдруг с ужасом заорала: “Карау-ул! Мы едем по ничему...”»

После Крымской кампании Яков Карлович был избран в члены Академии наук по отделению русского языка и словесности, и тогда же он впервые заговорил о неразберихе в русской грамматике, считая, что слова должны бы писаться так, как они произносятся. Так впервые в России возник вопрос о фонетическом правописании по методу Грота, отголоски которого дошли до наших времен (вспомните споры — как писать «заяц» или «заец?»)...

Почти десять лет жизни были отданы им чтению лекций в Лицее и в царской семье, но этот период жизни Грот не считал счастливым. Его давно угнетала нехватка державинских материалов, что тормозили работу над многотомным собранием его сочинений. Став академиком, Грот обратился ко всем россиянам с призывом помочь ему, и скоро в квартире Грота было не повернуться от изобилия державинских бумаг, возник небывалый домашний архив; Грот каждое лето объезжал те места, где бывал Державин, перед взором Якова Карловича пронеслась вся

Россия — от Казани, машущей ему полами татарских халатов, до унылой Званки на берегах Волхова, где поэт наслаждался последней любовью. Но однажды Наталья Петровна застала мужа в растерянности:

— Что с тобой, Яшенька, друг ты мой?

Грот чуть не плакал, он не мог отыскать ту маленькую штрипку, что поднял когда-то с полу в Лицее, оторванную от штанов Пушкина и отброшенную поэтом.

— Ах, Наташа! Так всегда и бывает: что хорошо спрячешь, потом днем с огнем не найти...

Об этой пустячной штрипке он помянул неспроста. Еще в 1861 году на юбилейном вечере лицестов было решено поставить памятник поэту в Царском Селе, стали собирать деньги для его сооружения, но потом, как это и случается на святой Руси, «поговорили и забыли». Правда, Грот не забыл своих юбилейных стихов, которыми украсил печальное застолье стариков-лицестов:

Живем мы, дюжинные люди,
А гения давно уж нет,
И рвется ныне вздох из груди
Невольно по тебе, поэт.
Как скромный пир наш был бы громок,
Когда б тебя в своем дому
Сегодня встретил твой потомок
И руку б ты пожал ему...

Жене своей Яков Карлович не раз говорил:

— Ты, Наташенька, извещена о круге моих друзей — Державин и Хемницер, Ломоносов и Сумароков, наконец, и великая Екатерина тоже в моих приятельницах. Но чаще я вспоминаю о Пушкине... Ведь он мог бы еще жить среди нас, и часто мне думается — каков он был бы сегодня, в свои преклонные годы? Наверное, седой. Возможно, и располневший. Гулял бы с внучками по Невскому... Нет! — сказал Грот. — Далее с памятником ждать нельзя: я решил разбудить спя-

щих ударом в колокол. Постыдно, что усердие почитателей поэта вдруг охладело...

19 октября 1871 года — по инициативе Грота — образовался особый комитет, в него вошли немало стариков-лицеистов, сообща решили ставить памятник поэту не в Царском Селе, как было задумано ранее, и даже не в Петербурге, а именно в Москве (так и появился в первопрестольной опекушинский памятник, без которого мы уже не мыслим столичного пейзажа). Денег от народа, собранных по подписке, оказалось больше, чем надо, и Грот эти «лишние» деньги употребил для выдачи премий за лучшие литературные произведения. Мало того, что Яков Карлович оставил нам и чудесную книгу «Пушкин, его лицейские наставники и товарищи». Честно скажу: сколько уж я копался в лавках букинистов, но этой книги никогда в руках не держал.

А теперь, читатель, позволю тебе немного и посмеяться.

Чистокровный немец по отцу и матери, Яков Карлович Грот вел в Академии наук затяжную войну с «немецким засильем». Странно, не правда ли? При графе Уварове и при графе Литке, оседлавшем академического скакуна, в Академии воцарилось «поклонение германскому ученому миру, — здесь я цитирую самого Грота. — Граф Уваров был ослеплен блеском западной цивилизации... он целиком подчинился влиянию неперменного секретаря (Академии) Фусса и вообще немецких академиков. Русских ученых и труды их он мало ценил... Граф Литке так же, как и граф Уваров, был горячим почитателем германской науки... По какому-то непонятному предубеждению он считал занятия русской и славянской филологией менее почтенными, чем занятия какою бы то ни было другою отраслью языкознания...» — так писал Грот.

— Каково же мне, — говорил он любимой жене, — с моими любимыми Державиным и Сумароковым противостоят этим твердолобым «немцам», для которых русское прошлое и плевка не стоит?

Почему в простом народе, в неграмотных бабах и темных мужиках, я встречаю цельное и осмысленное понимание российского патриотизма, — а эти... эти... видят в русском народе только рабов, видят в деревнях только квас да лапти!

Подвигом жизни Якова Карловича стало издание трудов Державина — вся эпоха его жития-бытия вдруг предстала в девяти гигантских томах, а последний том (тысяча страниц) стал заключительным аккордом, определившим величие времени, в котором поэт жил, страдал, любил и ненавидел. Впритык к этим томам Грот поставил свое исследование о Пугачевском бунте, а изданием бумаг Екатерины II сделал завершающий мазок на великолепном полотне ее царствования... От жены он ничего не скрывал.

— Что бы там ни болтали о множестве ее фаворитов, но, отбросив альковные тайны, перед нами вырастает могучая фигура гениальной женщины, которая, будучи немкой, лучше иных русских понимала цели и задачи великого Российского государства...

Конечно, он, как скандинавист, не обошел своим вниманием и отношения Екатерины со шведским королем Густавом, Грот поведал русскому читателю и о судьбе Котошихина, которого зловещая судьба возвела на эшафот в Стокгольме. 1887 год стал для Грота значительным: в древней Упсале шведы отмечали 400-летие своего прославленного университета, и Яков Карлович на этом празднестве представлял в Упсале русскую науку. Съехалось немало гостей — ученых из всех стран Европы, но каково же было удивление многих, когда русский депутат произнес здравицу на добротном шведском языке, тут же переведя ее на божественную латынь, повторил сказанное на немецком, английском и французском. Шведский король Оскар II, сам историк и писатель, пригласил Грота в королевский дворец — поужинать.

— Не вы ли тот Грот, что перевел Эйленшлегера?

— Я, Ваше Величество.

— Тегнера не вы ли перевели на русский язык?

— Я, Ваше Величество.

— Выпьем! — сказал король. — У меня много русских друзей, а вас я хотел бы видеть почетным доктором в Упсале...

Близилась старость. Яков Карлович мало ел, зато много трудился, он был высок и худощав, при ходьбе усиленно взмахивал тростью, перед дамами издали вскидывал цилиндр и почтительно кланялся, широким жестом одаривал пятаками швейцара, отворявшего перед ним двери в петербургские салоны, он любил анекдоты, но только те, в коих блистало остроумие персон века минувшего. Яков Карлович удивлял на улице прохожих своей шотландской бородкой, делавшей его похожим на шкипера парусных времен, которые выбривали лишь подбородок...

— Кто этот чужак? — спрашивали прохожие.

— Этот? Стыдно не знать вице-президента Академии наук...

Грот стал им за четыре года до смерти.

Русская наука высоко ценила трудолюбие Грота:

Вы — утром вышли на работу,

А мы — в двенадцатом часу...

Нельзя сказать, читатель, чтобы Якова Карловича у нас совсем уж забыли; он благополучно уместился в томах советских энциклопедий, но русские историки упоминают о нем от случая к случаю (чаще, когда идет речь об опекушинском памятнике Пушкину). Как это ни странно, о нем лучше помнят эстонские ученые; я, например, с удовольствием ознакомился с монографиями Эйно Карху, который не скрывал больших заслуг Грота в старом сочетании двух соседствующих культур — финской и русской, русской и скандинавской.

Это мне понятно. Но почему же мы, россияне, не издаем почтенных трудов Якова Карловича?..

Начинаю печальную страницу. Грот начал болеть с 1891 года, его часто знобило, он уже не сам просыпался, преисполненный энергии, а его будили домашние.

— Обычная инфлюэнция, — говорил престарелый доктор Здекауэр. — Зачем лечиться? Он же совсем молодой человек...

Наталья Петровна все-таки уговорила мужа выехать для лечения за границу, и это не стоило ей большого труда, ибо Яков Карлович боялся своего предстоящего юбилея:

— Осенью стукнет шестьдесят лет моих трудов, а знаешь, Наташенька, что говорят в таких случаях гости, которых я должен кормить и поить на банкете... Стоит ли мне сидеть, как дурак, и слушать о себе всякую похвальную ерунду? Лучше скрыться!

Грот вступал в последний год своей жизни.

Весною 1893 года он сам хотел бы пораньше уехать в рязанскую деревню, но умерло несколько академиков, и он, человек долга, считал для себя нужным остаться в столице, чтобы позаботиться о пенсиях осиротевших семей. Грот выезжал лишь в Царское Село ради прогулок в парке, и однажды, посетив старый Лицей, он высказал перед женою свое отношение к критикам и завистникам, никак не отделяя зависть от критики, и Наталья Петровна, словно предчувствуя скорый его конец, тут же записала мужние слова, которые я привожу дословно:

— Скажи, — говорил ей Грот, — отчего у нас на Руси никакой серьезный труд не встречают с благоволением и не вызывает такой же серьезной и беспристрастной критики, как в других странах? Отчего у нас в России намеренно умалчивают о достоинствах труда, всегда стараясь выискать в них мелкие недостатки, неразлучные со всяким человеческим трудом, и почему эти мелкие досадные промахи критики выставляют наружу с каким-то особым, торжествую-

щим злорадством?.. Кто же из нас может похвалиться абсолютным совершенством? Но, указывая на недостатки, нельзя замалчивать и явных достоинств...

Во время этой же прогулки он сказал жене:

— Напишу еще листа три, доведу до конца корректуры, и пора подумать об отдыхе... Наташа, не снять ли нам дачу?

24 мая Грот выглядел бодро, но потом его опять стало знобить. Наталья Петровна поставила ему градусник — он показал сорок градусов. Пришла замужняя дочь, и Грот сказал ей:

— Мама-то как волнуется! Но все пройдет. Как всегда...

Наступил вечер. Жена поставила ему горчичники, чтобы оттянуть жар. Грот, как писала она, «лежал спокойно, держа мою руку в своей, и нежно глядел на меня... На вопрос мой, не болит ли у него что, он отвечал, что ему лучше. Около восьми часов вечера он вдруг быстро приподнялся с подушек и крепко сжал мою руку — как бы от внезапной боли:

— Спасибо тебе за все... спасибо... спаси...

После чего он тихо опустился на подушки и продолжал смотреть на меня своими кроткими глазами, пока не закрыл их навеки!»

Это случилось 24 мая 1893 года — труд жизни был завершен.

«Да будет же память его незабвенна!» — этими словами жена заканчивала свой рассказ, а мне стало печально: почему ошибки человека у нас высекаются в камне, а его добрые дела пишутся прутиком на зыбком песке?

«Не говори с тоской: их нет...»

Я писал роман «Из тупика» еще молодым, писал слишком горячо и страстно, наверное, потому он мне дорог и поныне. Конечно, после его публикации начался неизбежный прилив читательских писем, к которым со временем привыкаешь, как

человек, живущий на берегу моря, привыкает к плеску волн... Сразу же напомним: ледокол «Святогор» — будущий славный «Красин» — когда-то плавал под флагом военного флота. Первая мировая война заблокировала наши южные порты, а поиски новых коммуникаций с Европой заставили русских моряков осваивать приполярные маршруты.

Штурманом же «Святогора» был лейтенант Николай Александрович фон Дрейер — один из героев моего романа «Из тупика». В редкой книге «Памяти борцов революции», выпущенной еще при жизни В.И. Ленина, об этом человеке сказано следующее: порвав с кастовостью своего дворянского класса, Н.А. фон Дрейер целиком отдал себя делу народа и служению революции, за что в 1919 году и был злодейски умерщвлен в Архангельске белогвардейцами...

Неожиданно я получил письмо из тихой Псковской провинции, славной историческими памятниками. Мне писала жившая на покое в Печорах пенсионерка Елена Александровна Чижова, благодарившая меня за то, что я в романе «Из тупика» не забыл почтить добрым словом ее брата Николая Александровича. Из письма выяснилось, что образование она получила в Смольном институте благородных девиц.

Помнится, я даже вздрогнул от удивления:

— Не может быть! Смолянка? Неужели?

Я сразу повернулся к своей персональной картотеке. Рука привычно извлекла из ящика пачку карточек, заведенных на представителей дворянской фамилии фон Дрейер, живших в нашей стране до революции. Каково же было мое изумление, когда мне попалась карточка, уже заполненная на мою читательницу, мою же современницу! — которую я учитывал лишь в истории. Вот как бывает: думаешь, что человек давно растворился в былом, а он, оказывается, здесь, недалеко от тебя: мало того, этот человек, учтенный тобою в прошлом времени, еще и твой читатель. Карточка указывала: Елена

Александровна фон Дрейер, дочь подполковника и его жены Екатерины Николаевны, урожденной Чаплиной, выпущена из Смольного института в 1912 году.

Давно увлеченный русской генеалогией, я за этой скупой карточкой уже разглядел ее родство с московским врачом М.Я. Мудровым и знаменитым математиком Н.И. Лобачевским...

Далее нашу переписку можно уподобить диалогу:

— Генриетта фон Дейер, — спрашивал я, — в конце царствования Екатерины II проживала в Петербурге, давая девицам уроки на арфе... Не ваша ли родственница?

— Очевидно, — отвечала мне Елена Александровна Чицова, — эта музыкантша была бабкою моего отца.

— Ваш отец служил в гарнизоне Оренбурга?

— Не помню. Он умер еще в конце прошлого столетия.

Я опять роюсь в картотеке, проверяя себя:

— А ваша матушка Екатерина Николаевна, кажется, была и во втором браке... Простите, за кем?

— За столичным врачом Николаем Гамалея, который умер в Ленинграде. Мама пережила его почти на двадцать лет и погибла в невыносимых условиях ленинградской блокады.

— Возможно, — напомнил я, — вам известно, что в Париже на конкурсе красоты получила почетный титул «Мисс Россия 1936 года» некая Ирина фон Дрейер... Вы знаете о ней?

— К этой ветви Дрейеров, — следовал ответ из Печор, — мы не имели близкого отношения. Но я слышала, что «Мисс Россия 1936 года» стала женою Дрейфуса, очевидно, потомка того самого Дрейфуса, что так знаменит своим процессом...

Наш письменный «диалог» продлился до осени 1973 года.

Издавна укоренилось представление о смолянках как о лилейных созданиях, взращенных в тепличных условиях закрытых дортуаров, а в обыденной жизни ни к чему не годных! Между тем если просле-

дить жизненные пути смолянок, то среди них сыщем немало писательниц и общественниц, профессоров и ученых, одна из смолянок в прошлом веке даже погибла во время опытов со взрывчатыми веществами... Кто же такая Елена Александровна Дрейер, в браке Чижова?

Сразу даю документальный ответ:

она старший лейтенант Советской армии,

она кавалер трех боевых орденов...

Странно ли?

Нет, не странно, если эта женщина была сестрой милосердия еще в Первую мировую войну, а в грозном 1941 году снова пошла на фронт. На этот раз с мужем-ополченцем и сыном Ярославом, молодым актером. Муж был убит в бою, сын погиб в штыковой атаке под стенами Ленинграда. «Это был храбрый юноша. Мать сама вынесла его с поля боя и похоронила по-солдатски, в общей могиле... За годы войны старшая медсестра Е.А. Чижова спасла сотни солдатских жизней». Так было написано в газете «Ленинградская правда» от 9 марта 1945 года, когда оставались считанные дни до великого Дня Победы. В эти дни старший лейтенант Е.А. Чижова шагала по земле Восточной Пруссии, и газета опубликовала ее письмо: «Пруссия горит... она горит, как когда-то горели Колпино, Пушкино и Красный Бор. Я в стране, которая убила моего сына. Но я пришла сюда не мстить, а помогать моей армии...» Фронтовой корреспондент Дм. Остров писал тогда же: «Об этой женщине тепло вспоминают сотни бойцов и командиров, от души желая ей долгой и хорошей жизни. Три ее ордена свидетельствуют о бесстрашном сердце русской женщины, идущей с санитарною сумкой по полям боев в Восточной Пруссии...»

Елена Александровна завершила свой ратный путь в боях за Вену и Прагу! Война закончилась, и она вернулась в родной город на Неве. Увы, ее квартира была разгромлена прямым попаданием вражеского снаряда. Ничего от прошлого не осталось, а на стене...

На стене, чудом уцелевший, хотя и пораненный осколком, висел маленький портрет ребенка. Нет, это не был портрет ее сына! Смутные семейные предания прошлого связывали этот портрет с именем поэта Пушкина — будто это именно он изображен на миниатюре, еще младенцем.

В 1949 году В.А. Чижова решила отнести миниатюру в Пушкинский Дом, «думая, — как писала она мне, — что это будет им интересно». Естественно, там ее сразу же спросили:

— Чем вы можете доказать, что этот ребенок — Пушкин?

Елена Александровна вспомнила семейную легенду:

— Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта, подарила портрет Софье Матвеевне Мудровой, дочери врача, который был домашним доктором родителей поэта. Дочь Мудрова была выдана за Великопольского, мота и картежника, ныне всеми забытого поэта, памятного, пожалуй, одной лишь строчкой: «Глава “Онегина” вторая съезжала скромно на тузе». Дочь же Великопольских Надежда Ивановна стала женою Николая Андреевича Чаплина, моего деда. Мать рассказывала, что эта миниатюра памятна ей с детства, как самое драгоценное в нашей семье. Детям даже не позволяли ее касаться...

Мнение авторитетных специалистов из Пушкинского Дома было таково: семейная версия весьма сомнительна, и потому детская миниатюра была ими отвергнута. Через год после этого случая в Ленинграде гастролировал Московский театр имени Ермоловой, который поставил пьесу А. Глобы «Пушкин». В заглавной роли блистательно выступил актер В.С. Якут, игравший ярко и вдохновенно... В антракте Елена Александровна подарила артисту эту миниатюру:

— Если пушкинисты не верят, что это Пушкин, то вы-то поверьте мне, что это он... еще маленький!

В.С. Якут запомнил Чижову такой: высокая, статная и красивая женщина. Правда, артиста удивили ее слова:

— Дарю вам этот портрет поэта с одним обязательным условием — нигде и никогда не публиковать его.

Если бы актер тогда же спросил ее — почему такое жестокое условие, Елена Александровна ответила бы: «Меня очень обидели невниманием к моим словам. Я не могу не верить в то, что это Пушкин, но и не могу доказать то, что стало нашей семейной легендой». Много лет спустя Елена Александровна писала мне, что артист В.С. Якут, «когда открывался Музей (Пушкина) в Москве, спросил моего разрешения сдать портрет в Музей, чему я была очень рада, а потом, когда многожды упоминали меня в разных случаях, я очень переживала». Понять ее переживания можно...

Но много лет спустя я получил письмо от ленинградца Олега Владимировича Гумберто, мать которого, Нелли Бруновна Армфельт, тоже смолянка, была подругой юности Елены Александровны. Армфельт не раз видела эту миниатюру, и вот что писал мне О.В. Гумберто: «Скажу честно, что у Елены Александровны, как, впрочем, и у моей мамы, имелись определенные сомнения по поводу того, кто именно изображен на миниатюре: Пушкин или нет?» Теперь об этой миниатюре сложилась целая литература, и мне, автору, лишь остается присоединиться к авторитетному мнению пушкинистов, решивших этот вопрос не в пользу поэта. Конечно, всегда жаль расставаться с красивой легендой, но ради соблюдения истины мы вынуждены с нею проститься. Одно хорошо: споры вокруг этой миниатюры воскресили из забвения образы других людей, тоже достойных нашей памяти, — Мудровых, Великопольских, Чаплиных и, наконец, Дрейеров...

Вернусь к изложению своей истории.

Здесь уместно сказать, что Елена Александровна всю жизнь оставалась религиозной, и, покинув Ленинград, она переселилась в Печоры, чтобы провести старость близ древней обители. Она

никому не говорила о своем прошлом, никто не догадывался, что она — офицер в отставке, трижды награжденная за боевые заслуги. Одинокая и доброжелательная ко всему живому, она подбирала на улицах бездомных щенков и кошек, лечила их, кормила, ухаживала... На память она прислала мне фотографию тех лет. Старушка, каких немало на Руси, сидит в кресле, поглощенная чтением, а на столе подле нее — портрет сына Ярослава Игоревича, для нее, для матери, вечно молодого... В очередном письме я рискнул задать Е.А. Чижовой мучительный для меня вопрос:

— Простите, что тревожу вашу память, — примерно так писал я ей в Печоры. — Но у вашей матери был брат Ермолай Николаевич Чаплин, ведавший при царе почтами в Петербурге. У него был сын и ваш двоюродный брат Георгий Ермолаевич Чаплин, который в чине капитана второго ранга служил в Архангельске у белых как раз в ту пору, когда был казнен ваш родной брат Николай... Об этом кавторанге Чаплине я уже писал в своем романе «Из тупика». Не могли бы вы досказать мне всю правду в отношениях этих кузенов?

Ответ был какой-то неопределенный:

— Мама всегда избегала разговоров на эту тему, но я чувствую, что в Архангельске произошло что-то очень страшное...

Наконец из Печор пришло последнее письмо:

«С великим прискорбием сообщаю Вам, что наша любимая соседка Чижова Елена Александровна умерла 20/X 1973 г. Хоронили ее 23/X. — П. Я. ИЗОТОВ».

Вслед за этим горестным известием я получил письмо от родственника покойной, московского хирурга Олега Чижова, который сообщил мне, что, приехав на похороны, был крайне удивлен, обнаружив в библиотеке Елены Александровны мои книги с дарствен-

ными надписями... Он писал: «Похоронили мы тетю на Печорском кладбище при большом стечении народа, после соблюдения всех православных обрядов. А впереди гроба несли ее боевые ордена и медали, что вызвало немалое удивление всех печорских жителей». Я невольно загрустил.

Мне казалось, что на этом история и закончилась.

Правда, где-то очень далеко, в ледяных полях Арктики, еще блуждал стареющий ледокол «Красин», на мостике которого несли вахту молодые капитаны — наследники того штурмана, который в давние времена прокладывал курс «Святогора».

И тут история неожиданно продолжилась.

Неожиданно для меня и — трагически.

Мне известно, что штурман «Святогора» лейтенант Николай Дрейер женился на уроженке Архангельска — Анне Северьяновне Кыркаловой, от которой имел дочь Веру, родившуюся 10 сентября 1918 года; их следы навсегда затерялись в Норвегии. Елена Александровна сообщала мне: «Последние сведения о них моя мама имела ок. 30-х гг., потом переписка прекратилась... Стоит ли вам копать?» Я догадывался, что мутная волна белой эмиграции вынесла на чужой берег не только матерых белогвардейцев вроде кавторанга Г.Е. Чаплина, она унесла в своем потоке многих беспомощных и растерянных людей.

Признаюсь, я не ожидал, что передо мною на столе ляжет фотокопия письма из Праги. Автор этого письма — старик из эмигрантов Н. фон Дрейер, давно живущий по советскому паспорту. Судя по тому, что он хорошо помнит рождественские каникулы 1907 года, а письмо им писано в 1974 году, можно считать его возраст преклонным. Почти всю жизнь вращаясь среди эмигрантов, он много знал, много слышал, многое сохранил в памяти. И здесь я убедился,

что всей правды о своем герое, большевике Николае Дрейере, я при написании романа «Из тупика» еще не ведал.

Оказывается, штурман Дрейер, заболевший в Архангельске тифом, был помещен в гарнизонный госпиталь. Город, весь во власти террора, гремел выстрелами — убивали... И тогда во дворе госпиталя появился двоюродный брат штурмана — капитан второго ранга Георгий Ермолаевич Чаплин.

— Тащите его во двор! — повелел он.

Николай Дрейер был вынесен на носилках из больничной палаты, *«и брат расстрелял брата... тут же, на дворе! Пражское письмо заверяет меня: этот факт остается фактом».*

Осталось сказать последнее. Память о лейтенанте Н.А. Дрейере была слишком дорога жителям Архангельска, и после изгнания с Севера интервентов ледокол «Иван Сусанин» получил новое имя — «Лейтенант Дрейер»! В самые трудные годы советской власти он охранял наши полярные рубежи, а в 1922 году погиб в Чешской губе, затертый жестокими льдами...

Как это и бывает в нашей слишком бурной жизни, мы все понемногу забыли штурмана Николая Дрейера.

У нас в стране часто публиковали загадочную миниатюру с изображением хилого ребенка — как самое первое изображение великого поэта, а мне каждый раз, когда я видел ее, вспоминалась добрая русская женщина, шагающая в солдатской шинели, вспоминался ее брат, герой моего давнего романа, и ледокол «Лейтенант Дрейер», ломающий льды в тех самых краях, где теперь их легко сокрушают новейшие атомоходы...

Будем же уважать наше прошлое, ибо без него все мы — как деревья без корней. Будем чтить священную память людей из былого времени — с их нелегкой и сложной судьбой.

Как сказано у нашего лирика В.А. Жуковского:

Не говори с тоской: и х н е т,
Но с благодарностью: б ы л и.

Полезнее всего — запретить!

Смею думать, русская цензура убила писателей гораздо больше, нежели их пало на дуэлях или в сражениях. Тема подцензурного угнетения писателя дураком чиновником всегда близка мне, и я дословно помню признание Салтыкова-Щедрина, столь обожаемого мною: «Чего со мной не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный...»

«И заметьте себе, — подхватил Стасов в статье о Модесте Мурсоргском, — урезыванье никогда не распускает свою безобразную лапу над вещами плохими, посредственными. О нет! Урезывателю подавай все только самые талантливые, самые крупные, самые оригинальные куски — только над ними ему любо насытить свою кастраторскую ярость. Ему надо здоровое, чудесное, животрепещущее мясо, полное силы и бьющей крови!»

Вот как живописно отзывались великие о цензуре...

Не желая залезать в непролазные дебри прошлого, напомним, что в 1794 году рукою палача сожгли «Юлия Цезаря» Шекспира (в переводе Карамзина), а при Павле I был запрещен даже «Гулливер» Дж. Свифта. Пушкин тоже немало страдал от засилья цензуры, и, думаю, начать придется именно с него, хотя далее речь пойдет совсем о другом человеке...

27 мая 1835 года поэт представлялся великой княгине Елене Павловне, женщине умной и образованной. Об этом он извещал жену: «Я поехал к ее высочеству на Каменный остров в том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчастную роль, и досаду. Со мною вместе представлялся цензор Красовский...»

Великая княгиня сказала этому живоглоту:

— Вероятно, вас немало утомляет обязанность читать все, что появляется среди новой литературы?

— Да, — согласился Красовский, — это занятие нелегкое, паче того, теперь нет здравого смысла в том, что пишут.

«А я стою подле него», — сообщал Пушкин жене. Но великая княгиня сама поняла несуразность подобного ответа; Пушкин в дневнике отметил, что Елена Павловна поспешила отойти от Красовского подальше, нарочно заговорив с поэтом о Пугачеве...

Я достаточно извещен, что у нас писать о цензорах не принято, но, смею надеяться, современные цензоры не обидятся, если я загляну в преисподнюю, где в поте лица трудился их достойный предтеча — Александр Иванович Красовский.

Время было под стать его мракобесию — время Николая I, о котором Герцен справедливо писал: «Николай Павлович тридцать лет держал кого-то за горло, чтобы тот не сказал чего-то...»

Чтобы не сказал лишнего, добавлю я от себя!

Грешен, люблю начинать с конца — с могилы героя.

Раскрываю второй том «Петербургского некрополя» и на 513-й странице нахожу искомого мною прохвоста. Вот он: Красовский Александр Иванович, тайный советник, председатель Комитета иностранной цензуры, 19 ноября 1857, на 77 году жизни.

Вышел он из семьи благочинной; отец его, протоиерей Иоанн, был духовным собеседником императора Павла I, служил сакелларием (смотрителем) придворной церкви; ученый священник, отец Иоанн оставил свое имя в русской этимологии, за что и попал в члены Российской академии. Отпрыск этого почтенного лингвиста, воспитанный в страхе божием, сначала подвизался в амплуа переводчика, затем был библиотекарем, а в 1821 году заступил на пост цензора и с этой стези уже не свернул, обретя славу самого лютейшего скорпиона. Сначала он служил в цензуре внутренней, досаждая

писателям придирками такого рода, которые служили пищей для забавных анекдотов.

Например, Дашков жаловался стихотворцу Дмитриеву, что «у Красовского всякая вина виновата: самому Агамемнону в Илиаде (Гомера) запрещается говорить, что Клитемнестра вышла за него замуж будучи девой...» Красовский не уступал:

— Честь и хвала девице, сумевшей в святости донести до мужа самое драгоценное на свете. Но русский читатель — это вам не Агамемнон, и он, прочтя «Илиаду», сразу пожелает разрушить непорочность своей кухарки или же прачки... Нельзя!

Какой-то поэт писал красавице: «Один твой нежный взгляд дороже для меня вниманья всей вселенной...» Красовский от любви был весьма далек, зато он узрел нечто другое:

— И не совестно вам писать, будто вы «близ нея к блаженству приучались»? Наша вселенная имеет законные власти, несущие всем нам блаженство свыше в виде указов или инструкций, а вы, сударь, желаете испытать блаженство подле своей любовницы... Так постыдитесь развращать наше общество! Нельзя.

Другой поэт датировал стихи в день Великого поста, и от этого совпадения Красовский пришел в тихий ужас:

— Ведь империя-то погибнет, ежели наши стихотворцы учнут прославлять любовные утехи в день Господень, когда каждый верно-подданный желает возноситься душою к небесам, взыска у Господа едино лишь милостей его... Нельзя!

А что тут удивляться афоризмам Красовского, если генерал Дубельт, помощник Бенкендорфа, выразил отношение к русским писателям еще более вразумительно:

— Каждый российский писатель — это хищный зверь, коего следует держать на привязи и ни под каким видом цепи не ослаблять, а то ведь, дай им волю, так они всех нас загрызут...

Теперь понятно, почему Красовский был зорок, словно ястреб, который с высоты всегда узрит даже самую малую поживу. Рукою бестрепетной он похерил крест-накрест статью о вредности грибов, а соображения его были весьма здравыми.

— Помилуйте, — доказывал он (и доказал), — как можно писать о вредности грибов, ежели грибы постная пища всех верующих, и, подрывая веру в грибки, злонамеренный автор умышленно подрывает основы народного православия... Нельзя!

С юных лет Красовский был не просто бережлив, а скуп до омерзения. Изношенную одежду и обувь не выбрасывал, а год за годом складывал в особый чулан, называя его «музеем»; туда же помещал и банные веники, безжалостно исхлестанные по чреслам до состояния голых прутьев, без единого листика. Аккуратист, он развешивал свои старые портки, галстуки и помочи обязательно в хронологическом порядке:

— Сей сюртук нашивал я в царствование блаженного Павла Первого, упокой Господь его душеньку. Сими помочами я удерживал на себе штаны в царствование благословенного Александра, а сим галстуком запечатлел счастливое восхождение на престол ныне благополучно царствующего Николая Павловича, дай ему Боженька здоровья — во веки веков...

Касаясь научно-познавательной ценности этого «музея», очевидец сообщал: «Всему имелась подробная опись, все барахло každолетно проветривалось, выколачивалось, чистилось, проверялось по описи и потом бережно укладывалось в хламохранилище камердинером Красовского — как бы директором этого “музея”, уже впавшего от нравственного влияния своего барина в полнейший идиотизм». На полках «музея» хранились бутылки с вином, которого Красовский не пил, и банки с вареньем, которого он не пробовал. Все — для гостей! На каждую бутылку или банку заводилась особая мерка, чтобы проверить честность «директора», и «горе ему,

если бывали недомерки: Красовский пилил его своей говорильней с недельным заводом...» Зато на каждой посудине было аккуратно отмечено: в таком-то году и такого-то числа из сей бутылки отпито г-ном Бухмейером полрюмки, а из этой вот банки мадам Яичкова изволила откусать две ягодки...

Веселая жизнь, читатель! Не правда ли?

Женщин Александр Иванович упорно избегал, находя в этой отрасли человечества нечто сатанинское. Кроме того, из рассказов мужей он был достаточно извещен о том, что женщины такие мерзкие твари, для которых великая мать-природа изобрела различные магазины, где они возлюбили тратить деньги, заработанные честным мужским трудом, а посему — ну их всех! И без них проживем, копеечка в копеечку, глядишь, и рубелек набежит...

Бюрократ до мозга костей, Александр Иванович устных докладов не принимал, говоря недовольно:

— Что вы тут мне балясы точите? Вы мне напишите, чтобы я бумажку в руках держал...

Очень бы хотелось посмотреть на Александра Ивановича, но, к сожалению, мне никогда не встречались его портреты. Современники же, говоря о его внешности, отметили лишь одну деталь — гигантские, как у летучей мыши, уши, расплоснутые вроде блинов, которые «взбежали вверх до самой макушки и тянулись вплоть до затылка...»

Думаю, на такие уши не каждая женщина и польстится!

11 мая 1832 года состоялся крутой взлет карьеры Красовского: его назначили председателем Комитета иностранной литературы. Русские писатели от него избавились, зато худо стало писателям иностранным. Худо, ибо — по мнению Александра Ивановича — вся западная литература являла собой «смердящее гноище, распространяющее душегубительное зловоние». В самом деле, как подумаешь о тлетворном Западе, так волосы дыбом встают — ведь один тамошний Бальзак чего стоит!

— Полезнее всего — запретить, — рассуждал Красовский...

Комитет иностранной цензуры находился в доме Фребелиуса на Средней Мещанской улице, и, когда Красовский там появился, министр народного просвещения граф Уваров (тот самый, что, по словам Пушкина, воровал казенные дрова) был вполне доволен:

— Красовский у меня — как собака, привязанная возле ворот. Только при нем я и могу почивать спокойно...

Из дома Фребелиуса слышалось рычание:

— Париж — любимое гнездилище дьявола, разве не так?

Так, миленький, так. Гони всех в шею... Чего там думать?

А думать надо. Для того и существует эта проклятая гадина литература, чтобы читатели мыслили — и так и эдак, и вкривь и вкось, наотмашь и напропалую. Всякая литература, к сожалению, порождает разные мысли. В этом главный вред от литературы, ибо она, зловредная, не умеет говорить одно и то же, а каждый писатель желает выразить собственное мнение... Следовательно, борьба с литературой начинается борьбою с писателем!

С чиновниками же в комитете легче управиться.

— Господа, — объявил Красовский, появясь в доме господина Фребелиуса, — те из вас, кои уже связаны брачными узами, могут служить и далее, но строго предупреждаю, что карьера холостых оборвется в случае их женитьбы...

— Почему так строго? — загалдели молодые чиновники, искренно желавшие влачить по земле тяжкие цепи Гименея.

Александр Иванович внятно и доходчиво объяснил:

— Семейное счастье, согласен, есть необходимое зло, которое не преследуется законом лишь ради преумножения населения. Однако женатый человек неспособен быть отличным чиновником, ибо его внимание поневоле раздвоено между службою и любовными уте-

хами. Кроме того, женатый чиновник думает не о том, как бы вести бумагопроизводство по чину, а более озабочен иным вопросом — где бы ему занять денег на женские прихоти, столь щедро представленные в лавках гостиного двора...

Любимцем его стал писарь Родэ, славный запоями и каллиграфическим почерком, убежденный холостяк, и Красовский ставил его в пример — его образец новой человеческой породы:

— Вы посмотрите на Родэ! Он работает с утра до ночи, как паровая машина, и усталости не ведает. А почему, спрашиваю я вас? Да потому, что он холост, а вечерами не возбуждает себя чтением всяких Бальзаков, напротив, он старательно вникает в премудрость Господню... Верно я говорю, Родэ?

— Справедливо изволили заметить, — отвечал тот, уже вознамерясь занять у кого-либо на очередную выпивку с плясками...

Здесь уместно добавить, что Красовский, с полного маху рубивший головы «всяким Бальзакам», оставался неучем, ибо он даже не читал европейских газет. Его подчиненные читали их, а от он... пренебрегал! Совсем уж дико и нелепо, что из множества русских газет Александр Иванович облюбовал одну лишь «Северную Пчелу» Фаддея Булгарина, который следовал указаниям Дубельта, подсказавшим ему главные темы: театр, выставки, гостиный двор, толкучка, трактиры, кондитерские лавки... — вот круг интересов, которые насыщали плоть и душу Красовского. Мало того, он завел особого писца, который день за днем переписывал всю газету Булгарина от руки. Сколько ни ломай голову, все равно не догадаться, зачем Красовскому требовался еще и рукописный экземпляр газеты.

Впрочем, я, кажется, начинаю догадываться — зачем?

Красовский, как и все бюрократы, обожал любое, пусть даже бесполезное, занятие, лишь бы создавать видимость напряжения его чиновного аппарата. При нем писанина ради писанины достигла

гомерических размеров, он и сам вязнул в бумагах, словно заблудшая скотина в болоте, но ему очень нравилось видеть себя в окружении бумаг, бумажек и бумажонок, которые усиленно переписывались, копировались, откладывались, перекладывались, нумеровались, различаясь по алфавиту и по датам... Наконец, настал великий день, когда Красовского озарило свыше.

— Стоп! — заорал он. — Отныне для красоты казеннобумагописания повелеваю употреблять разноцветные чернила. Это будет прекрасно! Чернилами красными выделять существенное, синими — объясняющее, а черными выписывать отрицательные явления в литературе этой дотла прогнившей Европы...

Система проверки иностранной литературы была оформлена Красовским в три несокрушимых раздела:

- 1) литература запрещенная,
- 2) дозволенная, но с купюрами в тексте, и
- 3) позволительная...

Однажды к нему в кабинет ворвался некий господин, исполненный благородной ярости, и развернул перед ним томик стихов Байрона, угодивший во вторую категорию.

— Полюбуйтесь на свое варварство! — возопил он, едва не плача. — Я выписал эту книгу из-за границы, а ваши цензоры вырезали из нее целую поэму... Всю — целиком!

На лице Красовского появилось умильное выражение.

— Дайте-ка этого Байрона сюда, — попросил он и, взяв книгу, вдруг стал кричать на посетителя: — Как вы смеете защищать этого крамольного автора? Почему сами не пожелали вырезать из книги богохульные страницы? Вы чиновник? Вот и прекрасно. Я обладаю правом обратиться к полиции, чтобы впредь она надзирала за вашим чтением...

Услышав такое, некий господин (да еще чиновник) схватил шля-

пу и убежал, даже оставив том Байрона на столе главного Цербера. Никакой нормальный человек не выдерживал общения с таким занудой, каким был Красовский; чиновников Комитета иностранной цензуры посторонние люди иногда спрашивали:

— Господа, да в уме ли ваш председатель?

Служить под началом Красовского могли лишь очень закаленные люди, согласные унижаться и пресмыкаться. Среди его секретарей одно время числился и Павел Савельев — археолог и лауреат Демидовской премии. Красовский как-то попрекнул его в честолюбии.

— Ошибаетесь, — с гневом возразил Савельев. — Одно уже то, что я служу под игом вашего превосходительства, есть самое яркое свидетельство тому, что я совсем лишен честолюбия...

Чиновники комитета, чтобы Красовский не стоял у них над душою, нашли верный способ, как избавляться от его высококонрастных поучений о вредности женского пола. Желая отвести Красовского, они нарочно обкладывали свои столы французскими журналами, раскрыв их на иллюстрациях с изображениями парижанок. Александр Иванович, увидев такую «мерзость», спешил отойти подальше и даже отплевывался как от пакости:

— Фу, фу, фу... Одно непотребство, и лучше бы глаза мои не видели этого! Вот до чего дошло безверие французов: девка не стыдится задрать юбки, чтобы поправить чулок, а художник тут как тут... сразу запечатлел ее непотребство! Неужто и в нашей благословенной державе экий срам заведется?

Надо же так случиться, что как раз напротив дома Фребелиуса однажды сняли квартиру две отчаянные Аспазии, которые по утрам, будучи в дезабилье, ложились грудью на подоконник и делали молодым цензорам всякие знаки, помахивая белыми ручками: мол, заходите вечерком, мы берем недорого. Красовский иногда тоже подходил к окнам, а чиновники за его спиною выразительными жестами

указывали девицам, что вот этот нетопырь горазд по женской части, денег же у него — куры не клюют. Все это имело неожиданный финал для Красовского, который однажды, выходя из комитета, был сразу же расцелован уличными красотками.

— Душечка, — щebetали они, — ежели тебя на том свете черти в ад поволокут, так ты, миленький, с ушей гореть станешь...

Александр Иванович призвал на помощь полицию, Аспазий выселили на окраины столицы, а чиновники долго еще ругались:

— Ну что за жизнь! Даже пошутить не дают...

Кстати, в доме Фребелиуса размещался не только комитет, владелец его сдавал квартиры частным и казенным съемщикам. Красовскому захотелось распространить права цензуры на все этажи дома, чтобы проследить за нравственностью жильцов, осквернявших себя общением с женщинами. Одного из жильцов он позвал к себе в кабинет, предлагая ему прочесть тоненькую брошюру, а сам куда-то удалился. Жилец, ничего худого не подозревая, раскрыл брошюрку, в которой была напечатана молитва о покаянии... Александр Иванович вернулся — с ехидной улыбочкой:

— Ну как? Прочли?

— Прочел.

— Покаялись?

— В чем? — удивился жилец казенной квартиры.

— Вы, сударь, имеете квартиру, оплачиваемую казной государя императора, которую и оскверняете гнусным прелюбодеянием.

— Что за чушь! — возмутился жилец вскакивая.

— Извольте сидеть, — выговорил Красовский. — За это время, пока вы читали молитву, я успел навестить вашу квартиру.

— И что же вы там узрели, ваше превосходительство?

— Я увидел в ваших комнатах женскую шляпу.

— Верно, — согласился жилец. — Моя служанка оставила.

— Значит, вы состоите в незаконном сожителстве.

— Неправда!

— Сушая истина, — засмеялся Красовский. — Я был в вашей спальне, где видел двухспальную кровать.

— Так и что же с того?

— А то, что двухспальная кровать есть прямое свидетельство тому, что вы завели ее ради любострастия со служанкой.

— Господи! — воскликнул жилец. — Да эта кровать давно в моей спальне, еще до того как я нанимал служанку.

— Без отговорок! Или вы изгоняете служанку, нанимая для услуг старуху, или... я вынужден обратиться к полиции.

Несчастный жилец потом спрашивал чиновников комитета:

— Господа, да здоров ли ваш председатель?

Здоров! И отправления его желудка были вполне нормальные, о чем свидетельствует дневник А.И. Красовского, преданный публичному тиснению в одном из старинных журналов. Всю сознательную жизнь он отмечал в дневнике наблюдения за погодой, высекал на скрижалях чудесные сновидения и работу своего драгоценного желудка. Александр Иванович основательно полагал, что все это пригодится для будущей картины его прилежного жития!

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать выдержки из дневника, дабы читатель уяснил для себя, что не единым хлебом жив человек... Вот, пожалуйста, читайте:

«2 января. Пасмурно, потом ясно. Оправление желудка было обыкновенное — в 11 ч. Обедал... Лег спать спокойно.

4 января. Ясно. Сон был хорош... Оправление желудка в 3 ч. пополудни — обыкновенное, без напряжения.

9 января. Пасмурно. Во сне виделся большой круг синего цвета с пятью радиусами, еще какая-то девица, временами лежавшая, потом встававшая...

13 января. Ясно. Во сне виделись министры, рассуждающие о цензурных делах. Оправление желудка порядочное.

24 января. Пасмурно. Оправление желудка в 11 ч. После обеда виделся во сне какой-то ребенок, со слезами на глазах, просивший у меня конфет.

28 января. Пасмурно. Во сне виделся гроб с телом, уже испортившимся. Оправлялся четыре раза, но не так порядочно, как всегда.

3 февраля. Во сне приходила какая-то женщина, требуя у меня денег. Не обедал, довольствуясь двумя яичками всмятку.

15 февраля. Пасмурно. Во сне виделся незнакомый дом, в котором я безуспешно искал нужник для оправления желудка...

4 марта. Ясно. Благодарю тебя, Создатель и Хранитель меня, даровавший мне провести 67 лет на этом свете и долготерпевший беззакония мои... Оправление желудка порядочное.

1 апреля. Пасмурно, ясно. Во сне виделось, как я обедал, а потом Вл. Ив. Панаев, на коленях просящий у меня прощения... Оправление желудка порядочное — в 10 ч. и в 2 ч. дня.

26 апреля. Во сне виделся государь, много говоривший о лекарствах и удостоивший меня киванием головы. Желудок расстроен.

3 мая. Дождь, потом ясно. Во сне виделась графиня Клейнмихель, за руку ведущая меня к обеденному столу...

4 мая. Ясно. Сон был хорош. Снился император Павел, приказывающий мне уйти, и выпадающий из правой десны зуб мой. Оправление желудка в 12 ч., а потом и в 2 ч.

5 мая. Дождь. Во сне виделись люди, дружно идущие в баню. Еще видел, как по Обуховскому шагает частный пристав. Обедал у коменданта Петропавловской крепости.

8 мая. Ясно. Снилось женщина, которую, по ее собственному желанию, бросали вверх, и, сделав в воздухе круг, она возвращалась невредима; еще видел ужасные портновские иглы с большими ушами у них.

17 мая. Ясно, дождь. Оправление желудка с усердием. Виделся покойный министр князь К.А. Ливен, слушавший дела о цензуре и строго указавший, чтобы я не смел улыбаться...

24 мая. Дождь, после обеда ясно. Оправление желудка сначала малое в 11 ч. и большое в 1-м ч. дня. Виделась встреча с французским королем, лишенным престола, которого я угощал на свой счет в трактире для извозчиков.

15 июня. Ясно. Во сне виделся граф С.С. Уваров, здраво рассуждающий о новом цензурном уставе, и еще слепая старуха, давно ищущая свободы. Оправление желудка было малое.

30 июня. Ясно и пасмурно. Ночью, как и вчера, слышалось громкое бурчание в животе...»

Думаю, читатель, этих выдержек с избытком хватит, чтобы сложить образ автора дневника; напомним, что был 1848 год, в Европе строились баррикады. Николай I послал войска для усмирения Венгрии, чтобы помочь Габсбургам, но все эти вопросы никак не волновали Красовского. Верный своим принципам, он в своем комитете повелел усилить строгость цензуры, а писать указал побольше, и все написанное чиновниками прочитывал с небывалым усердием, а большинство казенных бумаг велел тут же копировать — для архива.

— Да когда же он сдохнет? — перешептывались молодые чиновники, которым не разрешалось жениться. — Ведь уже тайный советник, куда уж выше? Мог бы и на покой проситься...

Чтобы ускорить блаженную кончину Красовского, чиновники стали писать как можно больше; там, где смысл укладывался в один краткий абзац, они разводили тягомотину на многих страницах. Но здоровье председателя не пошатнулось от лавин бумаг, в которых он утопал, словно крыса в подвале, и над стопами донесений бодро возвышались бледные гигантские уши...

— Надобно его развратить, — решили чиновники, приходя в отчаяние. — Может, вкусит от земных благ хоть малую толику и загуляет, как все порядочные люди... не до бумаг станется!

Как раз в это время нашелся повод для искушения. Трудюбивый писарь Родэ, страдавший запоями (но высоко ценимый Красовским за изящество почерка), сошелся с молоденькой немкой из дома терпимости. Родэ влюбился в нее, получив от Красовского дозволение на брак лишь после того, как принял православие и ежегодно заучивал наизусть целую главу из Библии.

Свадьбу решили справлять в том же публичном доме, но сразу возник вопрос: как залучить Красовского в вертеп? Думали недолго — и придумали. Невеста за червонец отыскала «благородного отца», чтобы «экселенц» подтвердил благородное происхождение его «дочери». Красный фонарь над крыльцом, конечно, убрали, а салон украсили белым роялем. Для искушения Александра Ивановича избрали самую могучую деву Дуньку Косоротую, знаменитую сверхизобилием мясной плоти. Дунька пожелала на свадьбе именоваться «графиней Мантейфель», ибо она еще не забыла страстной любви корнета с такой же фамилией, который, разгулявшись, выбрасывал ее из окна вместе с мебелью...

Красовский на свадьбу явился, и «экселенц», ангажированный до утра за червонец, по-немецки заверил гостя в подлинном благородстве невесты. Красовский играл роль посаженного отца, конечно же никак не догадываясь, куда он попал и кто его окружает. «Графиня Мантейфель» бдительно опекала высокого гостя, и временами чиновникам казалось, что сердце их начальника сейчас непременно дрогнет, после чего Дунька Косоротая сопроводит его в отдельный кабинет. Но... увы! Никакие соблазны в виде множества пудов груди и бедер не разгорячили Красовского, и, вернувшись со свадьбы, он, как водится, зарегистрировал в дневнике отличную работу своего желудка...

А ведь хитрущий был человек! Явное порождение той эпохи, когда требовалось не рассуждать, а лишь повиноваться, Красовский всей своей полусогнутой фигурой выражал униженное раболепие

перед вышестоящими, а беспардонное ханжество стало для него вроде ходулей, на которых он ловко передвигался по ступеням карьеры. Сановная знать в те времена имела свои (домашние) церкви, и Красовский смолоду втирался в общество аристократии, выражая перед сановниками империи свое богоугодное рвение. Глядишь, и его заметили. А заметив, и отличили...

Правда, революция 1848 года в Европе доставила ему немало хлопот, тоже способствуя его возвышению. Ясно, что вся крамола, уже проверенная на таможне, беспощадно резалась, уничтожалась в «читальне» цензурного комитета, но однажды Красовского вдруг осенило:

— Н о т ы! — истошно завопил он. — Мы совсем забыли о нотах... Откуда мы знаем, что станут думать в публике, слушая музыку, разращенную революцией!

Все примолкли. Один только нетрезвый Родэ заметил:

— Ноты мы читать не умеем, и тут без рояля и оркестра не обойтись. И дирижера надобно, чтобы палкой махал. Только вот беда — мы играть не умеем. На барабане я еще могу так-сяк отобразить свое волнение, а дале — пшик!

— Господа, неужели никто не умеет играть на рояле?

— Ни в зуб ногой, — хором признались чиновники, которым и без музыки хватало всякой работенки.

— В таком случае, — распорядился Красовский, — прошу придиричвее вникать в песенный текст под нотами — не содержится ли в словах романсов крамольных призывов к беспорядкам?..

Дальше — больше! Вдруг взбрело Красовскому в дурную башку, что эта подлая, завистливая и давно разложившаяся Европа засылает в недра России крамольные прокламации, которые следует искать... в мусоре на городской свалке. Скоро во дворе дома Фребелиуса выросла гора бумажной макулатуры из разодранных книг, газетное рванье и ошметки журналов, годные лишь для заворачивания «собачьей радости» в неприхотливых лавчонках окраин столицы.

— Ищущий да обрящет! — зычно возвестил Красовский.

Эта фраза звучала в его устах как призыв к атаке.

Проклиная фантазии начальства, чиновники с героическим самопожертвованием ринулись на штурм неприступной бумажной горы, но, конечно, ничего крамольного не обнаружили даже на вершине макулатурного Везувия, где им хотелось бы водрузить знамя победы. Однако не таков был человек Александр Иванович, чтобы поверить в невинность оберточной бумаги. Подвиг Геркулеса, одним махом очистившего Авгиевы конюшни, вдохновил тайного советника на новое — гениальное! — решение:

— Если уж бумаги попали в наш комитет, значит, мы обязаны составить им подробную о п и с ь в алфавитном порядке с указанием — на каком языке писано, когда и где издано, из какой книги вырвано, а где слов вообще нету...

Тут Красовский малость задумался. Но думал недолго:

— Все бумаги без печатного текста следует проверить особо тщательно: нет ли в них водяных знаков, призывающих российских сограждан к возмущению противу властей. Начинайте!..

— Урра-а-а, — возвестил при этом Родэ, после чего смело попросил у Красовского один рубль ради нужного похмеления.

Никогда и ничем не болея, питаясь едино лишь великопостною пищей, ни разу в жизни не посетив даже театра, Красовский был сражен наповал результатами Крымской кампании. Вернее, ему, бюрократу, было глубоко безразлично, кто там и кого побеждал в Севастополе, — его убило новое царствование Александра II, в которое публика открыто заговорила о необходимости реформ и гласности; Красовский был потрясен, когда до него дошли слова самого императора:

— Господа, прежний бюрократический метод управления великим государством, каковым является наша Россия, считайте, закончился. Пора одуматься! Хватит обрастать канцеляриями, от которых прибыли казне не бывает, пора решительно покончить с бесполезным чистописанием под диктовку начальства... Думайте!

И тут случилось нечто такое, чего никто не мог ожидать.

Красовский, смолоду согнутый в дугу унижительного поклона, неожиданно выпрямился, а его голос, обычно занудный и тяготный, вдруг обрел совсем иное звучание — протестующее.

— Как? — рассвирепел он. — Сократить штаты чиновников и бумажное делопроизводство, без коего немислимо управление народным мышлением? Чтобы я перестал писать, а только разговаривал с людьми? Господа, да ведь это... р е в о л ю ц и я!

Поворот в настроениях Красовского был слишком резок, почти вызывающий: он, всю жизнь кутивший фирмам перед власть имущими, решительно перешел в лагерь чиновной «оппозиции», нарочито — назло царю! — указав в своем комитете, чтобы чиновники усилили цензурный режим, чтобы не жалели бумаг и чернил, чтобы писали даже больше, нежели писали раньше — до реформ.

— Бумагопроизводство следует расширить, — указывал он. — Я знать не желаю, о чем там наверху думают, но в моем комитете каждая бумага должна получать бумаги ответные. А мы, яко всевидящие Аргусы, утроим надзор за веяниями Запада, кои никак не вписываются в панораму российского жития... Вот, пожалуйста, новый журнал дамских мод из Парижа! Нарисована дама как дама. Но спереди у нее на платье подозрительный разрез, сзади тоже обширная выемка. На что они нам намекают? Нельзя...

Смерть сразила его разом, и в Петербурге гадали:

— Ну ладно на этом свете... тут все понятно. Но зачем этот человек понадобился на т о м свете?

Досталось же тогда полиции и судебным исполнителям, когда они приступили к описи имущества покойного. Из «музея» долго вылетали дряблые банные веники, ветошь перегнившей одежды и рваные чулки тайного советника с подробными указаниями, когда он этим веником парился, в каком году он с глубоким сожалением отказался от ветхозаветных подштанников.

— Есть же еще идиоты на свете! — заметил частный пристав, неожиданно появляясь из дверей «музея» с самоваром в руках. — Глядь, совсем новый. Хоть чайку попьем. Вот и вареньице от покойника осталось. А варено, как тут им писано, еще в год убийства императора Павла. Полвека прошло... авось не подохнем!

После Красовского остался колоссальный капитал — в СТО ТЫСЯЧ рублей, который вырос с процентов по давнишним вкладам в ломбардах столицы. Прослышав об этом, из костромской глуши нагрянули в Петербург затрушенные и алчные сородичи покойного, ближние и дальние, совсем ошалевшие, когда узнали, что на их дурные головы свалилось такое неслыханное богатство.

Но, как и водится между родственниками, они все перегрызлись меж собой при дележе наследства, и от ста тысяч рублей никому и полушки не досталось — весь капитал они разбазарили на дошлых столичных судей, которые и разложили наследство Красовского по своим глубоким карманам...

На этом и закончилась жизнь человека, после которого остались анекдоты и дневник, отданный на хранение в Императорскую публичную библиотеку, да еще уцелел доходчивый афоризм, не потерявший своего значения и в наши благословенные дни:

— Полезнее всего — запретить!

Содержание

Клиника доктора Захарьина	5
Мичман флота в отставке	15
Не от крапивного семени	27
Тепло русской печки	39
В ногайских степях	51
Михаил Константинович Сидоров	63
«Пляска смерти» Гольбейна	76
Аввакум в печи огненной	92
Книга о скудости и богатстве	104
«Императрикс» — слово звериное	114
Повесть о печальном бессмертии	127
Первый университет	137
Шедевры села Рузаевки	161
Из пантеона славы	169
Бесплатный могильщик	181
Досуги любителя муз	191
Есиповский театр	201
Полет и капризы гения	213
День именин Петра и Павла	218
Свеча жизни Егорова	223
Через тернии — к звездам	233
Музы города Арзамаса	249
Король русской рифмы	272
Как попасть в энциклопедию?	284
Генерал от истории	303
Синусоида жизни человеческой	318
Трагедия «русского Макарга»	332
Мясоедов, сын Мясоедова	344
Тайный советник	357
Памяти Якова Карловича	373
«Не говори с тоской: их нет...»	388
Полезнее всего — запретить!	397

Литературно-художественное издание

Полное собрание сочинений

Пикуль Валентин Саввич

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ (МИНИАТЮРЫ)

Выпускающий редактор *В.И. Кичин*

Верстка *И.В. Хренов*

Корректор *Н.К. Киселева*

Оформление обложки *Д.В. Грушин*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 20.07.2015. Формат 84 × 108 ½/32.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага газетная.
Печ. л. 13. Тираж 5000 экз. Заказ № 11089.

ООО «Имидж-Принт».

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129.

Отпечатано в ООО «Тульская типография».

300026, г. Тула, пр. Ленина, 109.



Исторические миниатюры Валентина Пикуля — уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, «тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества».

Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов писателей, художников, музыкантов и других творческих личностей, живших в XVI — начале XX века.



ISBN 978-5-4444-2985-3



9 785444 429853

